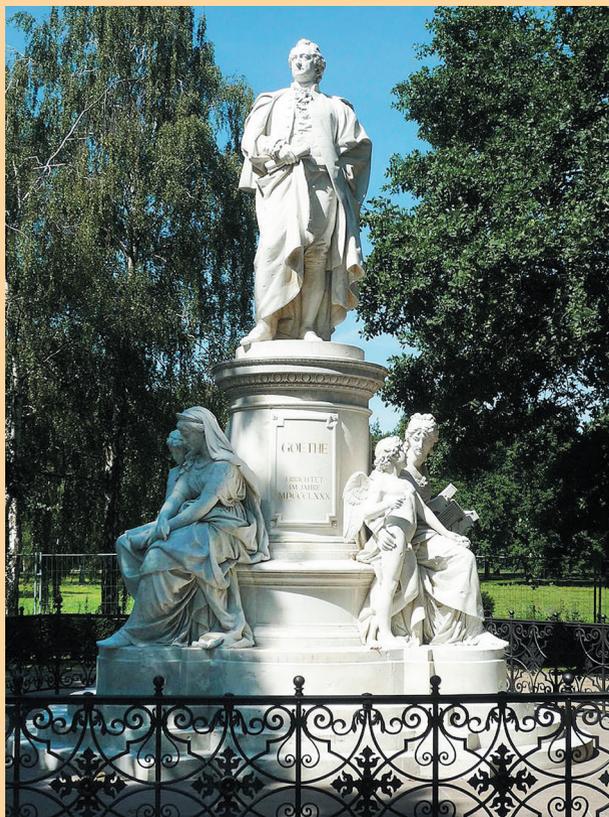




ISSN 1993-9477

XXI ВЕК **ВОЛГА** 7-8 2019

Литературно-художественный журнал



Памятник Иоганну Вольфгангу фон Гёте
в Берлине. Скульптор Ф. Шапер. 1880



Портрет Гёте
работы А. Кауфман.
1787–1788



XXI ВЕК

ВОЛГА

7-8 2019

Литературно-художественный журнал

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

- А.Ю. Аврутин** – член Союза писателей Беларуси (Минск)
А.Б. Амусин – член Союза писателей России, председатель Ассоциации Саратовских Писателей
А.А. Бусс – член Союза писателей России (Саратов)
В.И. Вардугин – член Союза писателей России и Ассоциации Саратовских Писателей
Е.А. Грачёв – член Союза писателей России и Ассоциации Саратовских Писателей
Д.Е. Кан – член Союза писателей России (Оренбург)
О.И. Корниенко – член Союза писателей России (Сызрань)
В.В. Ковалёв – член Союза художников (Рига)
В.А. Кремер – член Союза писателей России (Саратов)
М.А. Лубоцкий – член Союза писателей Москвы, ответственный секретарь Ассоциации Саратовских Писателей
В.Д. Лютый – член Союза писателей России (Воронеж)
М.С. Муллин – член Союза писателей России и Ассоциации Саратовских Писателей
Г.П. Муренина – директор музея Н.Г. Чернышевского, член Ассоциации Саратовских Писателей

7-8
2019

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭТОГРАД	
Иван ПЕЧАВИН. Молодые голоса	3
ДЕСЯТАЯ ПЛАНЕТА	
Сергей ПЫЛЁВ. Сине-антизелёный глюон	7
СОВЕТ МОЛОДЫХ ЛИТЕРАТОРОВ	
Павел ВЕЛИКЖАНИН. Изначальное единственное Слово	46
ОТРАЖЕНИЯ	
Анатолий КРИЩЕНКО. Ода Создателю	50
НЕЗАБЫТЫЕ ИМЕНА	
Вячеслав ЛЮТЫЙ. «О Родина, зелёный Божий мир...»	61
Елена ФЕДОТОВА. Пора возвращаться	65
НА ВОЛНЕ ПАМЯТИ	
Алексей СОЛоницын. «Слушайся своего сердца»	70
ПОЭТОГРАД	
Виктор БРЮХОВЕЦКИЙ. Лебединое перо	102
ОТРАЖЕНИЯ	
Наталья КРАВЦОВА. Люди — добрые	106
ПОЭТОГРАД	
Михаил МУЛЛИН. Речка жизни	114
ОТРАЖЕНИЯ	
Данила КАТКОВ. Свидетель безликой	120
СТАТЬИ	
Александр ДЕМЧЕНКО. Исходные вехи большого пути	126
ПОЭТОГРАД	
Галина ШВЕЦОВА. Свет любви	147
ПЕРЕВОД	
Любовь АНУФРИЕВА. Выюга бабочек белых	151
КАМЕРА АБСУРДА	
Михаил ГОЛЬДРЕЕР. Крестьянка	154
ПОЭТОГРАД	
Александр ДИВЕЕВ. Молчаливый ангел	172
СТАТЬИ	
Наталья ТЯПУГИНА. Голос нулевых	176
СОБЫТИЕ	
Лидия ЗЛАТОГОРСКАЯ. «Честность превыше всего»	180
РЕЦЕНЗИИ	
Елизавета МАРТЫНОВА. Зеркала истории	182
Елизавета МАРТЫНОВА. «Саратовская легенда в основном подтвердилась...»	184
ГОД ТЕАТРА	
Вячеслав ДЪЯКОНОВ. Театрально-музыкальное искусство Саратова в эпоху Н.Г. Чернышевского.	187



Иван ПЕЧАВИН

МОЛОДЫЕ ГОЛОСА

ЗВЕЗДА ЖАВОРОНКА

Неброский край. Степная сторона.
В туманной дымке воды Карамана.
Невдалеке умытая видна
Плешина крыши полевого стана.

Уткнулись плуги в голубой бурьян,
Уставшие от подвигов и славы.
И горбится, как будто бы от ран,
Исхлёстанный ветрами тополь старый.

А за дорогой – лесополоса,
Товарный поезд громыхает часто.
И вслед несутся птичьи голоса,
Что, мол, соседство это не опасно.

На всю округу, сколько хватит глаз,
Переливая в золоте колосья,
Стоит пшеница. Я в неё не раз
Входил, волнуясь, как приходят в гости.

Она заманит в глубь своей глуши
И на разбеге гнёзд перепелиных
Навевает столько сказок для души
И столько песен вещей и былинных.

-
- Иван Петрович Печавин родился в 1942 году в Баку. Детство и юность прошли на Урале. Окончил филологический факультет Балашовского педагогического института. Работал учителем русского языка и литературы. Публиковался в журналах «Аврора», «Нева», «Волга», «Волга–XXI век». Автор книг «Мой посёлок», «Слушаю степь», «От Джиды до Волги», «Яблокопад», «Северные картинки» и др. Живёт в селе Любимово Советского района Саратовской области.

ЖАВОРОНОК

В небе зажглась звезда жаворонка,
И на полях каждый стебель окреп.
Утром погожим становится звонкой
Солнцем прошитая матушка-степь –

То, отчего вдруг забьётся невольно
Сердце в груди, будто звон ручейка.
Были обиды – прошли. И не больно
Вспомнить о них, присмиривших пока.

Встречу ль кого иль кого позабуду,
Много ли выгорит ласковых дней?
Может, мне в жизни и выпадет чудо,
Только вот это милей и родней.

Не отмахнёшься, не станешь в сторонке,
Светом наполнишься, зряч или слеп.
В небе зажглась звезда жаворонка,
И на полях каждый стебель окреп.

ЗОРЬКА В РОСАХ

Брату Толе

Гудела деревенская страда,
Настой медвяный по полям бродил,
Визжали в травах косы. И тогда
Работать в люди батя уходил.

Ещё рассвет лишь теплился едва
За дальним лугом на листве берёз,
И на реке пугливая плотва
Не догоняла ветреных стрекоз.

А он, от силы и цветов хмельной,
Косил травы душистый разнобой,
Где прятали испуг перепела,
И зорька в росах медленно цвела.

А чуть поодаль, там, где резеда
И иван-чай сплелись ещё тесней,
Косила мать, стройна и молода,
Чернели косы – пара соболей.

Потом они сошлись к плечу плечо.
Размах широк. Дыханье горячо.
И косы дружно пели: вжик да вжик,
И два валка ложились напрямик.

Он только раз взглянул в её глаза
И оробел. И слова не сказал.
...А зорька в росах медленно цвела,
И шастали в траве перепела.

Сколько вёсен? Восемьдесят восемь.
Дед, как мякиш, шамкает слова.
По дорогам ходит тихо осень,
Сыплют охру наземь дерева.

В крутоярах истомились ветры,
Облака над пашнями плывут.
Ходит дед просёлком незаметный,
Палкой тычет в жухлую траву.

По стерне крадётся лёгкий холод.
В этот миг, когда желтеет лист,
Вспомнилось: ещё он очень молод,
И речист, и в песне голосист.

И на сходе для своей Матрёны,
Сапогами крепкими звеня,
Сможет и легко, и упоённо
Обуздать свирепого коня.

А она, в платке своём цветистом,
Глянет – пламя сердце полоснёт.
И пойдёт проулочком росистым,
Где сирень дурманяще цветёт.

Где гуляет чистым переливом
Молодая песня соловья.
Где встречает он её, счастливый,
Своего упрямства не тая.

В памяти восходят те рассветы
Трелью соловьиной в синеву.
...Ходит дед просёлком незаметный,
Тычет палкой в жухлую траву.

Внимательней на перепутье лет
Я всматриваюсь в светлые денницы,
И лица тех, кого давно уж нет,
Я вижу в первозданных детских лицах.

Я слышу: молодые голоса
Звенят напористой, отчётливой, иначе.
И времени открытые глаза
Нацелены на счастье и удачу.

Они, заветный преступив порог,
Упомнят ли, вдохнув простор и волю,
О тех, кто был и кто ушёл не в срок,
Не допахав отеческого поля.

Молодое и чистое небо.
Синеглазый красавец-апрель.
Я давно успокоенным не был
И весне улыбаюсь теперь.

Распростившись без слёз с границей,
Не растратив любви и страстей,
Вновь курлычут печальные птицы
Над задумчивой пашней полей.

И качается лодка у плёса,
И работает сетью рыбак,
И стучат по просёлку колёса,
И соляркою воздух пропах.

Ветер почву размякшую сушит
На открытой степной полосе.
Ничего так не радует душу,
Как начавшийся вовремя сев.

Ничего так не радует тело,
Как причастность к святому труду.
Что горело и что наболело
От себя, как рукой, отведу.

И останется только тревога
За судьбу беззащитных полей.
И за длинную эту дорогу
Улетающих вдаль журавлей.



Сергей
ПЫЛЁВ

СИНЕ-АНТИЗЕЛЁНЫЙ ГЛЮОН

Квантовая повесть

*Уже нетрудно думать о поро,
зовущей нас к Божественному Свету –
взойти к Нему на утренней заре
или на вечерней... в полудрёме ветра...*

Зоя Колесникова

Нильс Бор – да, да, тот самый Niels Henrik David Bohr – как-то сказал: «Тот, кто не был потрясён при первом знакомстве с квантовой теорией, скорее всего, просто ничего не понял».

Наше погружение с Верой в квантовый мир началось в мае этого года. До того мы благополучно жили ни много ни мало по законам общечеловеческой ньютоновской механики. Пока из Москвы в провинциальный педуниверситет, в котором Вера заведовала гуманитарным факультетом, в ауре столичных божественных энергий не прибыла московская комиссия с особыми полномочиями. Настоящий десант атакующе высадился во всех стратегически важных кабинетах «педа», включая ректорский. Их было примерно двадцать человек, но от них строго веяло революционной решимостью бывших «энкавэдэшных» троек. Министр образования так-таки принял решение об укрупнении вузов, о котором уже почти год по стране ходили недобрые слухи. Само собой, было это сделано с вдохновенной оглядкой на Запад. Скажем, на тот же Калифорнийский университет. Как логичное продолжение реформ ЕГЭ или сокращение времени на изучение русской литературы и языка.

Все элементарные частицы превращаются друг в друга, и эти взаимные превращения – главный факт их существования.

В нашем провинциальном городке реформаторский выбор пал на «пед» и на «политех». В связи с этим многим вспомнились

-
- Сергей Прокофьевич Пылёв родился в 1948 году. Вырос на Сахалине. Член Союза писателей России, автор девяти книг прозы, вышедших в Воронеже и Москве. Лауреат премии «Кольцовский край». Публиковался в журналах «Подъём», «Москва», «Берега», «Север», «Сура», «Гостиный дворъ» и еженедельнике «Литературная Россия». С 1956 года живёт в Воронеже.

строки Александра Сергеевича о том, что «в одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань». Хотя, если уж быть точным, лань и саму по себе никак не подрядить тащить телегу. Конюха такого ловкого вам отродясь не сыскать, чтобы её обрядить в сбрую. Потом же правильнее говорить, что коня седлают, а запрягают лошадь.

Как бы там ни было, с первых дней приказного слияния самым распространённым выражением между сотрудниками «педа» стало: «Не истерить!» Оно влёт заменило все прочие. Им теперь и преподаватели, и сотрудники, включая сантехника пенсионера Вяземского, приветствовали друг друга у дверей вуза; его говорили, расставаясь под вечер. Правда, старик Вяземский к этому нервозному интеллигентному выражению для выразительности добавлял ёмкое словцо на букву «м».

С первого дня исторического воссоединения все сообщения о перекраивании образовательных структур «педа» и «политеха» воспринимались как сводки с фронта. Кстати, заодно было велено по новой московской традиции слово «студент» отложить в архив прошлой жизни, заменив современным чётким понятием «обучающийся», «обучаемые», «обучающаяся».

Почти половина сотрудников немедленно обзавелась бюллетенями и торжественно заняла позицию стороннего наблюдателя за ходом реформ. Старейшего профессора педуниверситета Михаила Евграфовича Пантелеевского прямо с лекции о языке поэзии Михаила Ломоносова и Василия Тредиаковского увезли на «скорой» с микроинсультом. В больнице он ко всему ещё умудрился сломать ногу, что-то отчаянно доказывая относительно вспыхнувшего костра реформ. А проректор по учебной работе с вузовским стажем в почтенные 60 лет Илья Николаевич Иконников попал под машину, в вакуумной забывчивости шагнув на проезжую часть при красном свете светофора.

В итоге вечный полемист всех заседаний и совещаний, почётный профессор-физик Сергей Дмитриевич Феофанов на внеочередном учёном совете с гневом объявил, что слияние двух галактик во Вселенной происходит менее болезненно, чем в нашей многострадальной России объединение двух высших учебных заведений. В тон ему Роман Игоревич Поддубный, декан физкультурного факультета и тоже «штатный» бойцовский искатель истины, взволнованно сравнил происходящее с той роковой ошибкой, когда больному переливают кровь другой несовместимой группы.

По километровым коридорам университета, являющегося издавна охраняемым памятником архитектуры всероссийского значения, неуловимой тёмной материей стали перетекать слухи о возможной забастовке коллектива.

А как прикажете иначе реагировать людям, когда у них на глазах кафедры и факультеты почти вековой истории исчезают в никуда или эволюционируют в некое непонятное новообразование? Кстати, даже диффузия различных металлов происходит естественней и гармоничней, нежели соединение человеческих коллективов.

Конкретно мою Веру в связи с аннулированием гуманитарного факультета переместили с должности декана в кресло директора Научной библиотеки. С мудрёной, хитренькой приставкой «врио».

Лес рубят – щепки летят. То есть мы.

Ежесекундно только в видимой части Вселенной рождаются и умирают миллионы звёзд.

Вера не устраивала истерик, не проливала невидимые и видимые миру слёзы. Она просто как бы перестала быть. Даже забыла о том, что через

неделю у нас начинается отпуск. Такой долгожданный ещё месяц назад. Никогда в жизни нам не было так безразлично, что у нас появилась возможность вдвоём почти надолго забыть о работе.

...В тот день, вернее, утро, наша с Верой активная фаза жизни началась с раннего телефонного звонка. Вернее, его подобия – некое обессиленное дребезжание моего доисторического домашнего аппарата проводной связи – подлинное детище начала пятидесятых прошлого века: массивный чёрный телефон с цифро-буквенным дисковым номеронабирателем, вида солидного, начальственного, но со звонком уже сиплым, нервно стенающим, просто-таки болезненно дребезжащим. Старый ворчун, одним словом, глухо подал свой надорванный голос. Этот тяжёлый аппарат был похож на огромного угольного жука-рогача, на котором с женской эротичной гибкостью возлежала трубка, замотанная на месте трещины синей изоляционной лентой. Отец как-то говорил мне, что у этого торжественно-парадного аппарата до нас была весьма непростая, запутанная биография, с выходом на самые высшие политические этажи СССР. Не исключено, что он когда-то принадлежал к когорте номенклатурных кремлёвских телефонов и по нему вполне мог говорить Иосиф Сталин. А при Никите Хрущёве этот символ времени уже жил у нас. Несколько раз любители антиквариата из новых русских предлагали нам за него хорошие деньги, но мы не спешили расстаться со своим историческим телефоном. Вернее, доисторическим.

Вообще я дома после работы и тем более по выходным предпочитаю отключать все устройства для контактов с большим миром, но сегодня в связи опять-таки со слиянием вузов я, как говорится, потерял бдительность и забыл это сделать. Ещё могло сказаться мистическое влияние на русского человека такого особого фактора, каким, несомненно, является первый день отпуска. А это был именно он. Я и моя Вера Константиновна сегодня проснулись отпускниками.

Когда наш ретротелефон подал голос, мы с ней как раз намеревались начать сборы для поездки на дачу. Само собой, шашлык в этой демонстративно счастливой программе был центральным событием. И я уже благоговейно бредил летучим запахом дымка, насыщенного мясными пряными ароматами.

Я демонстративно небрежно извлёк трубку из лона рогатин.

Нам, вернее, Верочка, звонил её новый начальник, некий Аркадий Большов, лет двадцати восьми, назначенный в «пед» со вчерашнего дня проректором по социально-воспитательной работе. Новый малоизвестный кадр из «политеха» прежде руководил тамошним Центром культуры и творчества и был выдвинут таинственными тектоническими подвижками реформаторских структур. Он, как вулканический островок, внезапно появился среди океанской безбрежности. Я недавно видел фотографию Большова в уже соединённой вузовской газете с новым общим названием «Физиики-лирики» и отчётливо запомнил его вдохновенно-деловое лицо, светящееся верой в новые успехи на поприще формирования достойного облика современного «обучающегося». Правда, для меня осталось загадкой: в действенную силу чего он больше верит, высоты своих лет – плановых митингов, торжественных собраний, круглых столов, или Аркадий в глубине души особенно расположен к массовым запускам в небеса обетованные тематических шариков и патриотических флэшмобов вкупе с социально заострёнными автопробегами. Тонкий такой, стройный активист. Высококонький. В зауженных модных брючках с приоткрытыми голыми глянцевыми щиколотками. Со взглядом как у комсомольского вожака прошлого века, но манерами сегодняшнего видеоблогера из YouTube.

Разница между неживой и живой материей на атомном уровне полностью исчезает.

Большов заговорил со мной тем формирующимся у него аккуратно-тихим руководящим голосом, которому подчинённым желательно трепетно внимать. Не скажу, что я вовсе, до самозабвения поддался их магической силе, но, когда мы с ним начали беседу, я невольно слушал его, напрягшись, почти как солдат в строю.

– Мне Веру Константиновну. Это с работы. Большов... – внушительно представился он.

Мой многоуровневый трудовой стаж выработал у меня инстинктивную самозащиту от служебных звонков во время отпуска. Тем более в его первый день, щенячью радость которого мы с Верой ещё даже не успели прочувствовать. Всем хорошо известно, что из двадцати восьми дней отпуска пятнадцать вы тратите на осознание, что он наконец состоялся, три дня отдыхаете, а оставшиеся десять неврастенически готовитесь выйти на работу.

– Её сейчас нет, – с неизвестно откуда взявшимся нахальным достоинством, почти хладнокровно соврал я.

Вера сделала страшное лицо, чем-то похожее на кляксу.

Аркадий Большов строго молчал. Это напоминало подготовку взрыва некоей психологической вакуумной бомбы.

– Возможно, Вера скоро будет... – снизил я напор своего интуитивного диссидентского отношения к власти на любом её уровне.

– Я уже пришла... – прошептала Вера, аккуратно помахивая мне ладошками, словно гладила воздух.

– В общем-то она мне и не нужна! – Большов при всей своей почти мальчуковой изящности как вдавил меня в стену деятельным социально-воспитательным напором. – Передайте Вере Константиновне... В рамках непростых процессов по слиянию вузов нами принято решение о качественном повышении уровня заботы о здоровье сотрудников. В соответствии с приказом ректора всем необходимо срочно пройти профосмотр. Речь идёт о многоплановой лечебно-профилактической акции. Для работников она полностью бесплатная. Все затраты – а это очень даже немалая сумма – взяло на себя Министерство образования. В общем, на всё про всё вам неделя. Мы ценим способности Веры Константиновны и уверены, что в новой должности директора Научной библиотеки она будет работать с прежней эффективностью. Но незаменимых людей нет. Кто не пройдёт медицинское обследование, до работы допущен не будет! Вплоть до увольнения! В новом укрупнённом вузе должны эффективно трудиться здоровые люди!

Не знаю, что испытывал Большов, произнося эту речь, но мы с Верой однозначно почувствовали, что со времён первобытно-общинного строя человечество ни на шаг не продвинулось к реальной демократии.

Элементарные частицы живут по законам квантового микромира. А раз человек, как часть Всеобщего вещества, тоже состоит из них, поэтому о каждом из нас можно сказать, что мы в основании своём тоже есть явление квантовое.

– Вера Константиновна с сегодняшнего дня в отпуске, – тупо, безнадежно проговорил я.

При этом у меня, как позже вспомнила Вера, от осознания собственной наглости слегка зарозовели мои далеко не юношеские щёки. Но этот их

запоздалый румянец не имел ничего общего с тем алым сиянием, которое в молодости, рождённое свежим, ухарским морозцем или счастливым восторгом, пусть и на пустом месте, вдруг блистательно окружает сверкающей аурой юное лицо. Мой румянец скорее напоминал синевато-красную сетку на щеках, похожую на последствия подкожного кровоизлияния.

– При чём тут её отпуск? Это ничего не меняет. Распоряжение распространяется на всех работников поголовно... – почти лениво уточнил Большов. – Или вы думаете иначе?

Он сдержанно усмехнулся. Возможно, при этом даже поправил свою особенную высокую причёску. Кажется, с крохотной косичкой на затылке, похожей то ли на головастика, то ли на кукиш.

Кстати, влёт произнесённое им слово «поголовно» отозвалось во мне догадкой, что проректор, возможно, по образованию ветеринар. Может быть, даже очень хороший. Однако представить его на ферме среди коров (ферма и коровы – самые современные, по лучшим западным стандартам) мне так и не удалось. Да я особенно и не напрягался.

– Я очень не рекомендую вашей супруге искать варианты, как ей уклониться от профосмотра. Теперь она у меня на особом контроле! – сказал Большов таким голосом, словно он при этом мужественно улыбнулся.

Что-то явно было в нём ещё и от административного варианта рыцаря без страха и упрёка.

В Библии, в первой главе, после каждого нового акта творения света, тверди, трав, рыб и так далее стоят слова: «И увидел Бог, что это хорошо». И только после сотворения человеческой пары этих слов насчёт «хорошо» почему-то нет...

В трубке зависла дерзкая, ёмкая тишина. Пытаясь понять, окончен ли наш разговор или нет, я минуту-другую, как настоящий экспериментатор, то прикладывал её к уху, то встряхивал, на тот случай, если вдруг в ней отпаялся за множеством лет какой-никакой важный проводок.

Большов исчез так, словно его и не было вовсе.

Любая квантовая частица находится одновременно в разных точках пространства.

– Ты очень сердисься на меня, Витенька? – робко спросила Вера.

– Нисколько, – усиленно поморщился я. – Подумаешь, какой-то там отпуск двух простых граждан накрылся медным тазом. И вообще забота о здоровье работника должна быть на первом месте у работодателя.

Вера неумело изобразила на лице интеллигентный протест, более похожий на приготовление к тихому плачу.

– Почему мы должны идти у них на поводу?.. – судорожно вздохнула она. – Ты знаешь, когда у нас был последний профосмотр? Лет десять назад! Я тогда только защитила свою кандидатскую. Помнишь: «Лев Толстой и Владимир Короленко о смертной казни»? Почему сегодня началась такая административная лихорадка?

Что мне следовало ответить?

– Возможно, скоро в наш город прибудет Путин. А ваш укрупняющийся в духе времени вуз наверняка включён в программу его посещений. Вот и подчищают углы.

– Бросить всё, уехать в Урюпинск! – Вера подняла глаза к потолку. – Или на дачу. Навсегда! Как-нибудь проживём на две пенсии. Огородик вскопаем. Много ли нам надо? Свобода того стоит.

Квантовые истины об окружающем нас мире способны кого угодно привести в замешательство.

Я сделал такое лицо, словно мне стало почти весело.

– Неужели бюрократический профосмотр «галочки ради» может стать поводом к тому, чтобы мы в один день сломали нашу замечательную привычную жизнь? С шашлыком пролетели? Так я всё равно чаще всего превращаю его в уголь.

– А я на крыльях твоего оптимизма за день обегу всех врачей, и мы всё равно смоемся в отпуск! И волки сыты, и овцы целы!

На уровне атома, ядра и элементарной частицы материя имеет двойственный аспект – она и частица, и волна. При этом в первом случае материя имеет более или менее определённое местоположение, а во втором одновременно с состоянием покоя распространяется во все стороны мирового пространства.

Не откладывая, ровно в полдень мы выехали в направлении поликлиники на моей полувековой раритетной «копейке». Это была одна из самых лучших поликлиник города. Просто так, с улицы туда не попасть. До развала СССР в ней лечились партийные чиновники, делавшие вид, что руководят строительством светлого коммунистического будущего. Сейчас в ней лечатся от тех же болезней во всём похожие на них чиновники, руководящие строительством не менее светлого капитализма.

У всех частиц есть античастицы. При контакте происходит их аннигиляция. Обе частицы исчезают, превращаясь в кванты излучения или другие частицы.

Я хорошо знал дорогу к этому образцовому лечебному заведению из двух дворцовой архитектуры корпусов, спрятавшихся в глубине пряно-горьковатой, раскидистой Нагорной дубравы. Когда-то до перестройки я тоже состоял там на учёте. Никаким боком не принадлежа к клану партийной номенклатуры. Просто в обкоме КПСС считали писателей, к каковым я вроде как принадлежу, идеологическим подспорьем партии. Поэтому наше здоровье оберегали в иерархической спецклинике. Только во втором её корпусе со своим отдельным входом. В городе для этих двух корпусов среди простого народа издавна прижилось название первого корпуса поликлиникой для «старших дворян», второго – для «младших». Это различие было явлено уже фасонам входных дверей: таким, как я – стеклянные, номенклатурным – матёрые, из морёного дуба, с эдаким генеральским, а то и выше бери, шармом. Входишь как в райские кущи. Какая-то вокруг светлость во всём и ко всякой твоей болезненной слабости уважительная благорасположенность, доходящая до восторга и самой настоящей нежности.

Так и Веру встретили. На входе бахилы голубенькие подали за бесплатно, с такой уважительностью, словно едва сдерживались, чтобы их ей не надеть со счастливой торопливой любезностью. В регистратуре торжественно, точно некий поздравительный юбилейный адрес, вручили алую кожаную папку с «Картой здоровья», украшенную тиснёнными золотистыми

вензелями. У меня от такой торжественности приёма даже несколько как бы дыхание участилось. То есть не совсем ещё выветрилось значение горьковских слов насчёт того, что «человек – это звучит гордо!» И даже несмотря на всякие там санкции против нашей страны, дело Скрипалей, трагедию в Кемерове и ночную ракетную атаку по суверенной Сирии.

Вере везде был «зелёный свет». Она ходила по врачевным кабинетам без очереди. Но вовсе не напролом. Внушительная «Карта здоровья» в руках Веры срабатывала как жезл в руках сотрудника ГИБДД, открывающий водителям путь на сложном перекрёстке. Кстати, от наплыва её сослуживцев нас спасло то, что после объявления всеобщего профосмотра в университете так-таки началась лёгкая паника.

Проведя день в клинике, мы наконец вышли к вечеру, слегка пошатываясь, под сень здешней Нагорной дубравы, радушно раскинувшей нам навстречу в качестве прикрытия от всех земных проблем и бед свои мощные ветви. Под их густым шатром в зеленоватом сыром сумраке млеет горчащий, сочный аромат.

Каждый кварк, как истинная элементарная частица, обладает условным цветом и ароматом. Скажем, синий кварк может испустить сине-антизелёный глюон и превратиться при этом в зелёный кварк. И даже есть обитатель микромира, который имеет нежное цветочное название – пион.

В сумочке Веры – ворох рецептов: от кардиолога, донельзя взволнованного планетарными масштабами смертности от инфарктов, далее – от подслеповатого офтальмолога («глазника», если по-людски), до слёз озабоченного тем, что Вере будто бы угрожает приближающаяся химера со страшным именем «катаракта», и, наконец, суровое направление от дерматолога, бдительного как сотрудник бывшего КГБ, – на удаление онкоопасной родинки на спине. Для меня до сих пор сия, словно на миг присевшая под левой лопаткой Веры чёрно-красная «божья коровка» была милым телесным украшением. Я всегда мечтал, чтобы Вера обзавелась «на выход» платьем с глубоким вырезом на её по-девичьи красивой спине. Реализацию мечты оставивал один убедительный аргумент. И вовсе не поголовная бедность российских литераторов. Даже действующих. Просто нам некуда было выходить в свет. Наши отцы и матери старательно, с тщательным доглядом выбирали в пронафталиненных глубинах своих солидных гардеробов всё лучшее. А ныне везде втёрся дерзкий стиль дырявых джинсов.

– Кажется, отделались?! – словно бы виновато улыбнулась Вера.

– Малой кровью... – поморщился я, всё ещё помня выражение ужаса на лице врача, когда та увидела в карточке Веры, что она до сих пор целых десять лет пропускала ежегодные осмотры.

Спускаясь по ступенькам в густоту аромата дубовых листьев, я и Вера, несмотря на повышенный градус приязненной благосклонности к нам сотрудников клиники, всё-таки напоминали людей, впервые принявших участие в марафонском забеге.

– У меня такое ощущение, что, когда мы придём домой, окажется, будто никакой поликлиники сегодня не было... И никакого звонка от Большова... – сдержанно улыбнулась Вера. – Просто мы проснулись в полдень на нашей запущенной даче, разбуженные чьей-то неутомимой газонокосилкой...

Ощущение, что окружающая действительность существует лишь в тот момент, пока вы на неё смотрите, посещало даже великого Эйнштейна.

– Неплохо бы... – откашлялся я. – Но куда деть все эти твои рецепты, выписки и анализы?

– Выбросить! – почти радостно вскрикнула Вера.

Кажется, она была готова исполнить это немедленно.

– И с лёгкой душой занырнуть в отпуск!

«Всё-таки так замечательно, что она есть в моей жизни...» – машинально подумал я.

И мы поехали на дачу. Почти с отпускным настроением. В общем, нам реально хотелось пробудиться завтра как бы в ином, новом мире. И это вполне возможно, если открыть глаза в минуту аккуратного восхода солнца под флейтовый высвист фосфорической иволги – «фитиу-лиу». И ощутить полные лёгкие необычного воздуха, когда в двухстах метрах от вашего домика под высокой горой напряжённо струится стремительный, молодецкато-неукротимый, бодрый Дон. Седьмой час. Солнце неяркое, но жидко-блескучее, словно огонь в нём только закипает. С крыши на окна нависают густыми потёками кудри винной «изабеллы», от этого в комнатах воздух зыбко-зелен, словно ты находишься на дне замшелого аквариума.

А ни с чем не сравнимая радость выйти на деревянное, уже смолисто пахнущее разогретыми сосновыми досками, пружинистое крыльцо? Да тотчас броситься, как в реку, в одичавший малинник, который словно только что как из ведра окатили густой, стилой росой, слащаво пахнущей зелёными клопами-щитниками. И с мальчишеским азартом рвать ягоду зубами прямо с ветки, измазав свою счастливую физиономию весёлым алым соком. А над тобой низко, царственно проплывёт на спящем фоне солнечного диска парочка экзотических удонов. Сбоку эти достаточно крупные птицы похожи на гигантских чёрно-белых бабочек с веерными хохолками и шпажками длинных клювов – прибыли покрасоваться в Черноземье напрямик из тропиков. Они вызывают у здешних дачников такое восторженное удивление, что удоны, кажется, испытывают некоторую неловкость и избегают долго сидеть на облюбованных ими проводах возле нашей дачи.

По законам квантового поля самое главное в природе – акт наблюдения. Когда он происходит, мир из волновой запутанности, бурления смиренно превращается в мир материальных объектов.

По дороге на дачу мне вспомнилась моя поездка за вдохновением на Смоленщину в далёком тысяча девятьсот шестьдесят девятом. Я учился тогда на заочном факультете журналистики. И вот после летней сессии зазвал меня к себе на родину, в далёкое смоленское село Мужижское Духовщинского района, мой однокурсник Славка Терехов, тамошний фельдшер. От Смоленска, куда мы прибыли поездом, до его вотчины почти сорок километров. Был выходной, автобусы к ним не ездили. Зато я по дороге познакомился с грозой, какой по ярости потом во всю жизнь не видывал. Молнии били со всех сторон сразу. Как исполняли в нашу честь некий ритуальный огненный танец. Будто от перенапряжения, всё небо покрылось густой сеткой из набухших сине-розовых вен, в которых судорожно пульсировала дикая электрическая кровь.

И вот моё первое утро на Смоленщине в медпункте, временно превращённом для меня в гостиницу. Тоже июль, только с дождём. Холодно и скучно. Я протопил печку. Все здешние мухи тотчас облепили её. Сидят на ней полусонные, разомлевшие. А за окном поросёнок удивлённо повизгивает. Потом мне объяснили, что он – местная достопримечательность. Поросёнок, как

собачка, везде бегаёт за хозяйкой Тамаркой, которая состоит медсестрой при медпункте: и к больным, и на почту, и в клуб, даже в сельсовет – везде он при ней. А где не пускают, всё равно прорвётся. Как-то я за ними в магазин зашёл. И так чудно: взяла Тамарка за неимением ничего другого на прилавках карамельки усохшей, сыра «Российского» съёжившегося и мутными слезами плачущего. Вышло ей при расчёте сдачи две копейки. Продавщица хотела на них спичек дать, но медсестра отмахнулась: «Гони монетки... Я их «на кукушку» возьму!» То есть когда в кармане деньги есть, хоть самые малые, а тут раздаётся метроном этой ответственной за долготу нашей жизни птицы, так они с той поры будут у вас на глазах скоро прирастать.

Такие вот легенды смоленского села Мужижское... Кому-то смешно? Мне не очень.

Сегодня дача встретила нас с Верой негостеприимно: председатель кооператива распорядился отключить электричество в ожидании грозы с сильным ветром. Об этом на все мобильники на всякий случай уже предупредительно отписалось МЧС.

Итак, ждать, когда минует гроза, или вернуться домой? В любом случае я решил воспользоваться случаем, пока мы ещё здесь, и купить у соседа, обустроившего на здешних заливных лугах настоящую ферму, козьего молока. Кстати, у его собаки была странная кличка Симка. Скоро у неё будут щенки. Не удивлюсь, если их назовут Айфон, Скайп или Андроид.

– Будем ужинать при свечах! – торжественно объявила Вера, когда я вернулся с трёхлитровой банкой парного молока.

Это было настоящее живое произведение. В отличие от магазинного, в нём присутствовала загадочная молочная плоть. У меня ещё стояли перед глазами таинственные прямоугольные зрачки козы, словно это был ни много ни мало взгляд пришельца из иных вселенских миров: днём они узкие, как щель, а с темнотой превращаются в широкие прямоугольники, позволяющие видеть ими всё вокруг себя. У испуганной козы зрачки становятся реально квадратными.

И снова раздался телефонный звонок. У меня на мгновение возникло ощущение, что мы – участники какой-то странной компьютерной игры, в которой некто дистанционно управляет нами. Осовремененный вариант шекспировского озарения насчёт того, что жизнь есть театр, а люди в ней – актёры.

Мир, в котором мы живём, не иллюзорен, но не он является главным. В структуре реальности основное и всё определяющее происходит на невидимом квантовом уровне.

Звонок был из клиники для «младших и старших дворян». Вера на всякий случай включила на своём смартфоне «громкую связь». Некто заговорил с ней быстро, раздражённо строго. Вера слушала этого человека с таким лицом, какое бывает разве что у космонавта на центрифуге, когда оно деформируется под безжалостным напором невыносимой перегрузки, способной ломать кости и рвать мышцы.

Я стоял у окна, стараясь не прислушиваться к словесному грому, обрушившемуся из смартфона на Веру. Более-менее понятным из ревущего потока медицинских выражений было «атипичные клетки».

В дачном просторном небе разворачивался обещанный МЧС грозовой фронт: очень высокий, трёхслойный и самых неприятных оттенков гряз-

но-чёрного, лилово-бурого и ещё какого-то настолько сложного, которому как бы и нет названия. Одним словом, шло торжественное приготовление к Апокалипсису.

Вдруг я почувствовал, что стою в комнате один.

Я нашёл Веру в саду у «нашей» берёзы – волшебное дерево о двух стволах, иначе говоря, «двойчатка». Во времена былые наши прадеды и прабабушки признавали за такими деревьями известную силу от нечисти: при опаживании пользовались ралом, изготовленным из раздвоенного дерева, двухствольной палкой погоняли волов-близнецов; через раздвоенный ствол дерева трижды протаскивали больного, и так далее, включая рогатину на медведя и даже мальчишескую рогатку.

Мы называли эту берёзу «лирой». От её серебристо-чёрной коры словно исходила некая светомузыка.

– Цитология показала у меня наличие атипичных клеток, – тихо сказала Вера чужими словами и чуть ли не с брезгливым презрением к себе.

Принцип неопределённости Гейзенберга: одновременно установить и положение, и скорость квантового объекта невозможно. Чем точнее мы измеряем одно, тем менее точно можно установить другое.

– У меня подозревают онкологию.

– Стоп, машина. Раковые клетки есть у каждого... По несколько миллионов.

– Это из другой оперы, Витя. Они требуют, чтобы я повторно сдала анализ на этих моих атипичных перерожденцев. Уже в понедельник я должна лечь в стационар. Возможно, на неделю. Вот такой будет у нас с тобой отпуск. Лазаретный. И вообще, судя по всему, ты скоро похоронишь меня.

Вера слабо улыбнулась.

Когда человек собирается ложиться в больницу, пусть даже для сдачи анализов, его окружающие невольно испытывают стыд за своё крепкое здоровье и стараются найти в нём хоть какие-то изъяны, о чём начинают не раз и достаточно громко сообщать.

Я не из особого теста.

– Что-то голова болит... – несколько раз объявил я Вере, пока она уныло укладывала сумки.

На самом деле меня тупило, как я один проведу эти несколько дней. Такое состояние вызывается эффектом «духовной диффузии». Достаточно долгая совместная жизнь в итоге приводит к тому, что муж и жена, как бы прорастая друг в друга на психологическом уровне, уже не могут сбалансированно существовать каждый сам по себе. Они между собой даже бытовыми привычками обмениваются. Скажем, я раньше очень настороженно относился к бродячим собакам, а Вера могла запросто подойти к грязному, грозному, голодному вожаку суетливой свадебной стаи и погладить его по нервно напряжённой холке. Сейчас же это у нас с точностью до наоборот. Так что предстоящее мне житие наедине с самим собой заранее казалось настоящим испытанием того, насколько я себе интересен. Отрицательный ответ был ясен заранее.

Наиболее важное свойство всех элементарных частиц – способность к взаимным превращениям, у каждой из них существует «двойник» – античастица, которая отличается от частицы только знаком.

Людмила Петровна, заведующая отделением, куда положили Веру после сдачи пятнадцати основных и десяти дополнительных анализов, поначалу перепоручила извлечь из Веры энное количество живой ткани на анализ своим подмастерьям. Но когда она случайно узнала, что Вера работает директором университетской Научной библиотеки, пусть и «врио», а я вроде как писатель местного разлива, ситуация переменялась. Людмила Петровна была ещё та книжница, десятилетия собиравшая все шестидесятикнижные прижизненные издания поэта Эдуарда Асадова. Так нас объединила сокровенная, таинственная, чуть ли не порочная в эпоху андроидов и гаджетов любовь к книге.

В общем, найти для Людмилы Петровны редкое издание Асадова мне труда не составило: у нас дома был переизбыток книжной продукции чуть ли не за всё последнее столетие, которая не помещалась в шкафах и на полках, поэтому хранилась даже в комоды и ящиках для обуви. Иногда редчайшую книгу можно было случайно обнаружить в вышедшей из строя микроволновке, искорёженной пароварке – одним словом, где угодно.

В итоге Людмила Петровна вошла в операционную, когда Вера уже была под наркозом, и, воодушевлённо отстранив коллег, блестяще провела прицельную биопсию. Не зря в больнице у неё было ласковое прозвище Чистюля. Вполне в духе поэзии Эдуарда Асадова.

Электрон не движется по орбитали возле ядра, как планеты по орбите вокруг Солнца, он находится сразу и везде. Даже там, где будет через миллиарды миллиардов лет, он как бы есть уже сейчас.

Когда изъятые щипцами атипичные клетки Веры вместе с небольшими кусочками ткани отправили на анализ к патологоанатомам, положенную в таких случаях надпись на пакете: «онконастороженность» – почему-то поставить забыли.

Я на пределе вежливости попросил Людмилу Петровну позвонить патологоанатомам, чтобы ускорить их священнодействие.

Она печально развела руками:

– Даже если вы найдёте мне первую публикацию Асадова в «Огоньке» за тысяча девятьсот сорок восьмой год, я не смогу переломить нашу Систему! Там, в подвале у наших патологоанатомов, телефоны не работают!

– Я не поленюсь сходить!

– Даже если я дам вам нить Ариадны, вы их не найдёте... Там такие путанные коридоры, света практически нет. А крысы за шиворот прыгают!

Патологоанатом... Как много в этом слове всякого разного... Посмертный врач. Врач, который никогда не режет по живому. На золотой латыни – Prosector, то есть врач-рассекатель, производящий вскрытие с целью точного установления последнего диагноза.

– Не падайте духом... – вздохнула заведующая, потаённо искрясь старомодной библиофильской любовью к поэзии.

– Я не поручик Голицын... – таков был мой почти истеричный ответ.

Вернувшись домой, Вера не вылезала из Интернета. В конце концов, мы с ней поняли, что внутри человеческого организма тоже имеют место свои цветные и чёрно-белые революции, теракты, войны за жизненное пространство и за богатство клеточных недр.

Итак, на одном конце города, в гулком, отсыревшем больничном подвале, со сталактитами призрачной паутины и ядовито-зелёными островами бархатистого мха на стенах патологоанатомы под шипение крыс, беснующихся

среди трупных запахов, который день утомлённо прикидывали, на какой стадии находятся протестные выступления атипичных клеток Веры; на другом конце города она напряжённо, почти отчаянно искала в безумных просторах Интернета ответ на тот же вопрос.

Тёмная материя заполняет собой нашу галактику, и все объекты в ней, включая Землю, как бы «продираются» сквозь её встречный поток. Из-за того, что частицы тёмной материи очень плохо взаимодействуют с обычным веществом, мы этот поток не замечаем.

Время от времени у Веры случались слёзные приступы, от которых у меня сводило судорогой губы.

– А что если нам завалиться к кому-нибудь в гости?.. – осторожно задал я Вере самый дурацкий вопрос, какой только можно было сейчас придумать. И завершил его уже вовсе законченным форменным бредом: – Сегодня Всемирный день китов и дельфинов.

– Я понимаю, тебе тяжело со мной.. – отозвалась она, опустив глаза.

– Давай к Ильиным?..

– Мы недавно были у них.

– Тогда Волковы.

– Не поймут. Мы уже пригласили их к себе. На День крещения Руси. Кстати, он уже послезавтра.

– Остаются Лыковы.

– Замечательно. Я их люблю. Прекрасная пара! Словно современные Пётр и Феврония Муромские. Только они, в отличие от нас, уехали в отпуск. В Павловск. К родителям. Я вчера говорила с Катей и Димой. Они в это время укладывали вещи. Ещё и советовались со мной, что им лучше взять, чтобы не пролететь с погодой.

– А вдруг передумали? Жизнь – штука многовариантная! – объявил я с той фальшивой бодростью, с какой обычно произносятся именно прописные истины.

Всё-таки когда звонишь с нашего телефона – это нечто. Нынешние гаджеты такого ощущения не дают. С них разговор происходит совсем в иной тональности, скорее похожей на некую детскую забавную игру, нежели на достойное общение. Но именно его ты получаешь, снимая со стальных хромированных рычагов увесистую, вороной масти трубку маститого номенклатурного телефона. Не ловите меня на политических пристрастиях, но не могу не напомнить, что старые большевики рассказывали о каком-то даже мистическом отношении Сталина к телефону. Он словно был его верным и незаменимым помощником. То-то Иосиф Виссарионович всегда в начале разговора произносил в трубку своим глуховатым, сдержанным голосом великую фразу: «У аппарата». И никак иначе, прислужники смартфонов и айфонов!..

Я никогда не рисковал повторять за Иосифом Виссарионовичем такую историческую фразу, но тем не менее властное обаяние нашего реликтового телефонного аппарата целиком владело мной. И наделяло меня какой-то особой магической силой.

По крайней мере, на том конце провода трубку действительно взяли.

Я напрягся, испытывая лёгкий ужас.

– Алло... Алло? Катя? Это звонит Виктор. Дмитрий, ты?

Трубку не положили, но безмолвствовали. Притом этот некто молчащий тем не менее издавал какие-то особенные невнятные звуки.

Пауза затянулась.

– Ребята, отзовитесь... – как можно аккуратней проговорил я.

Ничто и никто.

– Здравствуй... – вдруг как из глубин вечного безмолвия возник странный мужской голос, каким наш друг Дима никогда не разговаривал. Ни в каком состоянии. Отдалённо похожий, но не его вовсе.

Тем не менее трубка продолжала уверять меня, что это он, Лыков, собственной персоной.

– Здравствуй, Витя... Катя первая взяла трубку, но говорить с тобой так и не смогла... Теперь я попробую.

– Приболела, чай?.. – осторожно вздохнул я.

Электрон одновременно движется к пункту назначения и к пункту отправления.

– Лёня умер. Наш Лёня. Завтра похороны, – отчётливым, пугающе чужим голосом проговорил Дима.

...Тридцатилетний молодой человек, учитель русского языка и литературы, отложив томик Тютчева, вышел из подъезда подышать медовым ароматом впервые давших цвет его ровесниц – тридцатилетних дворовых лип. Июнь – Липень, дерево-мать. Липа накормит, обует и вылечит. Леонид благоговейно вдохнул мерцающий, дискретный запах, улыбнулся и упал замертво.

Одни умирают от сердечной недостаточности, другие – от сердечной избыточности...

Электрон не движется по орбитали возле ядра, как планеты по орбите вокруг Солнца, он находится сразу и везде. Даже там, где будет через миллиарды миллиардов лет, он как бы есть уже сейчас.

Я запнулся, прежде чем сказать: «Примите наши с Верой соболезнования». Я болезненно запнулся. Как будто судорога свела мне рот. Какие, нафиг, могут быть соболезнования, когда не стало их сына?.. Тут волком выть, но не принято. Да я и не умел. Слаб в коленках.

Вера почувствовала по мне, что в мире каким-то несчастьем стало больше. Она подступила поближе, наконец просто-таки прижалась, напряжённо вслушиваясь в редкие звуки из трубки, словно бы никак не желающие складываться в членораздельные слова. Не знаю, как они, звуки, вообще из неё выходили на свет Божий. Ведь я стиснул пальцами трубку с такой силой, какой давно за собой не знал. Я словно пытался стиснуть горло ни в чём не повинному телефону.

– Прости... – глухо проговорил я и провёл по лицу ладонью, вытирая таким способом внезапную точечную испарину.

– За что?..

– Прости...

При столкновении квантовые частицы, уничтожаясь, способны превращаться в другие, например, при соударении протона и нейтрона рождается пи-мезон.

Похороны Леонида были назначены в полдень от его дома. Но прежде нам предстояло быть на отпевании в храме Пресвятой Богородицы Всецарицы. Я сдавленно предложил Вере остаться дома. Мне казалось, что с храмо-

вым погребальным ритуалом никак не совмещается её нынешнее напряжённое ожидание результата от эзотерически колдовавших над кусочком её тела в крысином сыром подвале патологоанатомов, подогретых их особым покойническим юмором и медицинским спиртом, похожим на растаявший горный хрусталь.

– Ты что?.. – охнула Вера. – Я Лёничку на вот этих руках столько раз нянчила...

...Когда гроб с Леонидом забирали из морга, я не мог не заметить, что тут, как нигде, всюду густыми парковыми рядами празднично сияют тяжело-красные розы, словно в пику здешней вездесущей смертной ауре. А ещё, пока мы оформляли необходимые документы в иной мир, я обратил внимание, что в этом здании на всех офисных дверях такие же ручки, как и на здешних гробах. Очень хорошие литые ручки, удобные и надёжные...

По дороге к храму у моей «копейки» вдруг спустило колесо, а запаски у меня никогда не было. Я был готов нести машину на себе вместе с Верой.

Тем не менее мы бросили наш старенький «жигуль», даже забыв закрыть двери, и помчались дальше на такси.

Я похоронил столько близких и не очень людей, что не мог не обратить внимание на одну особенность: смерть всегда как бы ставит на лицах ушедших от нас печать качества прожитой ими жизни. Словно некое ОТК. Та самая служба на предприятии, которая осуществляет контроль качества выпускаемой продукции: брак, третий сорт, второй, первый, высший, наивысший...

В большом смертельно-торжественном гробу лежал красивый молодой человек с таким выражением лица, словно его срочно отозвали из командировки на Землю для участия в решении какого-то ни мало ни много Вселенского вопроса.

Когда мы шестером несли гроб с Леонидом по кладбищенской глухой тропинке, на каждом шагу попадались в тесноте под ноги ржавые венки, куски мраморных плит и вездесущие пластиковые бутылки. Чтобы не упасть, нам приходилось изворачиваться, словно Лаокоону с его сыновьями от напавшей змеи. Гроб нырял, как опустевшая лодка на штормовых волнах.

Эпитафии на кладбищенских могильных камнях читаются как эпитафьи к прожитой жизни.

Я на какое-то время потерял Веру из виду.

И заметил её вновь, когда уже были совершены все те мистические кладбищенские ритуалы, вроде обязательного извлечения из гроба живых цветов, сохранения бечёвки, которой связывали ноги покойного, а также брошена каждым своя горсть земли: крышка гроба всякий раз отзывалась ей глухим, унылым буханьем.

«Со святыми упокой, Христе Боже, душу раба Твоего...»

Отходя в сторону от всех нас, Вера говорила с кем-то по смартфону. Углублённо, отстранённо говорила. Словно находилась в другой, параллельной Вселенной. В ином измерении. Но при этом она плакала вполне по-земному. Только что заведующая отделением, страдающая лёгкой формой библиофилии, сообщила ей, что уставшие до чёртиков патологоанатомы наконец разобрались в её атипичных клетках: они нагло и бесповоротно переродились в онкологическую опухоль, похожую на некоего зелёного головастика, и начали своё крайнее дело, внушая бдительному иммунитету, что они свои и самые из своих невинные. И тот тупо верил им. Непонятно чем и как обманутый. Ещё и заботливо, нежно помогает им размножаться. В общем, в наших глубинах немало такого разного всякого, что портит нам жизнь снаружи...

– Почему это случилось со мной?.. – со стоном хрипло вскрикнула Вера. – Почему именно со мной?.. Разве я мало настрадалась в этой жизни?..

Я почувствовал себя словно бы точкой сингулярности. Но не той единицей пространства-времени, в которой заключалась когда-то перед Большим взрывом вся материя, наполняющая сегодня нашу Вселенную, а в которой собрана вся боль, в ней накопившаяся за пятнадцать миллиардов лет явности.

И ещё я почувствовал себя подлецом. Я не уберёг Веру...

Мы отчаянно обнялись с ней, словно бы схлестнувшись руками. Никто не обратил на нас особого внимания. Никто не придавал этому значения. Плакать обнявшись на кладбище – нормальное явление.

Я что-то горячо шептал Вере. Скорее всего, какой-то сумбур во имя фальшивого успокоения. По крайней мере сейчас я из тех слов ничего не помню. И это даже хорошо. Иначе бы мне было больно и стыдно вдвойне. Что они могли значить перед тем, что она чувствовала теперь? Что вообще можно сказать утешительного в таком крайнем случае?..

Как ни странно, мои слова, которые я даже не запомнил, помогли Вере.

Электрон, который вращается вокруг ядра атома, на самом деле не вращается, а находится одновременно во всех точках сферы вокруг ядра атома. Наподобие намотанного неплотно клубка пушистой шерсти. Это понятие в физике называется «электронным облаком».

Вера судорожно вздохнула и, медленно отстранившись от меня, затаенно оглянулась на могилу Леонида, вокруг которой уже тесно сгрудились ядовито-зелёные мохнатые венки с лакированными золочёными лентами – символом особой траурной кладбищенской роскоши...

Символом пережитых Верой жизненных бед для меня всегда был из далёких ельцинских девяностых годов прошлого века образ дырявого ржавого ведра с тяжёлыми глудками траурно-чёрного антрацита. Она не раз рассказывала мне свою историю про это ведро. То самое, в которое Вера, заведующая читальным залом районной библиотеки, зимой тайком от сторожа насыпала уголь на задворках сахарного завода и за два километра тащила домой, провально увязая в замороженной снежной плоти. Однажды сторож так-таки прихватил её за кражей, и Вера, став перед ним на колени, заплакала. Она так заплакала, что сторож поспешно ушёл, кляня всё на свете себе под нос. А как иначе можно было ей хотя бы раз в три дня протопить печку в съёмной щелястой времянке и хоть что-то приготовить поесть своим мальчикам, когда зарплату не платили почти год? Потому что все деньги в стране ушли на создание собственных олигархов.

Со дня сегодняшнего для меня символом жизненных испытаний Веры стало это старое городское кладбище со странным географическим названием: Юго-Западное. Точно оно указывало направление душам, в каком месте им следует искать их некогда погребённые бранные тела.

Самое то – на кладбище у свежей могилы, прело пахнущей подвальной сырой землёй, вдруг узнать, что в глубинах твоего тела обнаружена быстро-растущая раковая опухоль, похожая на сине-зелёного головостика с нитяным длинным хвостом. Или, может быть, на зародыш некоего инопланетянина? Или на начало нового витка эволюции жизни на Земле?

Разница между живой и неживой материей исчезает на атомном уровне.

Поминали Лёню в столовой Вериного университета. Кстати, она договорилась насчёт этого через того самого проректора Большова. Тут, в самом деле, реально вкусно готовили и по вполне приемлемым ценам.

Дима и Катя служили в театре «Юного зрителя», и, кстати, в их самом кассовом спектакле «Золушка» в свои пятьдесят «на бис» играли: он – принца, а она – ту самую затырканную мачехой девчужечку, обласканную феей.

Если так можно сказать, это были самые интеллигентные поминки, какие я только видел: за столом сидели наши местные артисты, художники, композиторы и даже пара всё время о чём-то яростно шептавшихся, одичало кудлатых поэтов, кажется, романтических постмодернистов. С их стороны то и дело по поводу и без повода слышалось хриплым, истеричным шёпотом словно бы заклинание: «Бродский... Бродский... Бродский...»

Поминки начали с молитвы. Её сотворил дьяк Алексей, только что приехавший со службы из храма на стареньком стопятидесятикубовом китайском скутере, годящемся разве что на запчасти. Даже за столом косички Алексея торчали за сутуловатой худощавой спиной так, словно их всё ещё развевал напор встречного воздуха.

После молитвы один из поэтов-постмодернистов встал, высоко поднял переполненный стакан с водкой и печально объявил:

– Бога нет, господа... Иначе бы он не отнял у нас Лёньку!

И заплакал.

Второй поэт мистически стиснул кулаки у своего лица и тихо, нежно сказал:

– Космос взял нашего друга... Он сейчас в подбрюшине Вселенной... Не будем отчаиваться. Возьмёмся за руки! Все до одного! И замкнём духовную цепь Высшей Энергии!

Я повернулся к Диме. Он никак не отреагировал на постмодернистское колдовство. Как будто его здесь и не было. Дима сидел как человек, превратившийся в точку. Даже Катя выглядела лучше, несмотря на свою синюшную бледность. Тем не менее за весь день я не увидел слёз на её лице. Её глаза непрерывно плакали внутрь. Капля за каплей. Она уже вся была переполнена едкими ледяными слезами.

– Давайте завтра все вместе поедem в Костомаровскую обитель... – аккуратно сказал я Диме. – На Голгофу поднимемcя, в пещеру Покаяния зайдём... Что-то надо делать, иначе вы сгорите в этой боли... Вы там были хоть раз? Молчание Димы и Кати ответило само за себя.

Число атомов в человеке многократно превышает число звёзд видимой Вселенной.

Мы выехали в Костомарово мгlistым, зыбким утром. Густое, сырое небо провисло почти до самой земли, как брюхо только что оценившейся суки. Тем не менее моя городская «копейка» пижонистого ярко-жёлтого цвета словно радовалась дороге через степные раскидистые просторы, как неожиданно оказавшийся на воле вольной ипподромный скаковой конь.

Ехали молча. Это было особое молчание длинной в двести километров пути. Так молчат люди, находясь в бессознательном состоянии. Можно сказать, что все мы четверо пребывали в коме, сохраняя лишь внешнюю видимость некоего движения.

Костомаровское пещерное святилище было устроено благодатными трудами монахов в меловой горе задолго до крещения Руси по святому пове-

лению апостола Андрея Первозванного. И в местах, любовно названных им по их схожести с его родными краями Новым Иерусалимом. То есть со своей Голгофой, горой Фаворской, садом Гефсиманским...

Когда уже подъезжали, я наконец аккуратно, пробно заговорил. Со стороны можно было подумать, что я говорю сам с собой.

Я посчитал необходимым рассказать о пещерных костюмаровских чудесах и тамошней главной святине – иконе Божией Матери в человеческий рост, написанной на металле. Так вот, на этой иконе шесть следов от пуль – дырки с оплавленной краской. В двадцатые годы стреляли комиссары-безбожники. В лики целились, да не попали. Как некая сила руку им отвела. Ещё там есть образ Святого Семейства за трудами – отрок Иисус и святой Иосиф плотничают, а Божия Мать прядёт овечью шерсть. И будто бы многие, молившиеся перед этой иконой, обретали просимое. Случилось даже, что не так давно родители нашли здесь сына, пропавшего в чеченском плену лет пятнадцать назад и потерявшего память от пыток. Вообще в Костюмаровской обители чудесные явления едва ли не обычное дело: то вдруг стопы Спасителя на иконе засветятся всполохами, то луч с чистого неба ярко станет в сумерках на пути Крестного хода или Нечто блистательно засияет ночью из-за храмовой горы. После разгрома монастыря в шестидесятые, хрущёвские годы исчезла знаменитая плащаница Божией Матери; от ниши, где она лежала, и теперь чувствуется неповторимое благоухание. А в безлюдных пещерках-затворах иногда слышится загадочное пение. А как-то здешних строителей напугало видение белобородого старца. Всем своим видом тот напоминал святого «дедушку» Серафима Саровского...

Наконец привычный степной пейзаж с бескрайними полями и черно-зелёными куртинами преобразился: слева от нас вздыбились под облака высокие, лобастые холмы, морщинистые, с блескуче белыми извилистыми прожилками, похожими на следы будто бы ещё не растаявшего в этих меловых горах снега. На вершинах коричневыми пятнами лежала скудная растительность и даже видны были какие-то деревья, издали в самом деле похожие на пальмы. Ещё бы верблюдов сюда – и Палестина один в один. Видна и Голгофа со строгим, простеньким крестом, а поодаль – опечаленная часовенка.

Строгий, неземной пейзаж. Главное – ощущение небывалого простора и неземной тишины. В Костюмарове даже жуки какие-то особенные попадают – с белыми крестами на спинках. Так-то!

После короткого отдыха у подножия холмов мы с молитвой упорно поднялись на здешнюю Голгофу. Далеко-далеко внизу слышались бляение отары овец, зуммерящий звук ручной пилы. Мы словно шли навстречу вечности... Кажется, время здесь словно какое-то распахнутое, в любом случае, иное. Точно вспять течёт...

Время жизни изотопа теллура-128 на четырнадцать порядков превышает возраст Вселенной! Ничего более долгоживущего в нашей системе координат попросту нет.

Когда идёшь со свечечкой коридорами, прорубленными в меловой бело-снежной горе, иконы, выступая из мрака, как оживают и аккуратно выходят к тебе навстречу с благословением. Вырезанные из мела иконы Серафимовского храма были словно озарены Фаворским Светом... Строго встречают тебя аскетичные кельи, местами поросшие зеленоватым мхом. В пещеру Покаяния ведёт тесный, низкий ход, так что там человеку мирскому может даже плохо

стать. Многим в ней делается не по себе. Это уже не раз взволнованно испытано. Как-то вдруг особенно остро, больно чувствуешь тут сожаление о всех тобой совершённых грехах, видишь их горестную постыдность...

И Он там во время вашей исповеди, совсем рядом, и вы, не видя Его глазами, но лишь душой остро чувствуете, как Он внимательно и с любовью вслушивается во всё, что вы говорите.

И грехи мои как изошли из меня. Это было физически ясное ощущение. Ощущение взрывчатого облегчения души. Я вдруг заметил, что дыхание у меня – учащённое, а сердце в груди взволнованно частит. По лицам Веры, Димы и Кати я понял, что и они чувствуют то же самое.

Новое невероятное удивление ждало меня, когда я вышел из пещеры Покаяния на яркий, густой июльский свет, когда с горней высоты увидел окрест здешние монастырские места. Словно я вообще впервые увидел этот мир... Или он был только что сотворён? Так, наверное, видит мир пострадавший болезнью человек, когда наступает долгожданное выздоровление.

Основу нашего реального мира составляет квантовая нереальность.

На обратной дороге машина шла заметно натужней: багажник был у нас затарен баклажками со святой водой, бутылками с целебным маслом, освящённым от мощей Матроны Московской, и памятными кусками здешнего мела. К тому же я сбился с пути, и мы отклонились в сторону от маршрута – ни мало ни много километров на семьдесят. Спихнулись, заметив, что вокруг совсем незнакомые и какие-то непонятные места. Словно нас занесло в некую параллельную Вселенную. Ещё я забыл включить фары, и меня на сельском перекрёстке тормознул вольно скучавший на июльской душистой травке молодой лейтенант ГИБДД, с лёгким пушком будущих бакенбардов, простуженно, по-ребячьи шмыгавший носом. Он вальяжно, нарочито долго выписывал мне штраф на двести рублей. И при этом с большой охотой вовлёк меня в затяжной разговор про некоего миллиардера Илона Маска, в порыве детскости запустившего недавно в Космос, в сторону Марса грузовую капсулу с лаково-вишнёвым суперавтомобилем Tesla Roadster. Чтобы дорога не казалась скучной водителю-манекену, в кабине автомобиля по пути на Марс будет вдохновенно звучать космическое «Space Oddity» Дэвида Боуи. Такого эпатажного груза наша галактика Млечный Путь, да и все прочие в их множественной миллиардности явно никогда не видели. На фоне роскошного авто даже летающие тарелки теперь станут восприниматься как вышедшие из моды артефакты.

– Ну чудак, ну даёт! – весело щурился лейтенант.

В этом летящем на Марс шикарном «авто» для него явно был упрятан какой-то великий вопрос, сугубо связанный со смыслом рождения Великой Вселенной – бесконечного месива звёзд и камней мёртвых планет.

Альберт Эйнштейн противился одной только мысли о том, что в основе сущности природы лежит случайность.

– Не нарушайте, гражданин... – уныло напутствовал меня лейтенант, философски озабоченный автомобилем во Вселенной. – Откровенно говоря, я тоже часто забываю включать днём фары. Как-то в голове это не укладывается: днём с огнём?..

Одним словом, все эти наши дорожные события как бы исподволь намекали нам, что мы возвращались из Костомаровской обители уже несколько иными людьми, и весь мир вокруг нас тоже словно бы чуточку изменился. И привыкать к нему будет нелегко.

Когда мы с Верой въезжали во двор, я заметил на трёх мятых переполненных мусорных баках свежую надпись грязно-белой краской: «Илья + Эльвира = любовь». К ним кто-то возложил букет ржавых, некогда белых роз. Может быть, сам Илья? Такое на нашей планете может вытворять лишь первая любовь.

Онкологический диспансер для большинства жителей нашего города-миллионника не более как некая локальная война вдали от родины. Где-то там будто бы постреливают...

В нашу с Верой жизнь он вторгся как дерзкий, высокомерный хозяин, требующий от своих квартиросъёмщиков тотчас освободить его квартиру по неведомой для них причине. По крайней мере, нигде в городских поликлиниках, где мне пришлось бывать, в регистратуре не говорят так заносчиво с посетителями, как тут: подсознательно ощущается, что здешние больные одной ногой уже на том свете. То есть как бы это уже отработанный, бросовый материал.

Неделя за неделей мы ходили в диспансер каждый день. Казалось, анализам, которые сдавала Вера, не будет конца. Мы с ней словно бы опускались в ад на неисправном, двигавшемся рывками лифте.

Лишь пройти мимо онкологического диспансера – это уже экзамен на прочность психики, который способен выявить у внешне здорового человека скрытые ранее неврозы. В любом случае ваше настроение возле этого особого здания резко переменится далеко не в лучшую сторону. И не стоит в этот момент пытаться напустить на себя нарочитое равнодушие или глубинную философичность восприятия жизни. Может даже случиться, что человек, впервые увидев здешнюю вывеску с гиппократовским термином «онкология», внезапно ощутит удушье, споткнётся или едва не попадёт под машину.

Я никогда не видел в таком количестве собравшихся вместе людей, должных вскоре мучительно умереть. Но, несмотря ни на что, они при этом ещё могли и улыбнуться вам, и подбодрить новичка, и успокоить своих отчаявшихся родственников. Им ли было не знать, что смерть есть такое же естественное состояние организма, как влюблённость, вдохновение или чувство сытости, наконец?..

Мы с Верой поднялись на третий этаж, робко уступая дорогу идущим навстречу больным. Если между ними оказывались здоровые люди, то они, как бросилось мне в глаза, изо всех сил старались выделиться из этой бесконечной толпы обречённых и каким-нибудь образом, но подчеркнуть своё исключительное здоровье: кто-то излишней прыгучестью по ступенькам, вертлявостью, кто-то неуклюжей улыбочивостью или нелепым напеванием модного мотивчика. Я, мол, ещё вполне молодец и к здешней когорте смерти никакого отношения не имею. Я тут по моральным причинам, из сострадательного сопровождения умирающего, или в здешнюю аптеку, или в здешний буфет решил заскочить: а что, как цены тут – дешевле? Должно же быть какое-то послабление человеку накануне перехода в Вечность? Только накося выкуси...

Бывает, случаются тут иногда и такие люди, которых переполненные больными коридоры вдохновляют чуть ли не на миссионерское проповедничество. Вот доставил такой взволнованный человек своего полумёртвого родственника к дверям приёмного отделения, огляделся, оценил общую картину, сострадательно проникся ею и, возгоревшись душой, тотчас пылко приступил

прямо-таки командирски внушать здешним ожидателям смерти: «Верить надо в лучшее! Да здравствует Оптимизм! Вдохновляйтесь радостью! Не сдаваться! Резервы человека безграничны! Я читал в Интернете, что через три года во всех аптеках появятся дешёвые лекарства от всех видов рака. Его создали на космической станции и уже успешно испытывают на людях».

И всегда тут на такого взгорячённого позитивиста найдётся суровый тормос. Скажем, пусть это будет с виду ещё вполне крепкий мужик с раскоряченными ногами-пнями и будто из чугуна отлитыми кулаками. Когда у него месяц назад продиагностировали рак желудка четвёртой степени и определили ему жить не более полугода, он сгоряча не нашёл ничего лучше, чтобы доказать своё могучее здоровье, которому сноса быть никак не может, чем бесшабашно поднять доктора над собой обеими руками и пританцовывать с ним вприсядку, ещё и ядрёно подпевая: «Ехал грека через реку, видит грека: в реке – рак! Сунул грека руку в реку, рак за руку греку – цап!»

И вот такой – над всем суетным, обыденным, пустозвонным поднявшийся вдруг через близкую глубинную смерть – человек оглядит как рентгеном самодеятельного пророка оптимизма и холодно-здраво скажет: «Лекарство от рака кто-то нашёл? Через три года всех нас вылечат? Да кто же такое допустит? Завтра же такого твоего открывателя закроют. Иначе он всех лекарственных олигархов и их прикормышей по миру пустит. Потом же и государству невыгодно нас спасать! Лишние пенсионеры ему не в радость. Так что по уму и по разумению желательно, чтобы старики как можно скорее помирали. Вот ведь «скорая» к ним по негласной инструкции в последнюю очередь едет и вовсе без мигалки с сиреной».

Господи, благодарю Тебя за всё, что со мною будет, ибо твёрдо верю, что любящим Тебя всё содействует ко благу.

Осторожно, с оглядкой, чтобы никого не потревожить и не нарушить ещё не ведомых нам правил этого заведения, мы с Верой аккуратно стали у стены кабинета с сурово краткой табличкой «ВАК». При всём при том эта аббревиатура смотрится крайне внушительно и тревожно. По крайней мере, никак не менее, чем то самое «ВЧК» или «КГБ».

Мест не было. Стояли, притулившись к стенам, не мы одни.

– ВАК? Врачебно-лётная комиссия? Так нам тогда не сюда, Верунь... – нервно усмехнулся я, чтобы как-то разрядить тутошнее напряжение. Его, знаете, невольно вызывало ощущение, что за этой дверью кто-то сейчас колдует, жить нам дальше или лучше откровенно помирать...

– Вы понимаете, здесь не шутят... – строго заметила стоявшая рядом со мной больная с большой мясистой опухолью на лысом затылке, словно это был некий всевидящий и всеконтролирующий орган какого-то подселившегося в неё представителя инопланетного разума.

– Поглядим на ваши шуточки, когда вам огласят диагноз... – уже почти сочувственно добавила она особым внятно-мудрым голосом человека, у которого всё внутри изъязвлено жёстким рентгеном и отравлено химией.

Сдержанно вздохнув, я мысленно пожелал ей невозможного выздоровления.

Приём больных по времени вот-вот должны были начать. Уже торопливо зашли и сели вдумчиво изучать их крайние (или последние в жизни?) анализы более чем сосредоточенные онколог, радиолог и химиотерапевт во главе с замом главного врача – удивительно красивой и статной женщиной. Будто ангелы-хранители слетелись. Вернее, судя по строгости их лиц, они больше могли проходить по части тех представителей сил небесных, кажется, Архангелов, которые разводят поток душ в рай и в ад. При всём при том в их умной строгой сосредоточенности было нечто от солид-

ных бывалых преферансистов, привычно севших расписать джентльменскую пульку.

Какая-то бабулька, совсем, видно, сдавшая, так даже перекрестилась на врачей этих, но только смогла одолеть два первых движения рукой, а на левое плечо и правое плечо ей сил не достало.

Вечный час мы ждали трубный глас провозвестный. Это был канун нашего местного больничного апокалипсиса.

Внутри атома материя не существует в определённых местах, а скорее «может существовать»; атомные явления не происходят в определённых местах и определённым образом наверняка, а скорее «могут происходить».

Сидим и стоим все с какой-то отчаянностью, губы напряжённо подобрали, а многие так и вовсе переутомлённо зажмурясь: затравленные, горестные, обиженные, отупевшие, очень хорошо и очень плохо одетые, все как один скукоженные, согнутые или перекошенные. Здешние лампы светят ярко, бодро, да и солнце июльское ещё задорно прибавляет освещённости коридорам онкодиспансера – однако здесь, несмотря ни на что, будто бы царят глухие, унылые сумерки. Ещё и собака плаксиво подвывает под окнами, словно палкой побитая, будто из последних сил.

И тут вдруг аккуратно зашла в этот наш предбанник-чистилище какая-то юная, вызывающе лысоголовая худышечка в серебристом комбинезоне, словно бы вовсе пустом. Так как при её практически нулевом объёме ему облегать было нечего. Зашла, будто пола не касаясь ножками. Так что точнее сказать, она вплыла, ведь, в отличие от всех нас, худышечка явно пребывала в состоянии невесомости. И тихо, молча села там, где и сесть из-за тесноты, казалось бы, не было никакой возможности. А вот она легко вписалась со своей удивительной, нечеловеческой бестелесностью. Подбородочек остренький строго, гордо приподняла. Личико аккуратно, но пронзительно бледное, так что при беглом на него взгляде воспринимается сплошным матовым пятном. Только и видны на нём её чёрные, ёмкие и какие-то безразмерные глазички. Головушка дерзко, вызывающе блистает бледно-серебристым гляncем. словно это мода какая-то инопланетная. Такой чистоты кожи вам ни один самый маститый и вдохновенный парикмахер даже опасной, отточенной бритвой не устроит. Ибо голова девчущечки выглядела так, будто волос на ней вообще отродясь никогда не было и быть не могло в силу её неземного происхождения. Так бывает после химиотерапии, от которой волосы везде исчезают начисто. В общем, через этот блеск девичьей головки над ней словно зыбкий ангельский нимб мерцал. Хотя не исключено, что его могло сформировать радиоактивное свечение, вызванное гамма-лучами, которые здешние рентгенологи, как видно, ей более чем щедро отпустили, борясь за её жизнь не на шутку.

Я ни в какую не хотел поверить, что причиной ангельского нимба бестелесной девчущечки были здешние потолочные люминесцентные лампы.

Ожидая пророческий *vere dictum* комиссии, мы с Верой незаметно любовались юной больной и украдкой переживали за неё.

Второй час пошёл, как доктора-«преферансисты» сортировали больных на операбельных и неоперабельных да составляли оптимистические планы какого-никакого лечения, чтобы выгадать своим пациентам возможность хотя бы минутку лишнюю продержаться на этом белом свете и, может быть, краешком глаза успеть увидеть в реальности долгожданное начало воплощения планов нашего государства по улучшению качества жизни простого народа. Людей то бишь.

Мы сидели, замерев, как дети при игре в штандер, ожидая, кого водящий «осалит» мячом.

– А где девушка, которая напротив нас была?.. – вдруг шепнула мне Вера. Я неуместно пошутил:

– Она такая худенькая, что вполне могла затеряться в нашем перенесённом предбаннике.

– Никакой девушки тут отродясь не было... – сердито отозвалась женщина с наглухо забинтованным лицом, как у поднявшейся из саркофага древне-египетской мумии.

Её голос прозвучал пугающе глухо, невнятно, как если человек говорит через прижатую ко рту подушку.

– Я точно видела её... И муж... – смутилась Вера.

– А очередь она занимала?

– Кажется, нет...

– Тогда, наверное, это наша Аннушка была! – вдруг с необычным у этого ВЛК-кабинета радостным теплом проговорила полная белолицая старушка, Прасковья Ивановна.

Я уже знал из здешних разговоров, что ей восемьдесят девять лет и она из придонского казачьего села с лихим названием Бабка. За последние девять лет Прасковья Ивановна перенесла три операции, три курса облучения, четыре химии и усмехалась, что ей пора бы орден какой-никакой дать, а медаль «горбатого», мол, у неё уже есть.

– Сиротинушка... Родители у неё от рака молодые умерли, а потом он и до неё добрался... Отличница, говорят, была, на всяких олимпиадах в школе побеждала. Да только схоронили Аннушку как есть на день её тринадцатилетия... А теперь она уже какой год иногда приходит сюда... Постоит, оглядится и всегда исчезает незаметно.

– Это мы, получается, призрак видели?.. – смутилась Вера.

– А это как хочешь, так и думай! – строго постановила бессмертная старушка, блеснув в больничных сумерках перламутровой белизной своих собственных зубов, не пошатнувшихся даже под ударами фотонов жёсткой радиации. Более того, они у Прасковьи Ивановны как бы даже модными стразами игриво высверкивали.

Печальные здешние сидельцы глухо, болезненно её поддержали.

Одним словом, старожилы диспансера были уверены, что Аннушка реально навещает время от времени как бы ставшие ей родными здешние стены. Только видели они её тут живую или призрачную – полного согласия у них не было. Начались взволнованные воспоминания. Кто-то однажды с Аннушкой при встрече машинально поздоровался, кто-то испуганно вскрикнул: «Чур, меня, чур!» Но Аннушка никогда никому ни слова в ответ. Только молча под нимбом своим оглядывается по сторонам, будто что-то, вернее, кого-то ищет. И была за этим её посещением со временем обнаружена старожилками характерная примета: является она тому, кто ей понравился. Но более того, увидевший хоть раз Аннушку всегда чудесным образом исцелялся. По крайней мере, жил ещё достаточно долго.

Никто в мире не понимает квантовую механику – это главное, что нужно о ней знать.

Наконец дверь кабинета ВЛК заработала. Ещё через час дошла очередь и до моей Веры Константиновны. Консилиум без обиняков решительно и строго объявил ей «срочную операцию».

– Витенька, они меня зарежут!.. – выйдя, глухо вскрикнула Вера, неожиданно больно взяв меня за руки, чтобы не упасть.

– Ради Бога, успокойся... – тихо сказал я, не делая ни малейших попыток освободиться от жёсткого захвата.

Если бы Вера сейчас стала в приступе отчаяния бить меня головой об стену, я бы, наверное, тоже нисколько не сопротивился этому.

– Надо найти для тебя самого лучшего хирурга...

– Разве такие сейчас ещё есть?

– Я найду.

– Ты не успеешь.

Уже назавтра Вера сидела в кабинете главврача поликлиники для «старших» и «младших» дворян Игоря Аркадьевича Нестерова, моего лучшего школьного товарища. Он, я уверен, всегда помнил и будет помнить, что путь в медицину предопределил ему именно я. Такое не забывается. В пятом классе накануне летних каникул учитель пения Сан Саныч поднял расшалившегося Игорька (по-нашему тогда – Гарика) исполнить в наказание за вертлявость песню «В защиту мира» на слова Ильи Френкеля. Автора музыки не помню. «Вновь богачи разжигают пожар, миру готовят смертельный удар...» – сбивчиво запел мой товарищ, попутно строя всем нам весёлые гримасы. Так что он не заметил, как я по принятой тогда у нас в классе традиции подставил ему карандаш под усест. Вернее, мизинчиковый карандашный огрызок. Вот на него будущий главный врач Нестеров и опустился с чувством исполненного долга перед всем миролюбивым человечеством. То есть попросту плюхнулся. Всем своим немалым весом «жирнихоза». С того дня началось его судьбоносное и успешное знакомство с медициной.

Игорь Аркадьевич точно знал, где ещё есть прекрасные врачи, несмотря на непрекращающиеся реформы в медицине и высшем образовании.

Человечество блуждает в потёмках знаний.

– Милейшая Вера Константиновна... – выслушав мою жену, сдержанно улыбнулся Нестеров, вдруг добродушно вспомнивший решающую роль в его судьбе моего карандашного огрызка. – Я ознакомился с вашими, простите, анализами. Н-да... Scio me nihil scire... То бишь я знаю, что ничего не знаю. И всё же, всё же... Слава Богу, есть некая надежда. Словно бы само провидение вознамерилось вас спасти и вовремя предупредило о раковом заговоре в организме. Vive valeque! Живи и будь здоров! Вернее, голубушка, живи, живи и будь здорова! Свезло вам, свезло. Если бы не этот «пожарный» профосмотр в вашем университете, милейшая, мы вскоре могли вас потерять...

Игорь Аркадьевич потянулся к изящной белой телефонной трубке таким нежным жестом, словно намеревался погладить её выпуклую стройную спинку.

– О вас позаботится сама Эмма Дмитриевна... – с особым удовольствием проговорил он это имя-отчество. – Наверное, вы уже догадались, о ком я веду речь?

– Нет... – покраснела Вера.

Больше всего она боялась сейчас внезапно разрыдаться.

– Ну да, вы же, спаси Господи, ещё новичок в этом, так сказать, «раковом корпусе»! – Игорь Аркадьевич несколько прищурился, как бы переваривая с удовольствием эффект удачного и вовремя употреблённого словца.

С явным выходом на некий больший смысл, благодаря изящной ассоциации с некогда популярным «нобелевским» романом Александра Исаевича, он сию книжицу «Раковый корпус» во время оное, в середине семидесятых,

читал ещё в самиздатовском варианте на тонкой, вернее, на совсем тонкой, как из тумана сотканной, полупрозрачной бумаге. До сих пор ему помнится тот её мягкий, трепетный звук, с каким бумага переворачивалась.

Игорь Аркадьевич на минуту вдохновенно, с толикой мальчишеской азартности задумался, а стоит ли сейчас рассказывать этой красивой бледной женщине с таким нежным, жертвенным взглядом, какой был только у дворянок позапрошлого столетия, эту давнишнюю историю его чтения «Ракового корпуса» Солженицына?

«В другой раз... Нет-нет, не теперь, кажется... Не стоит, право...» – наконец ясно определился он, тем не менее сожалея, что не озвучил одну из самых удивительных историй своей советской молодости. Ту самую, когда книгу писателя-диссидента ему, тогда ещё рядовому практиканту, дал «почитать» на ночь не кто иной, как курировавший в те времена «дворянскую» поликлинику капитан Госбезопасности Василий Васильевич Лиходед. Он, кажется, застрелился после развала СССР...

– Эмма Дмитриевна, скажу вам, милейшая, это хирургия от Бога, – нежно проговорил Нестеров. – И человек замечательный! Сверхзамечательный, доложу я вам. И мы сейчас ей позвоним!

Эмма Дмитриевна не ответила.

– Наверное, на операции наша Эмма Бовари! – вдохновенно улыбнулся Игорь Аркадьевич. – Ну да ничего, милейшая Вера Константиновна. Я дозволюсь. В любом случае, там, в больнице, когда вас положат на операцию, запросто скажите Эмме, что вы от меня.

Он ещё раз поглядел анализы Веры и с силой опустил обе свои руки на стол перед собой:

– Вашу болезнь ещё можно поймать. Она пока проявила себя достаточно локально...

В смоленском селе Мужижкое на танцы молодёжь собирается в клуб летом часов в одиннадцать вечера. Идут через лес. Клуб – домишко в два окна, две тусклые лампочки, за стеной – сырзаводишко.

Девки поют по дороге. Сдержанно. Парни слегка пьяные, но достаточно ещё тихие. На разгоне.

Танцуют «шерочка с машерочкой». Вальсируют. Хотя гармонисты, их трое, играют остервенело, кто во что горазд. Рвут меха и душу. За полночь девки выносят на середину клуба стул и кладут на него ремень; какой-нибудь парень берёт его, подходит к облюбованной девчонке и несильно бьёт им по её плечу или спине. Далее с форсом бросает ремень на пол: знак – она пойдёт с ним! Вопрос решён. Их тут же выгоняют обоих на улицу в тёплый туман этим же ремнём. А если парень, оглядевшись, положит ремень обратно, тот достаётся другому ухажёру. И так далее под осатаневшую гармошку. Все по очереди. Вместо парня ремень может взять девушка. Тогда ей следует ударить своего избранника. И если, оттянув того ремнём, бывает, очень ощутимо, она также бросит его себе под ноги, обязательно удало дробью пройдёт «с перебором», тогда парень шагает за ней, нарочито понуро схватившись за голову. И их тоже поторапливают на выход тем же ремнём. Такой обычай назывался «ремешок». Если нет стула – ставили гармонь под ремень. Ещё деталь решительная, без которой никак нельзя: после танцев на почве ревности обязательно завязывается драка, всегда с ножами. Но никто не заявлял, если даже его пырнут. Серьёзных ранений не бывало. Вот такое происходило на Смоленщине полвека назад.

– Не хочу никакой операции!.. – это были первые слова Веры, когда она вернулась от Игоря Аркадьевича. – Пусть всё идёт своим чередом... Если Боженька решил, чтобы я заболела и умерла, надо это смиренно принять...

Она говорила с вдохновенным, бунтарским выражением лица.

– А если наверху приняли решение, чтобы ты заболела и выздоровела, проявив в пример всем остальным достойное мужество и волю к жизни?! – твёрдо сказал я, словно был своим человеком там, на небесах, где выносятся вердикты как всему человечеству, так и его отдельным особям.

Вера опустила на колени перед нашим домашним иконостасом. Я возле него всегда испытываю обострённое чувство вины. Мне кажется, что иконам в доме такого, как я, обычного, изначально греховного человека больно находиться.

Само собой, к Вере это не относится. Этот домашний иконостас – её рук дело. Она его старательно, с душой собирала долгие годы по разным храмам и монастырям. То есть не просто покупала иконы, а всегда брала ту, с какой у неё неожиданно устанавливалась незримая тонкая связь.

Мне показалось, что лики на нашем иконостасе сейчас сострадательно смотрят на Веру. Я напряжённо молчал. Чтобы не помешать ей услышать их ответ.

Ответа не было.

– Я стану калекой. Тебе оно надо, Витенька? – поморщилась Вера. – Больная жена никакому мужу не нужна... Нет, я откажусь от операции. И будь что будет.

И тогда я рассказал Вере одну историю, которую недавно мельком услышал, натягивая на свою уличную обувь бахилы в предбаннике онкологического диспансера. До сих пор я почему-то не решался это сделать. Наверное, эта история ждала своего часа. Кажется, он настал. История была про пожилую пару. Идеальную во всех отношениях. Эти муж и жена так любили друг друга, что, несмотря на свои преклонные годы, всегда и везде ходили, держась за руки. В чести у них было домашнее пение романсов в два голоса, чтение вслух Лермонтова, Чехова или, скажем, Тютчева. А когда у неё вдруг обнаружили неоперабельный рак, он покончил с собой, чтобы не видеть её смерть.

– А она выздоровела? – до слёз смутилась Вера.

– Я этого не понял, а переспросить было неловко...

– Ладно, пусть режут... – вздохнула Вера.

Когда кто-то в семье собирается в командировку – это полдела. Почти незаметная процедура, лишь слегка ускоряющая темп привычной домашней жизни. На порядок суетней предстоящая поездка на дачу. Но ничто не вносит в дом столько хаоса, как тот особый случай, когда кому-то из близких предстоит лечь в больницу. По крайней мере, у меня создалось именно такое впечатление.

Как только Вера принялась складывать вещи, которые будут нужны ей «там», а также с некоторой долей вероятности могут быть нужны ей «там» или могут ни с того ни с сего «там» вдруг потребоваться, я понял, что она заберёт в больницу всё, что имелось в доме.

Как бы там ни было, в центре зала, оттеснив к стене моё кресло и журнальный столик с моей любимой изящной арабской чёрной вазой, своевольно раскорячилась бродяжная ватага разномастных сумок и пакетов. Вид у них был просто хулиганский.

Я не выдержал, когда Вера извлекла из какого-то тайника два маститых тома мудрых выражений и крылатых фраз человечества.

– И какой врач приписал тебе такое зелье? – насторожился я, уверенный, что с психиатром Вера точно не общалась.

– Это мой подарок тебе на день рождения.

Я так растерялся, что не сразу смог вспомнить, когда он будет и есть ли он вообще у меня?

– Погоди, на дворе июль, а я родился в феврале.

Я для большей убедительности покосился на календарь.

– Ничего. Я специально купила тебе подарок заранее.

– Это теперь так принято?

– Не знаю. Лично я сделала это на тот случай, если не очнусь после наркоза... – тихо проговорила Вера.

Я возненавидел себя.

Под вечер, как нам было назначено, я привёз Веру в онкологическую больницу. Истекал шестой час. До захода солнца оставалось немало времени, и оно своим предзакатно блестящим, острым светом присутствовало везде. Июль даже на излёте своём донельзя переполнен солнцем. Оно словно старается про запас, памятуя про будущие глухие сумеречные зимы.

Есть ли будущее у нас с Верой?..

Эйнштейн выдвинул постулат: ничто не может двигаться быстрее света. Но квантовая физика доказала: субатомные частицы могут обмениваться информацией мгновенно – находясь друг от друга на любом удалении.

Здание больничного корпуса выглядело так, словно оно тоже было поражено раковой опухолью. И, скорее всего, «неоперабельной»: одна его половина смотрелась вполне прилично со своей перламутровой пластиковой отделкой, другая в затяжном полувековом ожидании ремонта печально выставила наружу свои древние стены из осыпающихся, болезненно-трухлявых кирпичей. Красными они, наверное, были только от стыда за себя.

Из моих смоленских берестяных записей лета 1967-го:

«Петух, прокричав, стыдливо постанывает.

У гусей такой вид: к кому бы придраться?

Таракан за стеной тикает как часы – «циркун». По-нашему – сверчок.

Боров в сарае чешется – сарай ходуном ходит. Из щелей – пыль столбом.

Девочка 5 лет хочет, когда вырастет, стать коровой, чтобы давать много-много вкусного молока.

Бригадир на конторе повесил наряд: «Дунька – на прополку, Манька – на сено, Гашка – на лён...» И так далее.

У всех волосы на солнце выгорают, а у здешнего пастуха – чернеют.

Старики пастуха зовут: «Васька-Васька» (Василий Васильевич).

Из словаря Васьки-Васьки: «Лягушки – болотные соловьи». «Всю зиму в туфлях проштудировал». «Вам здравствуйте!» «Жаркота – она и есть жаркота!»

На мой рассказ о запуске станции «Венера-4» Васька-Васька ответил так: «Вот это новость, это надо другим понятие дать, ишь!»

Мелентьевич, пенсионер со стажем, по поводу женитьбы пьяницы Захара на пьянице Женьке: «Разве это женитьба? Карикатура одна. Критика».

Здесь портной, обувщик и печник Сапог, когда покупал на базаре мясо, почему-то всегда настырно домогался, как забитую свинью или корову звали: Борька, Васька, Зорька, Мишка?..

Сын, отказываясь сидеть на материнской шее, говорит: «Что ж я буду мамкину корову жевать?»

Мелентьевич видит у прилавка Захара, с похмелья ждущего бутылку пива в долг, и спрашивает, хитро щурясь:

– Как чувствуешь себя, малый?

– Как выкуренная папироса...

Поверье: если помочиться в лужу – мать умрёт».

Неподалёку от онкологического стационара стояла аккуратная деревянная часовенка, словно чистилище перед операцией, на тот случай, если душа так-таки отойдёт в горний мир. Чтобы ей легче летелось без обременительного лишнего груза.

– Я зайду в часовню одна... – потупилась Вера.

Я почти час мысленно молился вместе с ней на ступеньках паперти.

Хирургическое отделение располагалось на верхнем, третьем этаже. Когда мы поднялись, я был показательно вежлив со всеми, кто ни попадался у нас на пути: ласково здоровался с каждым, мигом кидался поддерживать оступившегося и даже с умилением назвал Бобиком лежавшую на лестничной площадке невесть откуда взявшуюся огромную грязную чёрную собаку. По крайней мере, это вряд ли был Мефистофель, так как нигде поблизости Фауст не наблюдался. А когда дежурная сестра приветливо заговорила с нами, я едва сдержался, чтобы не поцеловать ей руку. Одним словом, меня взволнованно подмывало во всём находить здесь такие примеры, которые бы могли убедить Веру, что сюда приходят не на закание. То есть всюду жизнь! Почти как на знаменитой картине Николая Дорощенко.

Когда Вера приступила к переодеванию в больничное, у меня перехватило дыхание. Я словно бы только сейчас понял, что происходящее с нами не виртуальная игра. Возможно, мы стоим рядом последний раз в этой жизни.

Как бы между делом Вера протянула мне какой-то листок. На нём было что-то написано её новым, неразборчивым почерком, какой появился с тех пор, как она стала много работать на компьютере, строча свою диссертацию о смертной казни. В любом случае, мне и в голову не пришло брать сюда очки.

Я вздохнул.

– Это телефон и адрес Алины Алексеевны, – строго проговорила Вера. – Если я умру здесь, свяжешься с ней. Конечно, не в первый день после моих похорон. Это моя лучшая подруга. Замечательная женщина. Одинокая. Ещё красивая. Лучшей новой жены тебе не найти. Мы с ней эту тему уже обсудили.

Вера усмехнулась. Усмешка тоже была строгая. Более чем.

Я порвал листок.

– Ничего, она сама тебя найдёт... Мы с Алиной этот вариант предусмотрели.

Мир частиц нельзя разложить на независимые друг от друга мельчайшие составляющие; частица не может быть изолированной.

Операция была назначена на утро, но для Веры она началась ещё ночью, когда череда её обычных обрывочных и каких-то мультяшных видений вдруг

сменил чёткий цветной 3-D сон. Он явно был с той полки, где мозг хранит до поры до времени ночные «ужастики». Операционная, похожая на внутренности модуля космической станции: яркие экраны, какие-то фантастические лампы и загадочные приборы. Всё затянато эфемерной неземной сиреновой дымкой. На ядовито-зелёной простыне, постеленной поверх горчично-жёлтой клеёнки, на никелированном операционном столе мертвенно лежит Вера; рядом озабоченно склонилась над ней с блескучим жалом скальпеля ещё одна Вера, в синем комбинезоне. А в дверях с волнением и наивным ужасом удивлённо смотрит на всё происходящее третья Вера, ещё школьница, в её любимом выпускном голубом платье. Но главная деталь этого сна – из прорези комбинезона на спине второй Веры, занёсшей хирургический скальпель, между лопаток торчат маленькие, но какие-то мускулистые крылья с мерцающим матовым отблеском, явно ангельские.

Когда Веру утром везли в операционную, я тайком подсмотрел эту процедуру из коридора. Вера всё-таки заметила меня и нежно помахала рукой. Она всегда радовалась, если мы неожиданно встречались. Скажем, одновременно приезжали с работы или пересекались по своим делам в каком-нибудь учреждении.

Атом состоит главным образом из пустого пространства. Если увеличить его ядро до размера баскетбольного мяча, то единственный вращающийся вокруг него электрон будет находиться на расстоянии в тридцать километров, а между ядром и электроном – и вовсе ничего. Так что, глядя вокруг, помните: реальность – это пустота...

В операционной, вовсе не похожей на её космический аналог из сна, за обычной облезлой и слегка приоткрытой в общий коридор дверью медицинские сёстры хирургического отделения готовили инструменты. Металлический лязг почему-то напоминал мне звук раскладываемых ножей, ложек, вилок и прочих приборов в кафе, в котором некто заказал праздничный ужин, скажем, для встречи одноклассников.

Предстоящая операция, как ни покажется странным, подсознательно воспринималась мной словно некий ритуальный праздник. Точнее, торжественное жертвоприношение во имя избавления от тёмной сверхъестественной силы, которая насылает на человечество эти самые атипичные клетки.

Необычная болезненная радость и почти истерическое воодушевление нарастали во мне.

Я нагло подошёл к самым дверям, невзирая на поражённых ужасом моего недопустимого поступка медсестёр и нянечек. Мне никогда не приходило в голову примерить на себя образ Ангела-хранителя. Сейчас мне обострённо захотелось им стать. Мгновенно. Я даже вспотел, так это ярко нахлынуло на меня.

Мимо в операционную быстро, целенаправленно и в то же время бережно-мягко прошла та самая уникальная Эмма Дмитриевна. В моих глазах сейчас это был не хирург областной больницы, а самый что ни на есть жрец, готовящийся к священному искупительному действу. Я смотрел на неё, как оглашенные и кающиеся, не допущенные к Святому Причастию, смотрели из притвора храма сквозь размазанный блеск свечей и сизую поволоку лада на на высшее таинство Евхаристии.

Эмма Дмитриевна вошла в операционную с облупленной краской на дверях с таким торжественным и радостным выражением на лице, с каким,

наверное, монаршие особы входили в блиставший золотом и каррарским белым мрамором тронный зал.

Напротив операционной с её невзрачной дверью был туалет с ещё более невзрачными дверями.

Эмма Дмитриевна шла одарить благодатью недужных. Там, где она проходила, все люди, остававшиеся у неё за спиной, вдруг беспричинно чувствовали себя счастливыми. Они словно впадали в эйфорию позитива.

Эмма Дмитриевна на миг оглядела меня радостным, смелым взглядом, и я увидел в её глазах счастливую уверенность в успехе операции. Я тоже почувствовал себя счастливым.

Операция началась в полной тишине. Словно Эмма Дмитриевна, хирургические сёстры и Вера для исполнения своих магических ритуалов переместились в некое неведомое запредельное пространство.

Наконец я устал прислушиваться к пустоте. Тем более что возле меня остановились женщины из соседней палаты с громким весёлым разговором. Тон в нём задавала уже знакомая мне по предбаннику у кабинета ВЛК полная белолицая старушка о девяноста неполных годах. Та, что из придонского казачьего села с лихим названием Бабка. Посверкивая перламутром своих вечных зубов, она забавляла соседок по палате разговором на тему, кому и какого жениха она ныне сыщет. В общем, шёл весёлый делёж хоть на что-то годных дешёвых мужиков.

– Без Карповны мы бы тут совсем окоченели от переживаний... – зачем-то застенчиво призналась мне одна из женщин.

Я вдруг вспомнил странную историю с Аннушкой, и почему-то мне захотелось ещё раз поточней расспросить про эту девчущечку именно у Карповны, но бабье царство вдруг дружно переместилось в палату договаривать там самые пикантные подробности предстоящего выбора женихов. Как успел я понять, первым среди них был заместитель главного врача, по всем показателям полнейший красавчик.

Представление о том, что любой объект Вселенной локализован, то есть существует в каком-то одном месте (точке) пространства, не верно. Всё в этом мире нелокально.

Шла двадцать первая минута операции.

Неожиданно раздался апокалипсический грохот: угрюмая пожилая санитарка на кособокой судорожной тележке везла обратно в столовую после завтрака горы опустошённых больными мисок. Это они более чем громко издавали какофонию абсурда. Мне вдруг показалось, что нет ничего более парадоксального и грустного, как то, что обречённые на смерть здешние пациенты тем не менее едят, а некоторые едят с аппетитом. Я с брезгливостью смотрел, как мимо меня двигаются недопитые стаканы с нелепым фиолетовым какао, пакетики смятых чайных «утопленников», съёжившиеся остатки непонятно какой каши и ажурно надкусанные кусочки хлеба с блёстками масла, которое я не решусь в приличном обществе назвать сливочным.

Мне вдруг пришла мысль подхватить эту судорожно ёрзающую, громозвучную каталку и выбросить в окно.

Физик-теоретик Вернер Гейзенберг признавался: «Я помню многочисленные споры с Богом до поздней ночи, завершившиеся признанием нашей беспомощности; когда после спора я выходил на прогулку в соседний парк,

я вновь и вновь задавал себе один и тот же вопрос: «Разве может быть в природе столько абсурда, сколько мы видим в результатах атомных экспериментов?»

Наконец я услышал хоть какой-то звук за дверями операционной: кажется, Эмма Дмитриевна что-то сказала. Мне показалось даже, что голос её прозвучал возвещающе бодро, почти весело.

Я машинально перекрестился.

За окном были видны маковка здешней часовенки и призрачно белёсый, с фиолетовыми прожилками край тучи: кажется, накатывалась грузным, провисшим валом азартная июльская гроза. Пруток маленькой берёзки на крыше заброшенного корпуса стационара трепетал очевидней классической в этом плане осины.

Судорожно дёрнулся мой смартфон, заглотив звонок. А ведь он был, кажется, отключён.

Ко мне прорвался молодой, перспективный проректор Большов.

– Я не могу дозвониться до Веры Константиновны! Она уже прошла профосмотр!)

– Проходит... – шепнул я. – Сейчас началась самая важная, завершающая фаза.

– Пусть поторопится! Напоминаю: иначе мы не допустим её до работы. Вплоть до увольнения!.. Мы ценим её заслуги перед университетом. Но забота о здоровье сотрудников у нас должна быть на первом месте!

– Вас понял... – вздохнул я. – Успеха вам в вашей большой работе...

Предполагаемая некоторыми ведущими квантовыми космологами связь сознания со Вселенной всё более становится очевидностью, хотя и не укладывается в воображении.

Операция действительно закончилась. Она длилась всего сорок минут. Мне показалось, она была длиной в целую жизнь. И теперь их у меня две.

Мы не можем утверждать, что атомная частица существует в той или иной точке, и не можем утверждать, что её там нет. Будучи вероятностной схемой, частица может существовать одновременно в разных точках и представлять собой странную разновидность физической реальности: нечто среднее между существованием и несуществованием.

Вера с трудом приоткрыла веки и увидела меня.

– Больно... – тихо сказала она.

И лицо, и голос её были неузнаваемы. Словно это лежал под серой застиранной простынёй, натянутой почти по самые глаза, совсем другой человек, донельзя отяжелённый грузом нового необычного понимания здешнего мира. Мне показалось, что мы теперь не сразу сможем с Верой найти общий язык, если вообще сможем. У всех здешних больных такие лица, которых вы не увидите ни в обычном хирургическом отделении, ни тем более в терапии. На них и вселенская скорбь от осознания своего диагноза, и глухое презрение к самим себе, и, страшно сказать, преодолённый страх смерти и чуть ли не особое, возвышенное уважение к ней. Таких отрешённых, философских лиц в онкологии немало.

Я шёл за каталкой. Вера, кажется, снова спала. Её головушка покачивалась то влево, то вправо. В такт дерзко стучащим колёсам.

У дверей реанимации она вдруг медленно приоткрыла глаза и как подвынырнула в этот мир из глубин Вечности. Вера тихо, словно бы даже не мне, шепнула чужим, нечеловеческим голосом: «Воды...»

В настоящее время известно около 400 субъядерных частиц, которые принято называть элементарными. За исключением фотона, электрона, протона и нейтрино, все они время от времени самопроизвольно превращаются в другие частицы.

В буфете стационара меня без длинных объяснений завернули: «Приёмка товара!» Оставалось перебежать через дорогу в аптеку. Правда, в неподходящем месте. Пешеходный переход расстелил «зебру» как ковровую дорожку метрах в двухстах от меня. Стремительно темнело. Грозовой вал старательно заасфальтировал небо над городом. Вся эта грандиозная небесная работа совершалась в полной тишине. И тишина эта была такой объёмной, что, казалось, в неё можно провалиться.

И тут этот резкий удар слева. Точно хук от невидимки. Удар отозвался во мне такой болезненной вибрацией, от которой способна оторваться челюсть. Словно в меня воткнули работающий отбойный молоток.

Это была молния. Она врзалась метрах в трёх от меня. При этом никаких световых эффектов. Только сокрушительно трескучий звук, способный сбить с ног.

Я упал. Вернее, опрокинулся на горячий июльский размягчённый асфальт. Всё равно приземление было достаточно жёстким. На память о себе молния оставила мне густой жужжащий электрический рой в голове, глухоту, онемевшую левую щёку и надежду на особое мистическое просветление в итоге.

Полежав ровно столько, чтобы никто не успел отреагировать, как этот куда-то слишком торопившийся гражданин оказался ничком на асфальте, я неуклюже поднялся. Шёл, само собой, медленно. А вы бы смогли бежать, когда у вас под носом взорвался миллиард вольт? И никак не менее того.

В аптеке я не сразу смог вспомнить, зачем я сюда пришёл. Потом я не мог вспомнить, какую минеральную воду пьёт Вера. Взял «Святой источник». Название показалось уместным для сложившихся в нашей жизни обстоятельств.

Когда я вернулся, Веру уже закрыли в реанимационном блоке. Terra Incognita. Но я и туда смог войти. Особенно после удара молнии. Не используя шоколад, духи или коньяк. У меня открылось какое-то второе или даже третье дыхание. Как бы там ни было, никто из персонала меня не остановил. Просто все молча сторонились. Возможно, я мог искрить. Или флюоресцировать.

В любом случае, мы с Верой сначала не узнали друг друга.

И вот странный феномен: мне казалось, что это я сам лежу в реанимации в окружении многих знающих обо мне заумных приборов, опутанный проводами, трубками и шлангами; она же казалась себе мной и не понимала, почему ей не удаётся подойти ко мне ещё ближе, чтобы услышать мой потусторонний шепоток.

Способность к взаимным превращениям – это наиболее важное свойство элементарных частиц.

– Я... тебя... так... люблю... – дискретно проговорила Вера голосом ржавящего робота, у которого критически подсел аккумулятор.

– Я... тебя... тоже... – тихо и тоже вовсе не голосом Ромео и даже не своим отозвался я.

Наверное, мне было неловко демонстрировать моей тишайшей Вере неутраченную силу моих голосовых связок. Я физически ощущал, как в ней только что стремительно работал скальпель, безжалостно кромсая цитадель атипичных клеток. Могла сказаться на моём шёпоте и недавняя почти контактная встреча с рассерженной молнией. Такое тесное общение с миллиардом вольт наверняка способно многое поменять в человеке. Я чуть ли не с гордостью ждал, что за таинственные превращения отныне будут происходить со мной. Более того, мне хотелось, чтобы они произошли.

– Как... плохо... что у нас... нет... детей... – донеслось со стороны Веры.

– Что возвращаться к этой теме?.. – напрягся я. – Ты же хорошо знаешь, что даже врачи так ничего и не поняли в этой проблеме за сорок лет нашей совместной жизни! И вообще тебе нельзя сейчас разговаривать... И думать о грустном.

– Пришли бы детки сейчас мамку поведать, поплакали возле меня... – как прорезался у Веры её обычный голос.

– Давай я поплачу... – вздохнул я и только сейчас ощутил, что от меня пахнет озоном.

Это был сильный и неповторимый аромат. С земляничным оттенком. Вот такой он из себя, этот незабываемый небесный парфюм. Молниеносного действия.

Я только собрался вдохновенно рассказать Вере о стремительной молнии, с которой подружился накоротке прямо на пешеходной зебре, как именно в это время моё нахождение в реанимационной всё-таки обнаружил дежурный врач. Однако он ничего не успел мне сказать, так как, похоже, потерял дар речи: или от моей беспардонности, или во мне далёким сполохом, как последнее прощай, мелькнула та самая моя прекрасная оглушительная искра из вызревшего, грузного грозового облака.

Квантовая теория показывает, что вещество постоянно движется, не оставаясь ни на миг в состоянии покоя. Скажем, взяв в руки кусок металла, дерева и так далее, мы не слышим и не чувствуем этого. Но стоит рассмотреть его при очень сильном увеличении, откроется яростный хаотичный вихрь частиц, похожий на стремительный рой насекомых.

В вестибюле стационара я с трудом судорожно вылез из одноразового, легко рвущегося в клочья хирургического халата-накидки ядовито-зелёного цвета, как бабочка из ставшего ей тесным кокона. Сожаление, что я не рассказал Вере о своём молниеносном крещении, не оставляло меня. Хоть возвращайся. Вера обязательно должна знать, что я только что видел на расстоянии вытянутой руки пляску изящно-тонюсенькой, пламенеющей сине-зелёной струи.

Мы окончательно породнились с ней. Ведь она тоже видела свою молнию. Правда, в детстве. Они тогда жили в сельской школе, где её папа работал директором. Вера несколько раз, всегда с особым волнением рассказывала мне, как это произошло: «Знаешь, такой длинный широкий коридор... Уроки давно закончились. Я стала во что-то играть с куклой и бегать с ней туда-сюда, словно наперегонки сама с собой. Как что-то вдруг ослепило меня! Я решила, что увидела солнышко в окне... И вдруг от испуга уронила куклу...

Это яркий шарик, похожий на большой апельсин, попискивая как наш первый советский спутник, аккуратно облетел меня с таким видом, словно что-то сосредоточенно рассматривал во мне. Я как вмёрзла в пол от страха. Молния словно улыбнулась и медленно вышла из школы прямо сквозь её обмазанную глиной стену. Тут вышел из кабинета мой папа, Константин Яковлевич. Как всегда, на ходу протирая очки. Он очень испугался, увидев в тёмном пустом коридоре свою бледную, беззвучно плачущую дочку. Я тогда заговорила не сразу... Как дар речи до утра потеряла. Но и позже я так и не смогла сразу объяснить, что приключилось со мной. Сколько папка потом ни объяснял мне про шаровую молнию, которая всего-навсего есть закрученный поток электронов и протонов, я до сих пор верю, что она была живая. И она хотела мне что-то важное рассказать. А я, дурёха, своими слезами спугнула её...»

В том, что теперь мы оба с Верой видели рядом молнию, пусть и в разное время, было что-то по-особенному нас объединяющее и таинственно знаковое. Ведь молнии, как известно, зажигают космические лучи, пришедшие из глубин Вселенной...

Пары элементарных частиц в прямом смысле ведут себя как одно целое. Каким-то образом каждая из них всегда знает, что делает другая. Они способны мгновенно сообщаться друг с другом независимо от расстояния. Не имеет значения, 10 миллиметров между ними или 10 миллиардов световых лет.

Когда я уходил, в вестибюле навстречу мне со стаканом уныло-бледного чая со сморщенным «утопленником» вышла из-под лестницы здешняя дежурная. Я толком не знаю их обязанностей, но в основном они, кажется, отслеживают, чтобы на посетителях были накидки и бахилы. Правда, иногда их по загадочной причине охватывает «работун», и тогда они вдохновенно приступают к тотальной проверке сумок посетителей на предмет поиска неразрешённых продуктов. При этом «шмонают» безобидные апельсины, виноград, сыр, колбасу и так далее с таким пристрастием, каким наделены далеко не все сотрудники службы исполнения наказаний, принимающие «передачи» для заключённых.

Увидев меня, эта женщина вдруг споткнулась на самом что ни на есть ровном месте и упала. Я едва успел её подхватить. Стакан и чай спасти не удалось. Они прекратили своё земное существование на здешнем кафельном полу. Неужели это так сногшибательно сказалась моя дружба с молнией? А что будет дальше?..

– Ви-тя-а-а!.. – густо простонала дежурная на грани безудержного плача.

В этой полной седой женщине с нежными чёрными усиками я напряжённо узнавал Лену, свою первую школьную любовь. Вернее, вообще первую. Мне стало немного стыдно, что во мне от прежних охов и ахов ничего не осталось, как ни пытался я найти в себе давние сполохи моих более чем романтических чувств.

Минут десять у нас ушло на торопливые, сбивчивые воспоминания. Оказывается, в этом году исполнилось ровно сорок пять лет, как мы окончили школу.

Если вы знаете, как быстро движется квантовая частица, вы не можете знать, где она находится. И наоборот: если вы знаете, где она находится, вы не можете знать, с какой скоростью она движется.

– Я все эти годы искала твою фамилию среди космонавтов, и советских, и российских. Даже американских! – с восторженным умилением хриплова-

то воскликнула Лена, чем печально напомнила мне о моих юношеских мечтах о полётах в Космос. – Но ни разу тебя так и не нашла... Коленька, мой покойный муж, говорил, что тебе, наверное, приходилось выполнять исключительно секретные задания. Он так успокаивал меня или это правда?..

– Правда... – почти уверенно сказал, мысленно попросив извинение у Коленьки, моего давнего соседа по парте, с которым мы так вдохновенно разрисовывали её чернильными ракетами, луноходами и инопланетянами.

– Я так счастлива за тебя! – мощно просияло большое лицо Лены. – Мы все знали, что ты необыкновенный человек! Прости, что я тогда изменила тебе с Коленькой... И прямо накануне свадьбы!

– Мы собирались пожениться?

– Уже сняли зал в столовой педуниверситета!

Я отвратительно ничего не помнил. И Фрейд с его теорией вымещения тут явно ни при чём. Молния – тоже.

Мне стало стыдно. Как мальчишке.

– Бывает... – ляпнул я.

– А у тебя кто тут?

– Жена.

– Пока я дежурю, я тебе во всём помогу. Обращайся с любым вопросом! – деловито проговорила Лена. – Жду тебя завтра. Я тебе оладушек своих фирменных напеку. Румяненьких! С изюмом! Помнишь, как ты их любил?!

– Спасибо... – смутился я, потому что насчёт кулинарных способностей Лены в моей памяти почему-то тоже не осталось никак следов.

– И жену ими угостишь! – восторженно вскрикнула она.

– Обязательно... Конечно, конечно... – покивал я, медленно отступая.

Если мы имеем две одновременно возникшие частицы, то это означает, что они взаимосвязаны. Отправим их в разные концы Вселенной. Затем изменим состояние одной из частиц. С другой мгновенно произойдёт то же самое. На другом краю мироздания...

На улице возле здешней часовенки стояли Катя и Дмитрий. Рядом с ними, сугулясь, примостилось их Горю, пряча лицо в капюшоне, наподобие куколки монаха высшей схимы – шлема спасительного упования и беззлбия.

– Как Вера, старик?.. – тихо проговорил Дмитрий, взяв меня за руку выше локтя. – Мы, понимаешь, собрались её проведать. Спаси Господи...

– Спасибо, ребята... Она ещё толком не отошла от наркоза... – шумно, едва ли не до головокружения вздохнул я. – А как вы узнали, что Вера здесь?..

– Наша Аннушка рассказала... – странно покивала Катя, как человек, который не совсем в ладу со своим телом.

– Понятно... – машинально отозвался я.

Имя «Аннушка» показалось мне почему-то знакомым, но что было с ним конкретно связано, в памяти никак не всплывало.

– Она обещала провести нас к Вере. Но что-то опаздывает... – Дмитрий хотел оглядеться по сторонам и неловко пошатнулся.

Он заметно сдал за эти дни. Я старался не смотреть ему в глаза, словно окружённые траурными чёрно-зелёными кругами.

– Эта ваша Аннушка работает в онкологии?.. – тупо пробормотал я.

– Не знаю... Но мне кажется, она здесь все входы и выходы знает... – строго вздохнул Дмитрий. – А познакомились мы с ней на днях возле Всецарицынского храма. Когда пришли сорокоуст по Лёне заказать. Вернее,

познакомились – это не совсем точно будет сказано. Мне показалось, что она сама к нам подошла и заговорила. Но утверждать не берусь. В нашем с Катей состоянии мы словно живём в каком-то странном квантовом мире. И там совсем другие понятия объективности, времени, расстояний... Только знаешь, чем наш необязательный случайный разговор закончился? Аннушка попросилась жить с нами. Запросто так. Без обиняков. Точно это некое обычное, будничное дело. Помогать обещала по хозяйству. Вроде сирота она, жила на квартире, а теперь хозяйка надумала ту продавать. И моя Катя сразу согласилась! Разрыдалась... Еле уняли мы её с Аннушкой...

– Вы у неё хоть документы какие-то догадались посмотреть? – очень умно спросил я.

– Ты что, не знаешь нас?

– Знаю...

– То-то и оно... – подкашлянул Дмитрий. – Да вон она бежит... Вернее, плывёт. Походка у неё какая-то странная. Не врублюсь. Точно девка над землёй скользит. Сейчас я вас познакомлю. Только, Вить, ты, пожалуйста, не лезь к Аннушке ни с какими полицейскими вопросами. Мне кажется, она такая ранимая. Слово вместо тела у неё какая-то зыбкая инстанция. Точно электронное облако вокруг ядра.

Я Аннушку ещё издали узнал. Это была та самая загадочная худышка в словно бы космическом серебристом комбинезоне, которой мы с Верой любовались в коридоре возле кабинета ВЛК. Но самая главная и узнаваемая деталь – её до глянца обритая, аккуратная головка, над которой даже сейчас, днём, что-то вроде нимба нежно мерцало.

Когда электроны, вращаясь вокруг ядра, перемещаются с орбиты на орбиту, они покрывают расстояние мгновенно. То есть исчезают в одном месте и появляются в другом. Этот феномен назвали квантовым скачком.

Аннушка строго посмотрела на меня. Кажется, узнала.

– Здравствуйте... – сказала она мне с каким-то неожиданно красивым, густым тембром, который никак не совмещался с её бестелесностью.

Я сдержанно кивнул.

Подбородок остренький, тот самый. Как и ярко-чёрные глазища, словно видящие одновременно всё и везде, даже за спиной. А бледнющая такая, что, кажется, сквозь неё глядеть можно. Правда, как через туман. Но при всё при том ещё самый настоящий ребёнок! Девчущечка. По всему видно, что топни на неё ногой, так и расплается, разрыдается. Или в обморок, не дай Бог, упадёт.

– Вы бы Веру сейчас не беспокоили... – вздохнул я.

– А мы как невидимки проскользнём... – маленькими своими губками улыбнулась Аннушка и странно добавила: – Веру Константиновну можно посещать. С ней всё хорошо. Не волнуйтесь.

Как поведут себя объекты квантовой физики, мы никогда не можем с абсолютной уверенностью сказать наперёд. У них бесконечное количество вариантов превращения.

Мне почему-то от таких её в общем-то достаточно обычных слов как-то не по себе стало. Я поспешил проститься. Тем более что к нам приближалась моя одноклассница Лена, у которой, наверное, истекли её рабочие часы. Мне было не до школярной ностальгии.

Частица не находится в определённой точке и не отсутствует там. Она не перемещается и не покоится. Изменяется только вероятная схема, то есть тенденция частицы находиться в определённых точках.

Дома я не стал ничего готовить и погасил голод холостяцким хот-догом: батон, по возможности свежий, разрезается на две части и между ними выкладываются ломтики колбасы. Из личного опыта не рекомендую никому в это время предаваться мыслям о том, содержит она или нет хотя бы следы мяса или это изысканное произведение новейших пищевых технологий. Женатый почти полвека мужчина, впервые оставшись дома один, очень скоро узнаёт сам о себе много нового и порой шокирующего. Самым главным моим открытием стало то, что без Веры я не хочу смотреть телевизор, книга вываливается у меня из рук, у меня не получается умыться, побриться и так далее. Меня нигде не было в квартире. Меня нигде не было в этой Вселенной. Может быть, потому, что её тоже не было? А почему тогда за окном звёзды? Да разве это они! Россыпи городских огней гораздо более похожи на рукава Галактики...

Я почти неподвижно пролежал на диване до утра. Сны были, но урывками. Как всегда, обычная галиматья, словно во сне мы лишаемся интеллекта: то я вульгарно пьянствую с Вериными профессорами, то ищу свой раритетный автомобиль, забыв, на какой стоянке я его оставил, или раздаю деньги налево-направо кому достанется. У снов плохой режиссёр, а сценарист и вовсе никудашный. Обычно я только задрёмываю, а сон уже тут как тут. Скользит перед глазами... Сон всегда наготове. Но мне-то он зачем? Я на него билет не покупал! Иногда я начинаю видеть сон ещё на подходе к кровати. Я как-то видел сон даже на ходу. Слава Богу, сны почти тотчас после пробуждения забываются.

Назавтра утром в вестибюле онкологического стационара первое, что немедленно обратило на себя моё внимание, так это маслянистый коричневый запах оладушек, исходивший из каморки дежурного.

Лена восторженно смотрела на меня из неё каждой клеточкой своего большого лица.

– Всю ночь пекла! – песенно воскликнула она. – Такие румяные! Такие бодрые!

– Не сейчас! – крикнул я, торопливо переодеваясь.

– Тебе сахаром оладушки посыпать?! Или с мёдом будешь?! – крикнула она уже вслед мне. – Чай с лимоном?

Я отныне ненавижу оладушки и чай с лимоном. Как символ насилия над человеческой личностью.

В реанимационной палате Веры уже не было. Она без моей жены тосливо опустела.

Я нашёл Веру на другом конце коридора в настешь распаханной палате на восемь человек. Все её соседки показались мне каким-то одним большим многоногим и многоруким существом, болезненно ждавшим неизвестно чего. Одной из его частей, возможно, головой, была уже знакомая мне вездесущая и бессмертная восьмидесятидевятiletняя Прасковья Ивановна из казачьего села Бабка.

Я едва увернулся от бежавшей мне навстречу улыбчивой и озорной медсестры с капельницей. Все нормальные проявления человеческих чувств в этом месте казались мне болезненным извращением. Я с неприязнью обернулся на сиявшую свежей, задорной жизнью медсестру: она резво выскочила из палаты и уже там, в коридоре, по-детски расхохоталась.

Информация на субатомическом уровне передаётся между частицами быстрее скорости света вне зависимости от расстояния между ними.

– Что ты хмуришься, Витенька?.. Всё хорошо... – слабо проговорила Вера, полулёжа на слое из трёх замордованных больничных подушек. – Ошиблись все наши патологоанатомы, ошиблись. Опухоль у меня оказалась доброкачественная. Но очень хитро прикинувшаяся больной. У них там в наших глубинах, оказывается, каждая клетка – самостоятельная личность со своими взглядами, привычками и даже выкрутасами!

Чтобы сказать мне всё это, Вере пришлось немного нагнуться в сторону от сидевшей ко мне спиной на её кровати какой-то хрупкой тонюсенькой посетительницы. Кажется, она поила Веру водой с ложечки.

Я закашлялся. Она обернулась – это была Аннушка.

– Здравствуй, девочка... – тупо проговорил я, не отрывая глаз от Веры.

– Доброе утро, дядя, – строго отозвалась она.

Почему-то сейчас над её голой блистающей головушкой не было того самого неземного нимба. Или он пригас до невидимости в ярких, физически ощутимых в своей фотонной плотности, раскидистых лучах резвого, молодого, утреннего солнца.

– Как там Дима и Катя?.. – глухо спросил я.

– Спасибо, они держатся с достоинством.

– Можно я передам им с тобой небольшой гостинец?

– Не знаю, что и сказать вам... – виновато нахмурилась Аннушка. – Я постараюсь.

– Витенька, это не девочка, а золотце... – прошептала Вера, судорожно улыбнувшись.

Понятие о локальности любого объекта мироздания, то есть что он существует в каком-то одном месте пространства, – не верно. Всё в этой Вселенной нелокально.

– Стоп, стоп! – чуть ли не ревниво насторожился я. – Речь не идёт о том, чтобы ты немедленно бросилась к ним с моей сумкой отборных марокканских апельсинов! Скажем, вечером отнесёшь. Там килограмма полтора. Не тяжело.

Я был доволен, что проявил заботу об этой хрупкой лысенькой девочке.

Вера приподняла руку.

– Вить, тут такое дело...

Она нежно вздохнула.

– Мы уже всё с Аннушкой обсудили. Тебе сейчас покажутся странными мои слова, но это решённый вопрос. Она будет жить с нами. Может быть, мы даже удочерим её...

Я строго посмотрел на Аннушку. Вернее, почти строго. На самом деле я посмотрел на неё озадаченно.

– А как же Дима, Катя? Аннушка? Ты ушла от них? Тебе у них было плохо?

– Я могу быть сразу во многих местах... – опустила голову Аннушка.

Если вы положите шар в одну из двух коробок, то в одной из них будет пусто, а в другой – шар. Но в микромире (если вместо шара – атом) он может находиться одновременно в двух коробках.

– Это выше моего понимания... – судорожно отозвался я.
– Не надо было вам запускать тот самый Большой адронный коллайдер... – вдруг тихо, внятно сказала Аннушка и заплакала.
– Что ты лезешь ребёнку в душу?.. – прошептала Вера. – Оставь девочку в покое.

Я поднял руки и вышел в коридор. Я не знал, что мне делать дальше. Каким образом уложить по местам в голове всё свалившееся на меня?

Я задал своему смартфону последние новости с ускорителя, зарытого в землю на сотню метров неподалёку от Женевы. В моём представлении он напоминал стремительный двадцатисемикилометровый состав, мчащийся по гигантскому тоннелю в бесконечность.

Ответ высветился мгновенно. Он как брызнул в глаза фосфорическим фейерверком фотонов, склеенных воедино сине-антизелёными глюонами.

Выражая глубокое сожаление в связи с катастрофическим инцидентом, произошедшим на Большом адронном коллайдере, представители Европейской организации ядерных исследований, известные так же, как ЦЕРН, провели пресс-конференцию, чтобы извиниться за уничтожение пяти параллельных Вселенных в недавнем эксперименте.

«Нам жаль сообщать, что при проведении исследований с участием тяжёлых протонов мы непреднамеренно привели к разрушению пяти Вселенных, почти идентичных нашей», – повинилась генеральный директор ЦЕРН Фабиола Джианотти.

...Где-то через год мы вместе с повзрослевшей Аннушкой отправились на Смоленщину: на меня накатило желание припасть, так сказать, к истокам. А Вера душевно настроилась в тамошних древних храмах заказать для нас всех за здравие «Неусыпаемую псалтырь» и Сорокоуст.

Былого Мужичкого я не узнал: несколько ещё живых изб да нынешнего народа человек пятнадцать, не более. Никто не помнил ни фельдшера Терехова, ни его Тамарку, Мелентьевича, Захара, Женьку или Ваську... Только Сапог, единственный здешний долгожитель, спас меня от приступа амнезии.

Самое долгоживущее ядро с экспериментально измеренным временем жизни – это изотоп теллура-128. Оно на четырнадцать порядков превышает возраст Вселенной.

Сапог дружелюбно улыбнулся нам, хотя это лишь условно можно было различить на его лице между лабиринтами морщин. Улыбка как бы затерялась среди них и застряла.

– А я тебя запомнил, малый... – ласково проговорил он.

– Какая у вас хорошая память на лица! – усмехнулся я.

– Да не то ты говоришь... – вздохнул Сапог. – Я запомнил, как ты туфельки свои стаптываешь. У каждого человека это на свой манер. Давай я их тебе оба сейчас враз поменяю? Можно со скрипом наладить или весёлые, с магнием, чтобы тебе искрами в темноте с форсом пыхать! А то и вовсе сгондоблю каблуки с колокольчиками!

– Так сейчас не принято... – вздохнул я.

– Нет нынче в обуви никакой музыкальности! – поморщился Сапог.

Сразу по возвращении из Смоленской экспедиции Вера настроилась вновь ехать в Костомаровский монастырь. Только чтобы с Катей и Димой. И обязательно обеих Аннушек взять с собой...

– Простите, нам с ней нельзя быть вместе... – побледнела наша Аннушка. И настолько, что у неё как бы все черты лица пропали.

– Почему, миленькая?.. – просела голосом Вера.

– Я не знаю...

Величайшей загадкой квантовой физики остаётся странность поведения фотона: с одной стороны, он всегда оставляет на фотопластинке точку, что несовместимо с его волновой природой; с другой стороны, он одновременно проходит через обе щели перед пластинкой, что несовместимо с его корпускулярной природой...

Утром нам позвонил проректор Большов...

Оказывается, на самом верху случилась перемена министров, и решение о слиянии «педа» и «политеха» отменено, как и некоторых других российских вузов, уже, было, приготовленных на заклятие. Все приказы того времени потеряли свою силу, как и тот, который освободил Веру Константинову от должности декана гуманитарного факультета.

Обо всём этом Аркадий сообщил нам нормальным человеческим голосом. Без молодёжного карьеристского пафоса, с помощью которого он, как в квесте, перерождался в настоящего масштабного чиновника. Видимо, произошедшие события стали для него хорошей школой. Или наши Аннушки всему причиной? И сине-антизелёные глюоны, которым наконец удалось завершить создание нашего мира, некогда начатого Большим взрывом?..

Один из совсем недавних экспериментов показал, что квантовые частицы могут находиться одновременно в трёх тысячах мест и более.

Я сердечно поблагодарил молодого перспективного Аркадия. Верочка тоже сказала юному проректору пару ласковых фраз, нагнувшись к трубке нашего раритетного телефона. По которому, вполне возможно, в своё время разговаривал сам Иосиф Виссарионович Сталин.



**Павел
ВЕЛИКЖАНИН**

ИЗНАЧАЛЬНОЕ ЕДИНСТВЕННОЕ СЛОВО...

ДЕТИ ДЕВЯНОСТЫХ

Ледяные батареи девяностых.
За водой пройдя полгорода с бидоном,
Сколько вытащишь из памяти заноз ты,
Овдовевшая усталая мадонна?

Треск речей, переходящий в автоматный,
Где-то там, в Москве, а тут – свои заботы:
Тормозуху зажевав листком зарплатным,
Коченели неподвижные заводы.

Наливались кровью свежие границы –
Ну зачем же их проводят красным цветом?
А подростские участники «Зарницы»
Косяки крутили из бумажных вето.

Только детям всё равно, когда рождаться:
Этот мир для них творится, будто снова.
Сколько раз тебе и петься, и рыдаться,
Изначальное единственное Слово?

Мы играли на заброшенном «Чермете»,
В богадельне ржавых башенных атлантов,
И не знали, что судьба кого-то метит
Обжигающими клеймами талантов.

Мы росли, а небо падало, аля.
Подставляй, ровесник, сбитые ладони!
Вряд ли ноша эта будет тяжелее,
Чем вода в замёрзшем мамином бидоне.

-
- Павел Александрович Великжанин родился в 1985 году на Кузбассе. Жил в Сибири, Зауралье и Волгограде. В настоящее время живёт и работает в городе Волжском. Лауреат и дипломант Южно-Уральской литературной премии (2015) международного конкурса имени Куприна (2016), премии «Справедливой России» и «Роман-газеты» (2017), конкурса «Неизбывный вертоград» (2018) и др. Печатался в литературных журналах «Наш современник», «Москва», «День и ночь», «Роман-газета», «Крым», «Отчий край», «Союз писателей», «Симбирскъ», «Наша молодёжь» и др.

СИБИРСКОЕ ДЕТСТВО

Меня не ссылали в Сибирь –
В Сибири родился и рос:
Штакетника серый горбыль,
Пакеты на кустиках роз,

Оковы тяжёлых одежд,
Мороз, что трещит у виска,
Забытый кругляш-Будапешт,
Отрытый на дне сундука,

И Вечный огонь раз в году,
Райгазом включаемый в счёт...
Куда же от вас я уйду,
Что б ни было в жизни ещё?

ОТ ПЕЧИ НАЧИНАЛАСЬ ДЕРЖАВА РОССИЙСКАЯ

От печи начиналась держава Российская,
От печи, да не лёжа на этой печи:
Что якутский мороз, что нам стужа мансийская –
Рубим избы, печные кладём кирпичи.

Заметают снега поселения русские,
Из сугробов упрямые трубы торчат.
На восток и на север дорожками узкими
Серебрится просторов холодных парча.

Так с природой суровой страна моя спорила:
Месит глину печник – значит, дому почин!
Видно, русской земли протекает история
Через устье широкое русской печи.

НАДВОЕ

Надсадный год. По мешкам торговля.
– Хоть что – за хлеб!
– Твоего – не надо.
Один мой прадед убил другого,
Зерно ссылая для продотряда.

Один мой дед посадил другого,
Чтоб после драться в одном окопе.
А в наших спорах – чей лучше сговор,
Зачем поломано столько копий?

Всё было: сталь, и огонь, и холод.
А сколько втоптаных в грязь листочков?
Но если надвое ствол расколот –
Срастись, и точка! Срастись, и точка!

ПРОБУЖДЕНИЕ БОГАТЫРЕЙ

Преданье существует с давних пор,
Что живы и сейчас богатыри:
Увёл дружину батька Святогор
Под землю и дорогу затворил.

Укрыла их собою мать-земля,
Плеснула им по чаркам сонный мёд,
Проснуться лишь тогда сынам веля,
Когда последний час Руси придёт.

Когда со всех сторон да изнутри
Попрёт вражина, души полоня,
Когда во тьме, куда ни посмотри,
Не увидеть ни капельки огня,

Когда придавит небо и вобьёт
По ноздри в землю, грязью рот забив,
Тогда-то понимание придёт,
Зачем же ты под этим небом жив.

И затрубит тебе лишь слышный рог,
Рассеяв хмарь, что головы дурит,
И выйдут самой тайной из дорог
Проснувшиеся вмиг богатыри.

Илья, Всеслав, Алёша, Святогор,
Добрыня и Микула – весь отряд.
У них с врагом короткий разговор,
Когда они клинками говорят.

...Летят над Русью сполохи зари,
Разрублено змеиное кольцо.
Стирают кровь и пот богатыри.
У одного из них – твоё лицо.

КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА

Он, играя со мной, по-отцовски был прост:
То подбрасывал в небо летуньей,
То на плечи к себе поднимал – выше звёзд
Золотисто сиявшей латуни.

А когда он в тоске гарнизонных суббот
Жадно пил поцелуи бутылок,
Я сидела с ним рядом всю ночь напролёт,
Молча глядя колючий затылок.

А потом в неприглядных портретах зеркал
Незаметно он сравнивал лица,
Будто в разнице облик любимой искал,
Для которой я стала убийцей.

НОТА «ПОСЛЕ»

Молчим с тобой, не раздувая
Покрытый пеплом жар сердечный.
Мы жили сумасбродством мая,
А сумасшествие не вечно.

На всё, что мы писали мелом,
Дожди стряхнули цвет акаций.
Мы повстречались неумело,
Теперь не знаем, как расстаться.

Ответ услышу ли, вопрос ли,
Но время всё уже решило.
Ни ноту «до», ни ноту «после»
В любви нельзя играть фальшиво.

КРАСНОЕ ВИНО ОСЕНИ

Ну, хоть капельку красного брызни:
Летней жаждой иссушены донья.
Обрываются линии жизни
На трёхпалых кленовых ладонях.

Хмурый доктор капелью морфина
Погружает всё в спячку до марта,
И курсор журавлиного клина
Тщетно ищет иконку рестарта.

В произвольной ледовой программе
Поцелуются автомобили.
Разлучённые рыбки гурами
Об аквариум сердце разбили.

Светофор подмигнул средним глазом,
И я понял: кромешная вьюга,
Загребая в охапку всё разом,
Нам согреться велит друг от друга.



**Анатолий
КРИЩЕНКО**

ОДА СОЗДАТЕЛЮ

В просторном светлом кабинете сотворялись последние строки оды. Сорокалетний поэт резко встал, подошёл к иконе, крестясь, произнёс:

– Всё. Точка! Прости, Господи, за дерзость. Волнуюсь... как перед атакой. Боже, что я несу, грешный? Какая атака? – Глядя на исписанные листы, проговорил: – Это же... это же преклонение, скорее, попытка проникновения. По-пыт-ка... Дерзкая! Не зря же твердят исстари мудрецы: иная попытка – словно пытка. И в каждом слове есть таинство неба. Не случайно я слышу эфирный гул своих замыслов. Да не своих, а Его. Слово-то по-библейски есть Бог, а потом всё остальное. Прости, Создатель, прости... дерзнул я... Может, примешь сей труд раба Твоего грешного...

Просматривая листы, молча стал читать, расхаживая по кабинету. Тихо выдохнул:

– Да-а-а... дерзости здесь больше, чем надобно бы. Но невозможно объять необъятное. Всё. Моя попытка – самопытка. Далее не надо. Опасно!

Разнотональная модуляция его голоса застыла в высокой тиши. В глазах поэта полыхнул живой огонёк страданий и сомнений, присущих избранным земным творцам. Задумчиво проговорил:

– Слово... оно есть порох мысли. Порох. Но как с ним играют дерзновенно грешники вроде меня. А порох – он и есть порох. Но что-то всегда происходит при взрыве озарений... Что-то...

Погружённый в раздумья, подошёл к столу. Перебирая перья, вслух рассуждал:

– Ведь чу-де-са случаются при любой опасной игре. Случаются! А я – игрок! Сколько перьев переломал до этого на разные оды-броды... А эти гусиные перья ни разу не сломались. Чудеса...

Перекрестившись, медленно подошёл к иконе.

В этот миг на пороге бесшумно появился слуга Захар, застыл на месте.

-
- Анатолий Яковлевич Крищенко родился в 1939 году в городе Прохладный Кабардино-Балкарской АССР. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Прозаик, драматург, поэт. Публиковался в журналах «Подъём», «Волга–XXI век», региональной печати и краевых литературных изданиях. Автор нескольких книг прозы и поэзии. Лауреат всероссийского литературного конкурса «Справедливый мир». Живёт в станице Марьинской Кировского района Ставропольского края.

Поэт меняющимся голосом, переходящим от проникновенного шёпота до почти громкого восклицания, читал первый стих оды «Бог»:

*О Ты, пространством бесконечный,
Живый в движеньи вещества,
Теченьем времени предвечный,
Без лиц, в Трёх Лицах Божества!
Дух всюду Суций и Единый,
Кому нет места и причины,
Кого никто постичь не мог,
Кто всё Собою наполняет,
Объемлет, зиждет, сохраняет,
Кого мы нарицаем – Бог!*

Повернувшись, наткнулся взглядом на Захара. Служивый робко спросил: – Простите, ваша милость, вы что, молитву проговаривали?.. – Осёкшись под гневным взглядом и опустив голову, продолжил: – Простите, я, кажись, что-то лишнее сказал.. Подумал, что молитву...

В глубокой задумчивости Гавриил Романович Державин чуть отрешённо проговорил:

– Почти, Захарушка. Почти... Но молитвы-то пишут всегда святы. И очень, очень такие люди – набожные. А я, грешник, вот рискнул на оду. Самому Богу!

Захар бестолково заморгал глазами, перекрестившись и откашлявшись, растирая почему-то глаза, робко переспросил:

– И не страшно ли вам, ваша милость, было?..

Поэт, опустив голову, тихо, как на покаянии, ответил:

– Страшно, Захарушка. Ох, как страшно! А ничего с собою поделать не сумел. Слова-то сами рождали стих. Конечно, это Дух Святой диктовал. Это Он... Так что там у тебя, Захарушка?

– Оно, такое дело... Приплёлся тот...

– Лихоимец? Чинуша... озёрный?

– Он самый.

Державин вскрикнул:

– Вот жизнь! Кубок с ядом! Там, где мыслишь о Боге, обязательно бес появится.

– Оно так, – отвечал задумчиво Захар. – Я дюже вижу и разумею... вы правы в этом. Я, простите, раньше думал, что пост правителя – дюже почётная работа.

– А в сей момент что? Поменял, что ли, свой взгляд на мой почёт?

– Не дай Бог такой почёт! – Перекрестился. – Правитель... он-то должен быть юрким. А вы...

– Договаривай. Коль размахнулся, то бей!

Захар часто заморгал глазами. На его круглом лице резче обозначились следы прошлой оспы. Покусывая губы, продолжил:

– А вы... вы совсем, ну, не юркий.

– А какой же?

– Ну, сердитый. А сердитые юркими не бывают.

Усмехаясь, поэт всматривался в окно, задумчиво, нараспев возразил:

– Бывают, За-ха-арушка, бывают. Вот смотри: в комнату влетела, видишь, юркая муха. Хотела поживиться, ан нет. В моём кабинете книги. В них мысли

великих. А юркие мухи, как и юркие казнокрады... Они наживу ищут. Ишь ты: ей нужен свет. Разжужжалась, бестия.

Захар, подбежав, попытался прихлопнуть муху, но та, изловчившись, вылетела в приоткрытую дверь.

Засмеявшись, Державин воскликнул:

– Не случилось, Захарушка! Не получилось. Разумеешь?

Качнув отрицательно и упрямо головой, Захар твёрдым голосом, допуская несогласие в своих суждениях, бодро и громко отчеканил:

– Не разумею. Мухи и есть мухи. Они, подлюки, хуже сорок да ворон.

– Похлеще, похлеще... Ну, что стоишь? Зови этого... чинушу-ворона. Мы его постараемся, как муху, что ты не сумел... погоди чуть. Соберусь...

«Прихлопнуть, прихлопнуть», – уйдя в себя повторил «совсем не юркий наместник». Механически, в какой-то растерянности приблизился к иконе. В своих яростных мыслях хозяин кабинета в данный момент преобразился, как в мгновение озарений. Но здесь мысли не укрепились зовущими, манящими рифмами строк. Они, словно свет солнца сквозь молчаливые тучи, преобразовывали его решимостью, заполняя и тело, и душу. Поэт как-то по-иному смотрел и смотрел в священный лик. А в сознание, туда, в свой дух вечности, входили тяжёлые тучи мыслей. И там уже сверкали молнии. Становилось азартно, как перед атакой.

Подумалось, что сам-то человек носит в душе своей всегда какие-то атаки... И это воинственное чувство несёт в себе смелость самоочищения, гасит боль сомнений.

После такого открытия мысли приобрели прежнюю реальность. Тревожные рассуждения серой тенью легли на лицо. Но огонёк от иконы продолжал где-то изнутри излучать свет. И этот свет почему-то был каким-то иным... даже не мягко-блаженным, а горько-осязаемым. Живым.

Поэт осознал, что сам свет, как и дух человека, имеет что-то таинственно-небесное, неземное...

За спиной раздался грубовато-вежливый бас Захара:

– Так впускать этого... Блохина? Он дюже того... важный. Но все блохи завсегда керосину боятся. Даже о двух ногах.

Чтобы не рассмеяться, Державин, прикусив губу, улыбнулся. Свет, что находился внутри, погас. Решительный блеск засиял в глазах. Почувствовав забытое, подумал: «Как в Преображенском полку... Но там было ясно. Ведь пугачёвцы хоть и разбойники, но в облике людей. А все блохины в облике бесов. Попытаюсь освободить олонецкого бесика от пагубной страсти с помощью керосина... Да разве всех освободишь? Керосина не хватит. Их-то разведешь по всем губерниям поболее, чем пугачёвцев. Будем их жечь, а то они сожгут нас».

С нахмуренным лицом и лихорадочным, недобрим блеском в глазах ключом открыл ящик стола. Вынул папку, с презрением прочитал: «Блохин – бригадир охраны лесов и озёр Олонецкого наместничества». – Невольно вырвалось: – Бес, а не чиновник! И вот такие факты делишек бесовских приходится держать дома. А в служебном кабинете моём, бывало, что такие папки исчезали...

Держа папку и как бы взвешивая её, раздумчиво прочёл:

– Чиновник... М-да. Душа чиновника – потёмки. Да я в своей не разберусь. Но воровством не баловался. – Обратившись к скульптурке Екатерины II, тихо произнёс: – И вот что доложу тебе, матушка: почти в каждом таком скакуне-чинуше сидит ворюшка при седле. Вот в чём вопрос. Думалось об этом наемни мне. Конституцию, горемычный, написал. Силушки на неё много истратил. Но её не приняли чинуши. Потому как там силки для воров

поставлены. А ежели все воруют, то кому охота в силки закона попадать. Волки и то силки обходят. Обходят. Но мы иначе поступим с этим чинушей. Зови, Захар. Зови!

Едва правитель произнёс последние слова, как в дверях появился рослый, богато одетый человек лет тридцати.

Стоя спиной к двери, Державин выражал презрение к вошедшему.

Чиновник, кашлянув, произнёс:

– Простите... Я – Блохин. Ваш адъютант направил вот к вам... Пришёл насчёт работ по очистке озёр.

– Ну, как работа? Как она движется?

Опустив голову, чиновник тихо ответил:

– Она... ваша честь, приостановилась.

– Угу, лошадь приостанавливается, когда её не кормят. А люди тоже приостанавливаются, когда им за работу не платят.

– Так нечем платить, ваша честь.

– Понятно, – угрюмо откликнулся Державин. Подняв папку, прочитал: – «Дело старшего чиновника... Блохина Емельяна Ивановича»... – Помолчав, проговорил: – Мы – царёвы слуги. Тому Емеле Пугачу голову отсекли. А тебя, служивый дворянушка, каторга ждёт. Так-то, Емеля. А пришёл ты сюда, чтобы спасти себя от каторги. И дело твоё теперь зависит только от тебя. Земля Олонецкая стоит на былинном озёрном родном эпосе. И ни в одной былине, будет тебе известно, воровство не прославляется, соловьи-разбойники, как и воры, лишаются головы. А людины вроде тебя милуются каторгой.

Чиновник, падая на колени, прошептал:

– Любые условия... любые условия, только не каторга.

Державин подошёл к чиновнику, взял за шиворот и поднял его.

– А понимаете ли вы, ваше «проходимость», что ежели я вас не упеку на каторгу, то заинтересуются мной. М-да, ситуация похуже, чем в картёжной игре. Тут не профинтишь. – Гневно продолжил: – Тебе были даденны большие деньги из царской казны! Из царской! Чтобы ты очистил озёра. И дорогу прорубил к ним. А ты очистил казну. И прорубил себе дорогу на каторгу, в прорубь, в польню! Не зря ж говорят, что Россиюшку-матушку исстари тянут на дно дураки да дороги, да вот такие блохины. С дураками и дорогами царская власть справляется, а вот с блохиными – не получается. Не получается... Я вот что решил. До конца осени осталось 2–3 месяца. За полгода ты деньги все потратил, вернее – украл. А работы сделал с гулькин хрен. Тебя спасёт только атака. Слушай: то, что ты не сделал за полгода, сделаешь за два месяца.

– Так невозможно то! – выпучив глаза ответил чиновник.

– Тогда каторга, – произнёс Державин. – В этой папке, Емеля, все подчёты имеются... и доказательства, сколько сосен спилено и куда они девались. И сколько вёрст дороги освоено. Кажись, три. Так?

– Так, ваша честь, – понуро ответил чиновник.

– Слушай и запоминай, Емеля: чтобы спасти себя от каторги (да и меня тоже), ты должен за два-три месяца выполнить всё намеченное и оплаченное царской казной. Думаю я... в прикидку, что надобно набрать вчетверо больше людей для прорыва. Иначе – плен, заточение... Каторга и кандалы. И сам... сам – я проверю! – будешь там и киркой, и лопатой, и пилой отвоёвывать себе свободу работой, потом, трудом! Может, этот труд прилизит тебя к человеку. Родину надобно любить, а не губить её воровством. А кража – всегда болото, гибель, грех. Искупай свой грех атакой, прорывом!

Чиновник, кашляя, произнёс:

– Так на сей прорыв, ваша милость, капиталы надо такие... очень большие. Даже больше, чем были.

– А ты свои истраты! – гневно бросил Державин. – Казённые-то профукал в иной работе, бесовской. Имение заложил. Да, да, заложил. – С усмешкой добавил: – А ежели тяжко будет кровное закладывать, то посчитай, что тебя тоже обворовали, как ты царскую казну в прошлом. А каторга, Емеля, в настоящем тебя уже поджидает. Согласен? Почто молчишь, ваше лихоимство?

– Угу, – промычал чиновник.

– Топай и спасай себя, не теряй ни минуты. – Стоя вплотную перед дверью и преграждая дорогу, грозящим шёпотом добавил: – Напоминаю второй разок, чтобы сам там вкалывал с людьми. Для тебя это будет вроде каторги без цепей на ногах. Но лучше каторга о двух-трёх месяцах, чем пожизненно. Твой выбор, твоя игра. Только краплёнными не играй. Проверю. Идите!

Осознав, что буря гнева почти пронеслась, чиновник покосился на папку и выдохнул:

– Спасибочки, ваша честь... – Попытался выйти.

– Погоди! Напоследок вот что. – Отойдя к столу, Державин продолжил: – Рубить просеки в лесу, Емеля, труднее, чем подделывать документы для недотёп. В Россиюшке много недотёп. Но государево око повсюду зрит. А топор иногда звенит. По тому звону, как по нотам, слышна фальшь напева.

Разумеется, Емеля-казнокрад ничего и про звон топора, и ноты не понял. Но быть дурнем при таком раскладе ему совсем не хотелось. Он-то хорошо знал, что с дурака иногда спроса не бывает. Но кожей своей чувствовал боль такого дурака, когда его секут розгами. И часто не по делу. Знал о том, что в любом скверном деле умники всегда ищут дурака для своего спасения.

Но на поиски дурака нужно время... Крутанулась окаянная мыслишка: быстро дурня не найти, а счас – труба дело: где взять дурня? Их много кругом, да всякий русский дурак – он-то для себя никогда не будет таким. Всякие дураки – вроде благие – чаще бывают умнее господ.

Бегло взглянув на наместника, утвердился в своих догадках, потому что невольно его взгляд скользнул по шкафам с книгами и скульптурке Екатерины II.

Ему опять подумалось, что этот приближённый к трону вояка продыху не даст. Имение надобно заложить срочно, а то каторга неизбежна.

Правитель Олонецкого наместничества Державин загадочно улыбнулся, таинственно, почти шёпотом произнёс:

– И не вздумай искать дурака, на кого спихнуть своё преступление. Только время потеряешь да дело своё усугубишь. Уразумел?

– Ага, – почти прошептал чиновник.

– Иди и помни: дурак тебя не спасёт. Сам кашу заварил, сам её и расхлёбывай.

Емеля тихо выскользнул из светлого кабинета правителя. Уже в темноватом коридоре снова подумал, что этого волчару не обложишь флажками, не проведёшь. А вдогонку ему донёсся глуховатый трубный бас Захара:

– Делай как сказано, а то хуже будет.

Уже не злобно, но хитро чиновник взглянул на Захара и, почему-то поклонившись, угодливо откликнулся:

– Ага.

Надломленный Блохин с серым лицом вышел во двор. Яркое светило солнце; на клумбе цвели ещё летние розы. Сама сладость жизни, как чаша с вином, привычно хмелила сознание. И жить на свободе захотелось вдвойне, потому что на краю пропасти частенько и открываются те манящие прелести обыденности жизни, что порой и не замечаешь.

Едва закрылась дверь, Державин, потирая руки, произнёс:

– Посмотрим, как всё обернётся. Поглядим и проверим. Воровство – болезнь веков. Получается, что такая порча вроде скрепы бытия. Нет! Скрепы дьявола. Но почему она бессмертна?

Гнусно стало на душе правителя. Недобрые мысли не уходили... Сколько их, лихоимцев на Руси? Тьма... Они, как комарьё болотное, высасывают Россиюшку. Но ежели комарьё не уничтожать, то Родина превратится в болото. И его осушать будут иные. Но не бывать такому! Гавриил Романович нервно вышагивал по кабинету. Резко остановился у шкафа с книгами, негромко произнёс:

– И вы, мыслители веков, не на все вопросы дали ответ. Не на все...

Взгляд его снова упал на небольшую скульптурку императрицы. Тихо, в раздумчивости обмолвился вопросом:

– А как бы поступила ты, матушка, в пасьянсе сем? В картах мне везло. Там иные законы, там за шулерство дуэль с правом первого выстрела... А здесь кругом чиновники. Иные законы... И кругом – шулера... – С шумом выдохнув, возмущённо выговорил: – Да ведь в миру житейском воруют почти все! Да и воюем мы исстари почему-то... Даже в библейском стихе кровушка рекой льётся. Господи, для чего же нам тогда жизнь даётся? Для самоистребления?

Взял листы оды. Прочёл:

*Ты цепь существ в Себе вмещаешь,
Её содержишь и живишь;
Конец с началом сопрягаешь
И смертью живот даришь.*

Раздумчиво повторил:

– ...И смертью живот даришь. М-да, хотел я в оде сей спросить и о смертельном... да поостерёлся. Испугался. – Осенив себя крестом, продолжил: – Потому как в ином вопросе Создателю бывает поболее ереси да греха, чем в воровстве... А когда выходишь за горизонты Его, то и попадаешь в гнев Его... Кажется, кажется ко мне пришёл ответ знакомый. Библейский. – Взял Книгу книг, как будто взвешивая её, и уже в иной интонации, глядя в окно, промолвил: – В Библии поясняется, что за Адамов грешок и не любим мы себя, и истребляем.

Положив на стол Библию, молча погрузился в раздумья.

Прожаживаясь и снова обращаясь к скульптурке Екатерины II, уже иным тоном проговорил:

– И всё же и ей, матушке Екатерине, жизнь тоже подносила не единожды кубки смертельные. Не единожды... Но ангел-хранитель её сберёт для России. И была она иногда радостной. Да не в грехе любви, а в политике своей. И я видел её счастливой. Светоносной такой. Видел! Сам-то чуток зажёгся тем светом. А жизнь – как тройка лошадей: чтобы тебя не разнесли, надобно в вожжах её держать. Счастьем же надо повелевать. Повелевать... А с кровососами, что доводят народ до нищеты, необходимо воевать. Не то появятся новые «маркизы» – Пугачёвы.

Захар, тихо вошедший в кабинет, с удивлением спросил:

– А разве Пугач был маркизом?

Державин громко захохотал. Так смеяться могут только открытые, смелые люди. Стирая платком слёзы, проговорил:

– Да разбойники, Захар, на Руси всегда назначали себя спасителями да справедливыми царями. А «маркизом» я Пугача в шутку прозвал, когда с ним сражался.

– А правда, что за вашу голову разбойник обещал десять тысяч монетой серебра?

Державин, преобразившись, воскликнул:

– Ишь ты, и об этой okazji Пугача дошла молва!

– Так то правда? – не унимался Захар.

– Правда, Захар. Правда. Но, как видишь, моя головушка при мне на плечах. Но, доложу тебе, служивый, я-то был беспощадным с пугачёвцами. Хотя втайне понимал чуток разбойника. Но это втайне... Потому что Пугачи – они и есть вроде духа обиженного люда Россиюшки. Надобно не заижать народ, не облагать безлошадных налогами да податями. От них до бунта Пугачей один шаг! Вот я здесь для того, чтобы не было этого шага... Не было, Захарушка.

Державин чуть кокетливо надул ещё моложавые чувственные губы и уже иным тоном сказал:

– А ведь счастливыми в жизни все норовят быть. Все. Вот скажи-ка мне, Захар, может ли человек быть счастливым вообще? Хоть чуток. Только честно, без волюнки. Ответствуй. Ну, хотя бы на несколько дней? Может ли человек быть счастливым таким, как птица в полёте?

Слуга задумался и через паузу густым басом отозвался:

– Неведомо мне такое. Я ж не птица. Оно-то, счастье нашенское, вроде сказки. Хотя... хотя человек небось-то могёт, когда пьёт, ну, гуляет во хмелю своём. Но не все. Я, к примеру, бываю счастлив только во сне да в церкви. И то не всегда...

– А когда? – спросил поэт. В глазах его заблестели искорки живой любознательности. – Так, сказывай, говори!

– Да оно тогда, когда Божья молитва хора входит в душу. Тогда пропи- тываешься весь иным воздухом. Он, знаете, очищает меня. А я, того... гляжу на иконы святых мучеников и вроде светом их изнутри покрываюсь. Оно-то, счастье, и есть тот свет изнутри...

– Точно сказал, Захар: «...свет изнутри». Да в нашей окаянной жизни такой свет изнутри мало нам светит.

– Оно так. Счастья, ваша милость, много не бывает.

– Как и денег, – задумчиво подхватил поэт.

– Насчёт денег не знаемо. А про счастье, по моему разумению, как я ска- зал, только мигом изнутри, ваша милость. Можя, что и не так... Так вы про- стите мужика тёмного.

– Так, так! – Помолчав, добавил: – В темноте твоей больше света, чем в иной нашей барской. Больше, Захарушка.

Слуга часто заморгал от такого сказа, с осторожностью промолвил:

– Да я так мудрёно не умею думать.

– А как же ты думаешь?

Захар выдохнул:

– А никак...

– А ты подумай! – парировал поэт.

– Да чё думать, – уже смело предположил слуга. – Темнота – она и есть темнота. А свет и есть свет. Но ещё та лучина там, в храме, меня вроде блажит светом. А пение хора не так. Я там слова не все разумею. А вот эхо от высоты пения – оно входит прямо в живот и в голову. До пяток меня прошибает.

– Точно! – согласился поэт.

Быстрым движением достал из внутреннего кармана деньги. Вложил их в руку слуги.

– На вот, возьми. Бери, бери, Захар Михайлович.

– Да за что? За что такое...

– За проповедь.

– Так я же не батюшка... я грешник.

Державин быстро ответил:

– А мы в миру порой бываем и грешники, и батюшки.

Захар, не веря своим глазам, прошептал:

– Так за что мне так много?

– Сходишь в церковь, свечи поставишь и помолитесь за себя и меня тоже, грешника. Да и деткам твоим кренделей принесёшь. Ну, и дома, сам знаешь, всегда не хватает чего-то...

– Оно точно, – ответил слуга.

Державин цепко уловил почти незнакомо-изменённый взгляд Захара. И он узрел глаза не слуги, а какого-то иного человека, совсем незнакомо-го. Невольно подумалось автору оды, что тайна души всё же проявляется не столько в словах и жестах, а иногда вот так, во взгляде. Может, и потому хрупкое счастье – это когда тебе верят, а несчастье – когда сам никому не веришь.

С лёгкостью в сознании пронеслось: «Я, кажись, ещё что-то новое для себя сегодня открыл. Хотя... хотя всякое новое под небом – забытое старое. Вот и моя ода – не новизна. Но она, чувствую, переживёт меня».

Проходясь по кабинету, остановил взгляд на папке. Блохина. Брезгливо взял её, открыл ящик стола, вымолвил:

– Побудь здесь. – Положил папку в ящик, замкнул ключом и произнёс: – Муторно-то как от тебя.

Осторожно взял в руки оду.

– Очищай меня, одушка!

Стал молча читать. Затем негромко произнёс:

– Да оно так и есть! В голове, вроде, прояснилось. Считаю, четыре года писалось, да терпелось, да зачёркивалось. Сколько бумаги извёл. – Стал перебирать листы. – Вот здесь бы надо поправить. Да и здесь. Правка – что? Она вода круговерти. Не зря толкуют, что в такой круговерти водяной можно и утонуть. Нет, топить не буду. Хватит. Коль слово Его, то и рифма Его. А земные рифмы – они-то часто химеры заблуждений. Но здесь я стремился к идеалам смысла непостижимого. И совсем ненароком придал лёгкости стиху. Верлибрными истинами пророков пользовался: молитвами живой реки Слова. Мудрость дерзнул взять Твою неземную. Взвалил на себя вериги дерзости... Прости, Господи! – Поэт перекрестился и тихо промолвил: – Я точно иным стал, пока оду Создателю творил. Иным... Это не императрице ода. Да и разным земным вельможам. Здесь рискованнее мне было, чем в Преображенском полку. Там лихо Емелю Пугача громили. Какие поручики были! В бою играли со смертушкой, как в карты. А промысел тот козырный и держал меня в нашем полку. Страсти те козырные, слава Богу, покинули меня. Кажись, навсегда.

Вновь взял листки и задумчиво произнёс:

– А тщета опять клокочет. Чует сердце моё: по этому божественному риску и опознают меня, может быть, потомки. Очистительное сочинение случилось. Когда писал, сам-то и очищался от скверны своей. Атаку вёл на самого себя. А без этого нельзя. Чистку духа от греха всегда надобно творить.

Поэт вспомнил, как в полку неподъёмную сумму проиграл. А платить нечем. Дал тогда его визави два дня отсрочки. А потом – плати: картёжный долг считался долгом чести. Но он, везун, на второй день отыгрался с лихвой. Заложил вещичку родовую золотую и отыгрался.

...Подойдя к окну, подумал, что опять будет полнолуние. Кажется, сегодня он «перегнул» с этим казнокрадом, как говорили ему в сенате. Но лучше перегнуть, чем не догнуть. Как правило, недогнутые чинуши-мздоимцы становятся хитрее и вороватее. Всегда и везде. И почто их много на Руси? Создать бы на нашей необъятной Родине поселения для воров. Да что поселения? Они же не сами по себе, а по воле бесовской болеют воровством.

Робко взял листы оды и выговорил:
 – Лечи меня, одушка! Лечи, а то гнёт меня моя работа с ворьём. А ода – очищает. – Взглянув на лист, стал читать:

*Твоё созданье я, Создатель!
 Твоей премудрости я тварь,
 Источник жизни, благ Податель,
 Душа души моей и Царь!
 Твоей то правде нужно было,
 Чтоб смертну бездну преходило
 Мое бессмертно бытие;
 Чтоб дух мой в смертность облачился
 И чтоб чрез смерть я возвратился,
 Отец! – в бессмертие Твое...*

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Гавриил Романович Державин не ошибся. Европа давно признала оду «Бог» поэтической вершиной мировой литературы. Произведение русского гения 8 раз переведено на немецкий, 15 – на французский, по многу раз на английский, польский, чешский, итальянский, японский, китайский и другие языки. Будет переводиться и следующими поколениями.

Строки оды «Бог» поджидают своих композиторов. Потому что в мелодике стиха всегда раскрываются дерзновенно-божественные напевы, недосказанные в словах...

ОДА Г.Р. ДЕРЖАВИНА «БОГ»

*О ты, пространством бесконечный,
 Живый в движении вещества,
 Теченьем времени превечный,
 Без лиц, в Трех Лицах Божества!
 Дух всюду Суций и Единый,
 Кому нет места и причины,
 Кого никто постичь не мог,
 Кто все Собою наполняет,
 Объемлет, зиждет, сохраняет,
 Кого мы называем – Бог!*

*Измерить океан глубокий,
 Сочесть пески, лучи планет
 Хотя и мог бы ум высокий, –
 Тебе числа и меры нет!
 Не могут духи просвещенны,
 От света Твоего рожденны,
 Исследовать судеб Твоих:
 Лишь мысль к Тебе взнестись дерзает, –
 В Твоем величьи исчезает,
 Как в вечности прошедший миг.*

Хаоса бытность довременну
Из бездн Ты вечности воззвал,
А вечность, прежде век рожденну,
В Себе Самом ты основал:
Себя Собою составляя,
Собою из Себя сияя,
Ты свет, откуда свет истек.
Создавый все единым Словом,
В твореньи простираясь новым,
Ты был, Ты есть, Ты будешь ввек!

Ты цепь существ в Себе вмещаешь,
Ее содержишь и живишь;
Конец с началом сопрягаешь
И смертью живот даришь.
Как искры сыплются, стремятся,
Так солнца от Тебя рождаются;
Как в мразный, ясный день зимой
Пылинки инея сверкают,
Вратятся, зыблются, сияют, –
Так звезды в безднах под Тобой.

Светил возженных миллионы
В неизмеримости текут,
Твои они творят законы,
Лучи животворящи льют.
Но огненны сии лампы,
Иль рдяных кристалей громады,
Иль волн золотых кипящий сонм,
Или горящие эфиры,
Иль вкупе все светящи миры –
Перед Тобой – как ночь пред днем.

Как капля, в море опущенна,
Вся твердь перед Тобой сия.
Но что мной зрима вселенна?
И что перед Тобою я?
В воздушном океане оном,
Миры умножа миллионом
Стократ других миров, – и то,
Когда дерзну сравнить с Тобою,
Лишь будет точкою одною.
А я перед Тобой – ничто.

Ничто! – Но Ты во мне сияешь
Величием Твоих доброт;
Во мне Себя изображаешь,
Как солнце в малой капле вод.
Ничто! – Но жизнь я ощущаю,
Несытым некаким летаю

*Всегда паренем в высоты;
Тебя душа моя быть чаёт,
Вникает, мыслит, рассуждает:
Я есмь – конечно, есть и Ты!*

*Ты есть! – Природы чин вещает,
Гласит мое мне сердце то,
Меня мой разум уверяет:
Ты есть – и я уж не ничто!
Частица целой я вселенной,
Поставлен, мнится мне, в почтенной
Средине естества я той,
Где начал тварей Ты телесных,
Где кончил Ты духов небесных
И цепь существ связал всех мной.*

*Я связь миров, повсюду сущих,
Я крайня степень вещества;
Я средоточие живущих,
Черта начальна божества;
Я телом в прахе истлеваю,
Умом громам повелеваю,
Я царь – я раб – я червь – я бог!
Но, будучи я столь чудесен,
Отколе произошел? – безвестен;
А сам собой я быть не мог.*

*Твое созданье я, Создатель!
Твоей премудрости я тварь,
Источник жизни, благ Податель,
Душа души моей и Царь!
Твоей то правде нужно было,
Чтоб смертну бездну преходило
Мое бессмертно бытие;
Чтоб дух мой в смертность облачился
И чтоб чрез смерть я возвратился,
Отец! – в бессмертие Твое.*

*Неизъяснимый, непостижный!
Я знаю, что души моей
Воображении бессильны
И тени начертать Твоей;
Но если славословить должно,
То слабым смертным невозможно
Тебя ничем иным почитать,
Как им к Тебе лишь возвышаться,
В безмерной разности теряться
И благодарны слезы лить.*



**Вячеслав
ЛЮТЫЙ**

«О РОДИНА, ЗЕЛЁНЫЙ БОЖИЙ МИР...»

**Поэзия Елены Федотовой
и её возвращение к читателю**

Русская поэзия последних десятилетий как-то странно «обезвожена», иссушена то тоской и ненавистью, то бесслёзным плачем и горечью, то призывом и гневом... Само по себе такое интонационное предпочтение совсем не гасит поэтический дар, но когда речь становится всё прямее и прямее, когда предметное отодвигается в сторону абстрактным, когда телесное подчиняет себе душевное, а уж духовное и вовсе остаётся за скобками – речевыми, мировоззренческими, сердечными... Чрезвычайно не хватает нынешней поэзии влажных слёз, теплоты в укор, страстности, которая не заслоняет собой тембр голоса, наконец – личной судьбы, сквозь которую, как через увеличительное стекло, просвечивала бы судьба общая, уже случившаяся или же мерцающая как предсказание, как проблеск ближайшего будущего... Все эти упреки адресованы в основном лирике, ушедшей в частности или запутавшейся в сусальных изяществах, но так или иначе катастрофически теряющей значительность поэтического высказывания и ответное желание читателя напряжённо вслушиваться в течение стихотворной речи.

Имя Елены Федотовой, скорее всего, мало что скажет любитель и почитатель русской поэзии. Её стихи не успели выйти к читателю в перестроечные 80-е, а в начале рубежных 90-х поэта погибла. Смерть её была как будто записана в её стихах, ощущение кратковременности присутствия лирической героини и самой Лены неуловимо сопровождало и всякое новое её сти-

-
- Вячеслав Дмитриевич Лютый – литературный критик и публицист. Заместитель главного редактора журнала «Подъём». Автор двух книг о современной литературе – «Русский песнопевец», «Терпение земли и воды», а также публикаций во многих центральных и региональных журналах, газетах «Литературная Россия», «Литературная газета», «День литературы», «Российский писатель». Лауреат премий журналов «Подъём», «Русская речь», Общественной палаты Воронежской области «Живые сокровища славянской культуры», Всероссийского конкурса литературной критики «Русское эхо». Член правления Воронежского регионального отделения Союза писателей России.

хотворение, и сам облик автора. Кажется, всегда в чёрном – в юбке до пят и в платке, по-крестьянски или по-монашески повязанном и скрывающем волосы, высокая и тонкая, она производила впечатление какой-то внутренней отдельности, неслиянности со всеми остальными и с самой жизнью, что шумела во второй половине 80-х – именно тогда я впервые увидел её и услышал. Этот внешне сдержанный до отстранённости облик скрывал душу мятежную и нежную одновременно, ждущую любви и тоскующую о ней – и почти обречённое сознание того, что судьба не даст ей счастья, а только отпустит вволю печали, горького стоицизма и той страстности, без которой православная душа невозможна, несостоятельна, «теплохладна»...

...Потому что гнезда мне не свить...

За горами семью – содрогнись.

Как судьба заклала меня – жить,

Заклинаю и жажду: явьсь!

.....

Земной любви на свете нет.

И нет тебя – есть вечный свет.

Это высокое требование любви отражено в стихотворении с библейским зачином «*Восстаньте, псалтырь и гусли...*» и во многих других, более сокровенных и замечательно точных в соотношении слов и чувств. Лирический дар Елены Федотовой удивителен по чистоте голоса, по драматизму речи, по ясности взгляда и восхищению, с которым смотрит на мир лирическая героиня. Её поэтический словарь чрезвычайно широк, цветовая палитра – при определённых предпочтениях – прозрачна и многоцветна, а глагольность речи – замечательна, особенно на фоне сегодняшней скудости деятельного присутствия поэтического слова в пределах пошлеющего прямо на глазах рукотворного городского мира. У Федотовой в стихах почти всегда содержится лирическая история, что-то происходит вокруг или внутри героини, притом земное узнаётся в деталях милых и тёплых, и такая его согретость прорастает из вкраплённости живого, горячего сердца в чудесный природный мир.

Дождь прошёл, а ещё не слетает

В траву лёгкий туман от дождя.

Но проклюнулось чуть погода

В тучах солнце. И капли зажгло.

И заискрилась мга золотая,

Будто царствие Божье пришло.

Мир Божий – везде и во всём, так душа видит его и согревает собою безропотно и щедро. У Федотовой нет конфликта с миром в стихах, её главный собеседник и, быть может, противник – судьба. Она тесна и как-то исподволь обозначена – сурово и отчаянно неизменяемо. С этой неизменяемой прочерченностью судьбы и идёт борьба в сердце лирической героини. Всё более зорким становится её взгляд, всё отчётливей осознаётся нерукотворность природного мира, всё нежнее чувство любви к родному уголку и знакомым лицам – и всё более беззащитным оказывается измученное одиночеством сердце.

Она одна не только как чья-то неузнанная возлюбленная, её одиночество среди поэтических друзей и литературных чиновников становится чем-то

обычным. Она моет полы в Московском Пушкинском драмтеатре, в то время как литература, вырвавшаяся на перестроечный воздух, куролесит, купаясь то в пустых филиппиках, то в квазилирических неопрятных опусах, демонстрирующих публике способность автора к раскрепощённому высказыванию... Лирика Федотовой, с её трепетным чувством родины, растворённым в крови русскостью мирочувствия, мягкостью поэтического высказывания и способностью к краткой страстности в поэтической строке; наконец, культура переживания, отсутствие рваной цыганщины, страсти напоказ – всё это стало лишним для сообщества людей, у которых закружилась голова от пьяного воздуха свободы...

У Федотовой есть раннее стихотворение о Божьем чертеже человеческого мира. Божий сон, как отражение в реке, рисует дом и малютку, погружённую в игру. Богу видение столь понравилось, что *«в душе его суровой чудный замысел взошёл»*. Божий сон – это воплощённая реальность, увиденная малютка становится живой, существующей. Детская душа, открытая вышнему, чувствует всю последующую жизнь, полную неизъяснимого пока драматизма, и внезапно, совсем рядом со словами о Божьем замысле Федотова напишет: *«А малютке стало грустно, и заплакала она»*. Перед нами образ человеческого сердца, знающего о своём долге, о Создателе, о пути своём и о далёком пока Божиим прощении, но – тоскующего, плачущего, потому что знание пути не заменяет сам путь. Христово моление о чаше лучше всего подтверждает эту мысль.

Христианское, православное у Федотовой, как правило, слегка приглушено, оно высказывается как-то скупой на фоне родового, которое не боится слов и всегда отличается щедростью красок, примет, состояний. Пожалуй, тут сказывается некое целомудренное чувство, свойственное русскому человеку, когда он начинает упоминать о Боге и о вере. В отличие от христианского начала, которое на самом деле есть путь человека к Богу и в некотором смысле – человеческое достижение, хотя бы уже в том, что удалось не замараться несмываемой грязью, родовое стоит понимать как Божий подарок, за который не стыдно благодарить бесконечно. Потому что ведь всё вокруг тебя и есть твоё родовое: природа, родные лица, твои предки, двор, в котором ты провёл детство, и многое другое – и, перечисляя, ты уже благодаришь. Родовое – это бескорыстное тепло матери, а христианское – это свет истины и предназначение. Без первого второе как-то отвлечённо, умственно. Неслучайно русский православный человек почти никогда не теряет русскость. Его православные черты промыслительно рисуются на русской подложке, без которой они не держатся, роковым образом осыпаются.

*Ты возьми меня, тёплое моё поле,
Опахни мне лицо туманом,
Дай увидеть огни родные
С дали тёплой, с весенних пашен.*

Так православная скромность и родовая щедрость поэтической речи Федотовой становятся отчётливыми чертами её художественного облика. Важно запомнить эти свойства, потому что порой в стихах Федотовой прочитываются ропот, несогласие с судьбой, с Божьей волей – но тут можно вспомнить Иова и то, с какой удивительной органичностью вписался образ библейского любимца Бога в русский космос. Русские вопрошания – это бесстрашное предстояние слабого человека Богу, звучание прямых вопро-

сов из тленных уст о своём мучительном земном пути; вопросов Тому, Кто может всё изменить, но почему-то не меняет, вопросов о Божьем чертеже. И здесь стоит сказать о русском поиске смысла в конкретной жизни. Борения с судьбой, слова, возглашаемые в небо, когда они подкреплены духовной силой, способностью вынести все беды (хотя эта способность может и не постигаться собственным умом, но таиться в человеке) – почти всегда на русской почве приходят к смирению, к последнему знанию своего места в мире. И тут не похвальная примета национального характера, а неизменяемое духовное устройство русского человека: или он такой, или его нет вовсе.

*И настанет таинственный день,
На одре буду смертною лежать,
И в лучах, проступая как тень,
Как у зыбки сидеть будет мать.
И ударит по телу мороз,
И уже, может быть, через час,
Колыхаясь от вздохов и слёз,
На столе захлопочет свеча.
И протянется множество рук
Потрудиться одру моему,
И тогда, как царица от слуг,
Их труды я спокойно приму.*

В 1986 году в Литературном институте Лена Федотова неожиданно попросила меня быть оппонентом на преддипломном обсуждении книги её стихов «Под солнцем», а потом подарила её рукопись. Я был вольнослушателем, а Федотова пользовалась почти безусловным авторитетом в поэтическом семинаре Ал. Михайлова и Г. Седых. Чудесным образом эти машинописные листы сохранились в течение почти пятнадцати лет – беспощадного времени, которое перетёрло множество судеб, изменило российскую историю и загрязнило облик отечественной литературы. И вот теперь, когда перечитываешь прежние стихи Елены Федотовой, ясно понимаешь, что такого поэтического языка, такой сердечной привязанности ко всему русскому прошедшие литературные годы нам не дали. Извлекая из архива эти стихотворения, я надеюсь, что их час настал и «протянется множество рук» послужить имени Елены Федотовой, как, мне кажется, одному из первых имён современной русской поэзии.



**Елена
ФЕДОТОВА**



Елена Федотова

ПОРА ВОЗВРАЩАТЬСЯ

Одинокая память моя,
Слышишь: ныне, и присно, и вечно!
...В чём-то чёрном, как сам этот вечер,
И весёлая –
Это ведь я..

...В полудетском своём кураже,
Подождённая дивным закатом,
Шла в траве по чуть видной меже,
Вся увитая хмелем и мятой.
Там, в деревне, вскричат иногда
То скотина, то гуси, то дети.

А уже появилась звезда,
А уже – и другая, и третья...

Вот и сад. Я одна, словно тать.
Озоруют, наверно, глазищи...
Ну, немножко ещё постоять
С кистенём – да в людское жилище.

...Глухо хлопнула дверь. Это я –
Навсегда за порогом – и вечер
В чём-то чёрном, и..
Память моя,
Слышишь: ныне, и присно, и вечно.

И, стало быть, надо спасаться.
Не гонят, не судят, не бьют.
И всё-таки надо спасаться.
В какой же межзвёздный приют –
От этой всемирной эстрады –
Идти? Мне уже всё равно.
Лишь только бы было не надо
Смеяться, когда не смешно.

УСТАЛОСТЬ

Июнь. И кущи за окном
Восторгов, слёз и песен просят.
Но чутким, медленным огнём
Подкрадывается к сердцу осень.

Из кухни в комнату плывёт
Тепло, и зеркало завогло.
Не торопи: она придёт,
И ждать, поверь, не так уж долго...

Стираю влагу со стекла,
Свой наблюдая жест банальный,
И думаю, что жизнь прошла,
И это вовсе не печально.

Давно зашторено окно.
Устало, тихо сердце бьётся.
Я жду, я жду, когда оно
Последним пламенем займётся.

Не буди, не зови – хоть ты силой сильна
Не людской, хоть самой бы мне терем разрушить.
Всё равно не пьянишь ты, чужая весна,
Закосневшую в верности – или в безверии – душу.

Где-то рядом взбухают, ломаются льды,
Слышу новую жизнь в расходившемся море.
Но в её ликование – столько старой беды,
В ожиданиях – столько грядущего горя.

Не желать ничего, не жалеть ни о чём.
Я найду наконец то, что было искомо.
Истекающим, полуживым ручейком
Жизнь моя доползёт, досочится до дома.

Столько лет протекло, и не чует родня.
Только я и земля, запьянев целованьем.
Посредине какого-то вечного дня
Предвкушаем бессрочное это свиданье.

Словно сны, порождённые дремой дорог
Над землею, под солнцем, палящим и белым,
Реют блики немые.
На тёмный порог
В полдень явится светлое, лёгкое тело.

И ненависть, и тяга к зеркалам:
Вот отойду, вот подойду поближе...
Но сколько бы ни вглядывалась –
там
Опять и снова ничего не вижу.

Иль вижу – дико – в мёртвых глубинах,
Как в заколдованном лесном колодце,
Неведомого, тихого уродца
С бессмысленным страданием в глазах.

О Боже мой, живёт любая тварь –
Вон, за окном – и пьёт свой день весенний.
О громом разрази и молнией ударь!
...Самозабвеньё, смерть и в духе воскресенья.

НОВОСЕЛЬЕ

То с тряпкой, то с совком, то с вазой
Весь день по комнате кружусь.
Какой худой и долговязой
Я в этом зеркале кажусь...

Как будто девочка-подросток
С мечтой небесно-голубой...
И в старомодную причёску
Ложится волос сам собой.

Внезапно взгляд бросаю длинный
На бедный садик за окном:
Там всё ещё цветёт калина,
И запах проникает в дом.

И всё в ней так же, всё в ней просто...
И неужели – жизнь прошла?
...Домой с цветущего погоста
Дорогой пыльной брела...

Пора возвращаться. Доколе я буду
Блуждать и скитаться изменчивым духом
По тысячам тонких, как нервы, тропинок?
Пора возвращаться. Как будто бы что-то
Бессрочное, тихое, светлое, нежное
Есть там, позади, и смиряет гордыню.
Пора возвращаться... Но пристань отходит.
Бессрочное, тихое тихо отходит,
Бессрочное, светлое призрачно светит,
И кажется, есть лишь одно возвращенье:
Туда, где сливаются капли и звёзды.

7 ЯНВАРЯ

Я не спала всю ночь; всю ночь приветно
Свеча горела. В волшебстве огня
Не верилось, что там, во мраке предрассветном,
Такой же праздник, как и у меня.

Свеча истаивала, ночь всё меркла,
А я всё представляла, как пойду
Среди старушек, тянущихся к церкви
Живым ручьём; как наконец войду,

Войду, как в сон, – и хор внезапный встретит.
Весь храм горит, и люд кругом стоит.
И кто-то обязательно заметит
И страсть мою, и молодость, и стыд.

Пусть будет так,
 пусть всё покуда странно.
Но если нужно
 отыскать свой кров,
Я выйду в лес,
 я зарасту туманом.
Душа моя
 откажется от слов
И станет ветром,
 станет вышним шумом,
Совьёт под елью
 мягкую постель,
И отразится
 голубая дума
В высоком небе,
 чистом, как свирель.

Всё чаще я по улицам брожу...

А. Блок

...Запомните, как я по улицам бродила,
Пила свой кофе, в церковь заходила,
Как подавала нищим в переходах,
Как я любила снежную погоду
За то, что снег бульваров и дворов
Сиял, как Богородицын покров.
И этот снег, и странный сумрак синий
Москве напоминали – о России...
...Перед газетной и афишной строкой –
Татарских глаз угрюмый непокой...
А снег летел и пел своим прохожим,
Что все мы – дети, все мы дети Божьи.

Знойный полдень. Пыль и небо.
И, наверное, страда...
Властно, густо запах хлеба
Обвевает города.

Через жуткие столетья
Я опять к тебе вернусь.
Темь, изба с пахучей клетью.
Свет над чистым полем – Русь.

Подкрадусь к родному дому,
Замирая, словно зверь.
Тихо... Боже, как знакомо
Дремлет голубая дверь.

Обниму я куст жасмина
И, как будто в образа,
В это небо опрокину
Безутешные глаза.

Дождь и туман за окном.
Где моё око, мой дух?
Там, над высоким прудом,
Бродит по звёздам пастух.

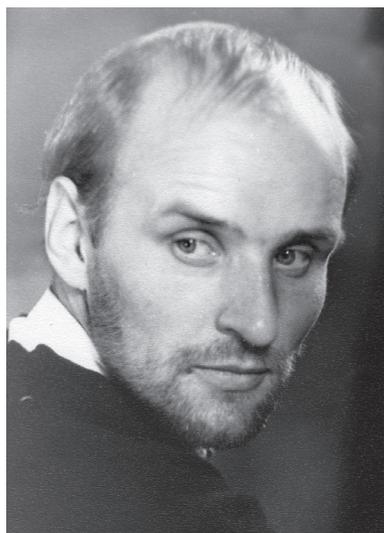
Думы как лунная нить.
Бог скоро даст ему дочь.
Как я хочу воскресить
Все его думы в ту ночь.

Шорох последний затих
К утру. И небо – сапфир.
Мерно слагается стих –
Божий и тёплый, как мир.

Мир, как ягнёнок, лежит
В мерных руках пастуха.
Бьётся и нежится жизнь
В тёплых прожилках стиха.



**Алексей
СОЛОНИЦЫН**



Анатолий Солоницын

«СЛУШАЙСЯ СВОЕГО СЕРДЦА»

Судьба выдающегося актёра театра и кино Анатолия Солоницына (1934–1982) тесно связана с Саратовом: в нашем городе прошли его детство и первая пора юности. Здесь началась его трудовая биография. Саратов, Волгу он помнил до последних дней своей жизни – как самое дорогое, самое сокровенное.

30 августа 2019 года исполняется 85 лет со дня рождения замечательного актёра, который за свою короткую творческую жизнь сыграл сорок семь ролей в кино, более ста ролей в театрах страны. В историю мирового кино он вошёл как исполнитель роли великого русского иконописца Андрея Рублёва в одноимённом фильме выдающегося кинорежиссёра Андрея Тарковского.

Предлагаем читателям журнальный, сокращённый вариант «Повести о старшем брате» писателя, киносценариста Алексея Солоницына.

-
- Алексей Алексеевич Солоницын – писатель, кинодраматург, родился в 1938 году в г. Богородске Горьковской области. Окончил факультет журналистики Уральского университета в Свердловске (ныне – Екатеринбург) в 1960 году, много ездил по стране, работал в газетах Киргизии, Латвии, на телевидении, в кино. С 1973 года живёт в Самаре. С 1972 года – член Союза писателей России, с 1984-го – член Союза кинематографистов России. Автор более пятидесяти книг. По его сценариям снято более сорока документальных фильмов. Дипломант Патриаршей литературной премии св. Кирилла и Мефодия 2012 года, лауреат первых Всероссийских литературных премий им. Александра Невского (Санкт-Петербург), Ивана Ильина (Екатеринбург), Серафима Саровского (Нижний Новгород), международного кинофестиваля «Золотой витязь» (Москва). Имеет правительственные награды, награды Русской Православной Церкви Московского патриархата.

ЗОВ ТРУБЫ АНГЕЛА

Когда я вспоминаю Анатолия Солоницына, я вижу его голубые глаза, в которых было так много чистоты и грусти. Несуетность, спокойствие, тишина – всё было в глубине его светлого взгляда. Но стоило заговорить о том, что волновало и жгло его душу, – Господи, как менялись эти глаза, сколько твёрдости, силы, непреклонной воли вспыхивало в уже другом его взгляде, словно огненным мечом пронизывающем человека.

Он был из той когорты людей, которым ничего не жаль во имя великой цели, идеи, труда, которым он посвятил жизнь.

«...Не читки требует с актёра, а полной гибели всерьёз», – сказано Борисом Пастернаком. Именно по этому завету и жил актёр Анатолий Солоницын.

Творческое наследие Анатолия велико: сорок семь ролей в кино, более ста ролей на сцене театра. Это наследие нужно людям, ибо в образах актёра – свет духовности, взыскующей совести. Поэтому его человеческая, актёрская индивидуальность оказалась в сфере творческих интересов лучших режиссёров 70–90-х годов XX столетия: Андрея Тарковского и Ларисы Шепитько, Сергея Герасимова и Александра Зархи, Александра Алова и Владимира Наумова, Глеба Панфилова и Вадима Абдрашитова, других выдающихся мастеров отечественного кинематографа.

В 80-е годы я начинал свою работу в кино как режиссёр. Анатолий с радостью согласился играть в моём первом художественном фильме «Свой среди чужих, чужой среди своих» русского интеллигента Василия Сарычева. В этом фильме музыкальную тему верности, преданности идеалам юности, которую свято хранит сердце, ведёт труба – замечательную музыку к фильму написал композитор Эдуард Артемьев.

В «Повести о старшем брате» Алексея Солоницына я прочёл, что Анатолий взял девизом слова философа Френсиса Бэкона: *«Я всего лишь трубочка»*, – и сразу услышал зов трубы, поющей в нашем фильме о добре, справедливости, дружбе, которым ничего не страшно, которые всё одолеют и победят. Это зов трубы ангельской. И он слышен каждому, кто верит, любит, кто зовёт «положить душу свою за други своя».

Н. С. Михалков,
председатель Союза кинематографистов
Российской Федерации,
народный артист России

ПРЕДИСЛОВИЕ ОТ АВТОРА

На Ваганьковском кладбище старые липы и клёны опять покрылись молодой листвой.

Сколько помню себя, на Пасху всегда ясное небо, солнце, мягко и ровно освещающее землю, и всё, что есть на ней. В душе боль, но этот небесный свет успокаивает, воскрешает в памяти пережитое, и сами собой плывут перед глазами воспоминания – как лёгкие облака в вышине.

Могила Владимира Высоцкого завалена цветами. Дальше, за Воскресенским собором, я нахожу оградку – здесь лежит Олег Даль. Цветы, крашенные пасхальные яйца, записки, детские игрушки.

Иду по писательской аллее к тридцать седьмому участку и ещё издали замечаю знакомый белый силуэт надгробного памятника. Будто тонень-

кая белая свечка, стоит он, скромный и тихий, под клейкими молодыми листьями.

Кирпичная арка, а в ней в образе Андрея Рублёва шагнул нам навстречу актёр, подаривший миру образ великого иконописца.

Я зажигаю свечку на могиле старшего брата и думаю не только о нём, но и обо всех его ровесниках, которые ушли из жизни недолго, не досказав всего, что хотели сказать, не доиграв заветную роль.

Рядом с могилой брата покоится могучий Виктор Авдюшко, которому, казалось, жить сто лет.

На Новодевичьем лежит Василий Шукшин; на русском кладбище под Парижем – Андрей Тарковский. Нет Гены Шпаликова, нет Ларисы Шепитько, нет Александра Кайдановского, как нет многих шестидесятников, тех, кто, несмотря ни на что, создавал киноискусство вопреки пошлости и приспособленчеству.

Они ушли потому, что двигались против течения, которое было очень сильным, хотя то время окрестили застойным. А смертельная болезнь была лишь следствием – она, как пуля, настигла их на взлёте творческого горения.

Они не хотели и не могли лгать. Они жили в согласии с совестью. И заплатили за это самую высокую плату – жизнь.

Теперь я знаю, что боль подобна камню, упавшему в воду. Вода на поверхности успокаивается, а камень так и остаётся навсегда лежать на дне. И в то время, когда вода становится гладкой, когда сквозь толщу её видишь и ход рыб, и движение водорослей, и камни на дне, тогда можно вспоминать, можно разобраться в прошедшем.

К тому же я не один – о старшем брате моём, заслуженном артисте России Анатолии Солоницыне будут размышлять и вспоминать те, кто работал с ним и кто хорошо его знал.

Прожил он недолго – сорок восемь лет. А всё же немало успел сделать. Есть среди его работ такие, что долго будут жить в истории театра и кино.

Но не только это заставило меня взяться за перо. Его характер был особенным, не похожим на другие. Он таил в себе что-то такое, что останавливало, удивляло, заставляло задуматься – о творчестве, о самой жизни, о вере...

Алексей Солоницын

ОСТРОВ НА ВОЛГЕ

Много у нас было заповедных мест, но ни одно из них не могло сравниться с Зелёным островом. Здесь огород, к которому идёшь как по лесу: утоптанная тропа ведёт, петляя, между высоких вётел, осокорей, зарослей ивняка; здесь рыбалка – с мостков, откуда можно и нырнуть, когда надоест рыбалить, и озерцо, что в середине острова.

А ночёвка в шалаше, а костерок, а рассказы отца, а сами сборы на Зелёный – с вечера, потому что уезжали на остров затемно, чтобы успеть на утреннюю зорьку...

На Зелёный ходили три пароходика – «Решительный», «Свобода», «Смелый». Вечные споры: какой пароход будет сегодня? Отец стоял за «Решительного», я предпочитал «Свободу», а Толя – «Смелого».

«Смелый» – почти катерок, был самым быстроходным, и то-то сияли глаза брата, когда к пристани подруливал именно «Смелый», а потом бежал по воде, как взаправдашний пароход, и пенная волна закручивалась, как

стружка от фуганка... Мы, угнездившись на носу «Смелого», постукивали удочками и напевали:

*Гремя огнём, сверкая блеском стали,
Пойдут машины в яростный поход...*

И сейчас, даже не закрывая глаз, вижу я Зелёный, ощущаю запахи ивняка, прибрежных водорослей, слышу, как неожиданно всплёскивает рыба. Никаких других звуков нет, солнце встаёт, по ровной, будто отполированной поверхности воды скользят на тонких ножках неутомимые водяные пауки. Замерли наши поплавки – из пробок, с белыми перьями...

Раз, раз – и поплавок вдруг ушёл под воду, и сердце тоже будто нырнуло, и ты дёргаешь удочку на себя, и трепещет, вспыхивая на солнце серебристо-зелёным и розовым, крепкий, тугой окупёк.

Однажды совсем не клевало. Ушли с мостков на озерцо. Уже солнце стало палить, уже отец сказал своё привычное: «Довольно рыбки половили, пора и удочки смотать», как Толя выдернул из воды щуку. До этого мы ловили щурят, да и то редко, а тут попалась матёрая хищница с гибким и сильным телом. Не знаю, какого размера она была на самом деле, но в памяти осталась громадная рыбина. Она сорвалась с крючка, упала у самой воды. Мы, онемев от удивления, смотрели, как она, ударяясь о землю, высоко подпрыгивает. Каждый раз она могла уйти в воду.

– Держи её! – опомнившись, крикнул отец, и Толя по-вратарски бросился к щуке и схватил её.

Но в ту же самую секунду громко вскрикнул: щука больно укусила его за палец.

– Держи, не бойся!

Мы с отцом бежали по песку и видели, как Толя опять бросился к щуке, схватил её и ударил оземь. И только после этого кинул рыбину в ведро.

У щуки была длинная морда, острые зубы. Глаза круглые, стеклянные. Она никак не хотела смириться, что кто-то более сильный победил её, и время от времени начинала бешено колотить хвостом по стенкам ведра.

На пароходке, когда мы возвращались домой, щука перевернула ведро и вывалилась на палубу.

К нам подходили пассажиры, удивлялись рыбине. Отец объяснял, как она попала: на крючке оказался малёк, щука заглотила его, специально её не ловили...

Толя смотрел на щуку не с гордостью, а с ненавистью.

– Фашистское отродье, – сказал он.

– Почему? – отец рассмеялся. – Укусила, что ли?

Но дело заключалось не в этом. Видимо, в этой щуке было что-то особенно хищное, жадное и злое, что поразило Толю навсегда. Когда ему было особенно трудно, когда попадались люди, которые подводили, а иногда и предавали, он вспоминал про щуку и говорил:

«Помнишь, глаза-то у щуки какие были? Оловянные. Вот и у этого человека такие глаза. И зубы такие же – мелкие, острые и ядовитые».

Щука запомнилась ещё и потому, что отец рассказал историю, связанную с его рождением.

Фёдор Иванович Солоницын, наш дед, был сельским врачом. Его семья жила в селе Ошминском Тоншаевской волости Костромской губернии (теперь это Тоншаевский район Нижегородской области).

Дед был страстный рыболов и охотник. Однажды, в пору, когда его жена, Прасковья Григорьевна, была беременна, он взял её с собой на рыбалку: одну побоялся оставить. И вот попалась ему большая щука – она так же, как у Толи, сорвалась с крючка.

Прасковья Григорьевна кинулась за щукой, поймала её, да тут-то родовые схватки и начались...

Дед наш, Фёдор Иванович, был человеком замечательным. Он совершенно спокойно приезжал в тифозные деревни и лечил крестьян. У него был твёрдый, властный взгляд – лечил он и гипнозом. Выписывал медицинские журналы из разных стран и за внимание к Нью-Йоркскому гипнотическому обществу был избран почётным его членом.

В двадцать первом году, когда не было ни медикаментов, ни еды, он заставлял собирать травы, заваривать кору деревьев. Многих он спас, а сам не уберёгся – заразился и сорока пяти лет от роду умер.

Отец остался в семье старшим. Было ему пятнадцать лет, но пришлось взять на себя заботу о семерых младших братьях и сёстрах. Работал он дорожным рабочим, телефонистом, потом на химзаводе в посёлке Вахтан. В шестнадцать лет его избрали «завэкономправом» в комсомоле – то есть он отстаивал экономические и правовые интересы молодёжи. А в двадцать лет выбрали председателем завкома химзавода. С этой поры начинается его газетная деятельность: в заводской газете, затем, после окончания Коммунистического института журналистики (КИЖ), – на посту редактора районной газеты в городе Богородске. Отца приглашают в «Горьковскую правду», где он работает ответственным секретарём редакции. А потом становится собственным корреспондентом «Известий».

В городе Богородске Горьковской области 30 августа 1934 года родился Анатолий.

Здесь я должен сделать пояснение.

Отец наш в юности был человеком романтическим. В те дни, когда имена героев челюскинской эпопеи были у всех на устах, в нашей семье родился первенец. Именем научного руководителя экспедиции – Отто Юльевича Шмидта – отец решил назвать своего сына. Но, когда началась война, мы, дети военного поколения, иначе стали воспринимать немецкие имена. Вот почему ещё в детстве брат переименовал своё имя Отто на Анатолий. И с этим все в нашем доме согласились.

Отец, чья фамилия не раз появлялась на страницах «Известий», в 1964 году получил объёмистое письмо от краеведа Горьковской области П. С. Березина. В письме был очерк о нашем предке Захаре Степановиче Солоницыне. Так само собой получилось, что мы узнали об одном из колоритнейших наших пращуров. Хочу рассказать о нём не потому, что это сейчас модно, а потому, что Захар Степанович – личность крайне интересная. А самое главное – как это ни странно может показаться – судьба его отозвалась в судьбе брата.

Захар Степанович родился во второй половине XVIII века, умер в первой четверти XIX. Был он летописцем из починка Зотово Тоншаевской волости Костромской губернии (теперь деревня Зотово находится на территории Нижегородской области).

Личность грамотного крестьянина, ставшего летописцем, не может не заинтересовать.

Починок Зотово был основан почти 200 лет назад крестьянином Зотом Безденежных и Захаром Солоницыным. Оба новосёла были выходцами из Касинской волости Вятской губернии.

У одного из потомков Захара Солоницына сохранился портрет, написанный масляными красками на крестьянском холсте.

С холста смотрит человек, уже поживший, с длинными чёрными волосами, курчавой бородой, тёмными глазами. Взгляд испытующ, суров... В руке он держит книгу, там текст: «Помышляю день страшный и плачу деяний моих лукавых...»

Как пишет П. С. Березин, старшие потомки Захара Степановича утверждали, что портрет написан самим Захаром. Об этом говорил в 1964 году 73-летний праправнук Захара Степановича – колхозник из деревни Тихоновская Константин Николаевич Солоницын. Он передал краеведу несколько разрозненных книг, написанных Захаром Степановичем. Это наставления и поучения в духе христианской морали. Есть у него и книги светского содержания. Когда читаешь их, нельзя не обратить внимание на то, что автор получил хорошее по тому времени образование в стенах духовного учебного заведения.

В исторических статьях сборника прошлого века «Костромская сторона» есть неоднократные ссылки на труд Захара Степановича, которого называли «ветлужским летописцем»¹. Использовали труд Захара и авторы «Истории Российского государства» (Москва, 1866), книги «Столетие Вятской губернии» (Вятка, 1881), другие историки.

Почему же энергичный исследователь края, человек образованный, с незаурядными способностями, обладавший ещё и талантом иконописца, не мог найти себе места на родине, а жил в лесной глуши?

П. С. Березин предполагает, что дело тут заключается в товарище Захара Степановича – В. Я. Колокольникове. Учились они в Славяно-греко-латинской семинарии, которая размещалась в стенах Трифонова монастыря. Это было в то время единственное среднее учебное заведение Вятской губернии.

Колокольников, как лучший выпускник, учится на медицинском факультете Московского университета, затем в Лейденском, Геттингенском университетах. Этого незаурядного человека по тайному приказу Екатерины II задерживают на границе при возвращении домой, отбирают письма, бумаги и под арестом отправляют в Петербург, в Тайную экспедицию. Среди бумаг Колокольникова вполне могли быть и письма его товарища Захара Солоницына.

Вот почему он оказывается в починке Зотово – как подвергнутый наказанию.

«Поиски рукописей Захара Степановича Солоницына продолжаются, – пишет в своём очерке П. С. Березин. – Продолжается и изучение биографии ветлужского летописца».

И во время учёбы, и в первые годы работы ничего этого о своём предке мы не знали. Но к тому времени, когда Анатолий, на свой страх и риск, собрался ехать в Москву на первую в своей жизни кинопробу, отец как раз и прислал ему очерк о нашем пращуре, чтобы поддержать сына.

Анатолий никому не рассказывал об этом. Но в последние свои дни, когда мы с ним говорили о самом главном, он признался:

– Я бы не поехал... Я бы не стал мучить себя... Но я поверил, что играть великого русского иконописца должен именно я. Потому что они увидели, что не самолюбие привело меня на съёмочную площадку, а что-то другое... Что-то такое, о чём они не знали, а лишь догадывались. Когда они смотрели

¹ См.: Костромская сторона. Кострома, 1892. Вып. 2; Описание Костромской губернии. Кострома, 1861.

на меня, ими овладевало беспокойство... И только потом они поняли, что эта роль – моя...

РЕКА

После войны, в сорок пятом, мы переехали в Саратов, на родину матери. Но как бы и не переехали: всё равно остались на Волге. Однако и дом, и улица очень не походили на прежние. Мы сначала жили у бабушки, Анны Христофоровны, в заводском пригороде. Улица называлась 12-й Вокзальный проезд. Поросшая травой, с деревянными домами, садами-огородами, голубятнями, она, как и всё заводское, очень походила на деревню.

Но когда мы отправлялись на Волгу, то, перейдя через железнодорожный мост, сразу оказывались в совершенно ином мире – в городе.

Походы на Волгу были связаны со множеством впечатлений. Река была не такой, как теперь. Она мощно несла свои воды, полные силы и жизни. Теперь Волга состоит из громадных водохранилищ. Течения почти нет, рыбы мало.

Да, река была другой – с тугими и опасными воронками, с заводами, где она нежилась и как бы отдыхала после долгого бега к морю; с плёсами, которыми любовался всякий, кто вырос или хоть раз побывал на Волге.

Река казалась то ласковой, доброй, и не хотелось уходить от неё до позднего вечера, пока солнце не скатывалось за дальние увалы, а вода не становилась тёмной; то представляла коварной, предательской – подхватывала течением, и я, выгребая к берегу, чувствовал, что вода засасывает и мне уже не выбраться.

И когда, шатаясь, выходил на песок и валился, тяжело дыша, думал: «Никогда больше не буду заплывать далеко».



Анатолий закончил 10-й класс. Отец, мать, брат Алексей. 1953 г.

Но проходил час-другой или день-два, и снова я смотрел, как сверкает вода под солнышком, манит, завлекает. Я понимал, что опасность не миновала, что снова могу попасть на быстрину или в воронку, и снова будут таять силы, а берег будет по-прежнему далеко. Но вода вспыхивала на солнце, и я заходил в неё, улыбаясь и ёжась, и плыл вперёд.

Однажды ребята старше нас решили переплыть Волгу с Зелёного острова. Ввязались и мы с Толей. Плавали мы неплохо, но Толе нельзя было мочить голову – у него болели уши. Болезнь началась из-за того, что однажды на Зелёном Толю в ухо укусила оса. Он прихлопнул её, но не убил, и оса оказалась внутри уха.

Выкурить её оттуда мы пытались по-разному, но безуспешно. Оса время от времени оживала, и у Толи начались нестерпимые головные боли. На пароходе, когда мы возвращались домой, он даже терял сознание. Беда казалась ужасной и непоправимой, ухо у Толи распухло, как от мощнейшего удара. Он стонал и отвечать на вопросы любопытных пассажиров не мог.

Толю выручила бабушка, которую у нас в доме звали Бабаней. Она налила подсолнечного масла Толе в ухо и заставила прыгать на одной ноге. Оса вылилась вместе с маслом. Бабаня протёрла Толино ухо какой-то настойкой и уложила его спать.

С тех пор Толя боялся, как бы что-нибудь не попало ему в уши, даже вода. Однажды это случилось, и он опять мучился. Тогда он научился плавать почти стоя, торчком, и никогда не мочил голову и не нырял.

Вот почему я был против того, чтобы он плыл с нами на левый берег Волги.

– Ничего, где наша не пропадала!

И он вошёл в воду и поплыл, стараясь не отстать от ребят, которые, хихикая, поддразнивали его.

Сначала плыли кучно, но Толя стал отставать. Я плавал лучше и поэтому держался около него – на всякий случай. Кроме того, у меня был козырь: если уставал, я ложился на спину, раскидывая руки и ноги, и так выучился отдыхать.

В этот раз, как назло, пошла волна – сначала мелкая, потом крупной, и, когда я перевернулся на спину, решив использовать свой коронный приём, вода захлестнула мне лицо, и я изрядно нахлебался.

– Ты чего? – услышал я крик брата.

«Ништяк!» – хотел ответить я бодро, но ничего у меня не получилось.

Течением нас сносило вниз по Волге. Мы теперь были далеко от того места, куда намеревались приплыть. Ребята были впереди, довольно далеко от нас, да и каждый рассчитывал только на свои силёнки.

Я попробовал отдохнуть ещё раз и опять нахлебался. Сил становилось всё меньше, плыть я устал. Толя оказался рядом и, схватив меня за бок, толкнул вперёд:

– Давай!

Я разозлился, что меня больно толкнули, и опять стал продвигаться вперёд. Но недолго.

Во всём теле была вялость, силы улетучились, как воздух, выпущенный из велосипедной шины.

– Давай! – При каждом гребке Толя поворачивался ко мне. Глаза его были вытаращены и блестящие.

– Давай! – И он опять больно толкнул меня.

Я увидел, что голова его мокрая, волосы слиплись: когда он толкал меня, волна накрыла его.

Небо затянулось неизвестно откуда взявшимися тучами, стало темно и страшно. Я понял, что пропадаю: больше бороться за жизнь не мог. Закрыв глаза, я пошёл на дно, и ноги мои вдруг встали на песок. Из горла вырвался странный звук – то ли я хихикнул, то ли всхлипнул.

Попробовал встать на песок и Толя, но ушёл под воду. Он тут же вынырнул, лицо его было перекошено от боли и досады. Я понял, что стою на песчаной косе, и протянул Толе руку.

Он ухватился за меня и встал на дно.

В это время чиркнула молния, пошёл дождь. Пробираясь вперёд по песку и каждую секунду боясь потерять найденный путь к спасению, мы вышли на берег, дрожа, как щенята.

Дождик скоро прошёл, выглянуло солнышко. Мы отогрелись...

Дом Бабани, Анны Христофоровны Ивакиной, был разделён на две половины. Мы жили с Бабаней, а на другой половине жил старший из Ивакиных – дядя Гриша.

Кузьмы Осиповича Ивакина, деда, уже не было в живых.

Погибли на войне его средние сыновья – наши дядья Иван и Николай. Для моего рассказа примечателен, конечно, Николай Ивакин – из-за него-то я и рассказываю о маминной родне.

Работать он начал рано – слесарем в вагоноремонтных мастерских. Здесь он встретился с весёлым, бойким пареньком Виталием Дорониным. Они подружились. Общим у них оказалась не только страсть к голубям. Главная страсть была – театр.

Они ходили в кружки художественной самодеятельности.

Встретились с ещё одним парнем, который бредил театром. Этот был рослый, сильный, вроде циркового борца. А лицо добродушное, свойское. Звали его Борис Андреев.

Скоро всем троиц художественная самодеятельность надоела, и они решили определять судьбу. Виталий Доронин и Николай Ивакин с деревянными чемоданчиками поехали покорять Москву, а Борис Андреев решил, что можно учиться и в Саратове. Он поступил в студию при местном драмтеатре.

Через годы они снова встретятся в Москве, а пока судьба более всего благоволит к Николаю Ивакину – он первым начинает сниматься в кино. Хорошо сложенный, с живыми карими глазами, основательный, умеющий быть и серьёзным, и озорным, Николай Ивакин приглянулся многим режиссёрам. Но самой интересной оказалась его встреча с Ефимом Дзиганом.

В то время Дзиган готовился к съёмкам фильма «Мы из Кронштадта». Роль солдата Василия Бурмистрова он поручает Николаю Ивакину.

...Идёт неравный бой. На моряков-балтийцев наступают хорошо вооружённые белогвардейцы. Неуязвима бьющая по матросам бронемашинка. И вот из окопа ловко и скрытно начинает пробираться к бронемашине красноармеец. Бросает гранату. Умудряется выйти к бронемашине с тыла и забраться на неё. Потом винтовкой стучит по крышке люка и с эдакой крестьянской основательностью, с неподражаемым народным юмором говорит:

– Эй, хозяин, вылазь!

А когда с делом покончено, прямо на бронемашине солдат закуривает самокрутку.

Это лучшая роль Николая Ивакина.

Наверняка он сыграл бы и другие значительные роли, как его друзья – Виталий Дмитриевич Доронин, Борис Фёдорович Андреев, ставшие прославленными, любимыми народом артистами.

Но жизнь дяди Коли рано оборвалась: в 1941 году, эвакуируясь из Одессы, где снимался, он погиб под бомбёжкой вместе с женой и только что родившимся сыном.

В Бабаниной комнате на стене висели фотографии всех шестерых её детей. В разное время наше воображение занимали то прапорщик дядя Ваня – щеголеватый, с лихими усами, с саблей на боку, то изящная гимназисточка тётя Таля. Но более всего нам нравилось рассматривать фотографию дяди Коли. Ведь именно он в фильме «Мы из Кронштадта» ведёт себя так удало и лихо! Удивительно ли, что картина эта была для нас самой любимой и дорогой?

Сначала наша Бабаня молча слушала, как мы ахаем, но однажды сказала:

– Чего ахают? Это ж кино. У вас другой дядька есть, вот кто подвиг совершил. Взаправдашний.

– Это кто же? – несколько иронически спросил отец.

– Как кто? Да Васька Клочков. Он же моей сестры Настасьи сын.

– Какой Васька? Какой Клочков? – Отец стал серьёзен и во все глаза смотрел на Бабаню. – Это политрук Панфиловской дивизии? Василий Клочков?

– Он самый. – Бабаня встала и хотела уйти.

– Постойте! Что же вы раньше-то не сказали?

– А чего зря болтать? Родственник он вам дальний. А потом про него и так много хороших слов сказано.

Так мы узнали, что легендарный Василий Клочков имеет родственное отношение к нашей Бабане и, значит, к нам.

Бабаня тоже была личность. Вот она держит в руках двадцать копеек и говорит, глядя куда-то вбок:

– Ну-ка, внучек, чегой-то я не пойму: пятнадцать, что ли, это копеек?

Так она проверяет нашу честность. Оступишься – тут же получишь от неё по загривку. Рука у неё была крепкая и костистая.

БЕРЕГ РЕКИ

На берегу реки было два чуда: музыка и кино. Музыка звучала вечерами на спортивных станциях «Динамо», «Локомотив», «Буревестник». Эти станции представляли собой небольшие деревянные дебаркадеры, над которыми поднимались вышки для прыжков в воду. Деревянные понтоны, пригнанные друг к другу, составляли правильные четырёхугольники, примыкавшие к дебаркадерам. Таковы были бассейны.

Мы купались точно в такой же воде, какая была в бассейнах, но там, всего лишь в нескольких метрах от нас, шла совершенно иная жизнь. Особенно примечательной она была вечером, когда на спортивных станциях зажигались огни – зелёные, красные, жёлтые. Пловцы сидели и стояли у самой вышки. Парни – в белых брюках, теннисках или футболках, в белых ботинках из парусины, начищенных зубным порошком, девушки – в лёгких цветастых платьях. Они смеялись, переговаривались и слушали музыку.

Да, в музыке-то и было всё дело.

Мы садились на песок и тоже слушали новые песни, старые, которые полюбили, а плохая музыка, как мы считали, здесь не звучала.

*Через реки, горы и долины,
Сквозь огонь, пургу и чёрный дым
Мы вели машины, объезжая мины,
По путям-дорожкам фронтовым...*

Мы тихонько подпевали, улыбались, и на душе у нас было очень хорошо. Потом звучало танго, и пловцы танцевали. Парни держались прямо, делали замысловатые «выходы». А грудной, мягкий и чуть загадочный голос певицы проникал прямо в сердце:

*В этот час, волшебный час любви,
Первый раз меня любимой назови,
Подари ты мне все звёзды и луну,
Люби меня одну...*

Да, была пора первых влюблённостей, пора ожидания какой-то новой, необыкновенной жизни. Казалось, ещё день, два – и она наступит.

Эти смутные ожидания нового, как я теперь понимаю, заставили брата поскорее оставить школу. Мы тогда уже жили на улице Октябрьской, в доме 24, где отец получил квартиру.

Анатолий пошёл учиться в строительный техникум. Отец выбор одобрил: теперь, после войны, строители очень нужны.

Но скоро я заметил, что и о техникуме, и об учёбе Толя ничего не говорит. Мне было интересно, я задавал вопросы, а он или отшучивался, или занимался своими делами – чаще всего «моторчиком». Это была самодельная радиолка, которая довольно неплохо работала. Детали (адаптер, динамик и т. д.) доставались самыми разнообразными путями, иногда фантастическими. Как и пластинки. Рядом с чёрными рентгеновскими плёнками, на которых были записаны любимые песни, появились и толстые пластинки Апрелевского завода – арии из опер и оперетт.

В тот год на гастроли в Саратов приехала оперетта из Иванова. Нам очень понравился «Вольный ветер», и мы с ума сходили от куплетов Фомы и Филиппа:

*Есть у нас один моряк,
Он бывал во всех морях,
Где не плавал ни Колумб, ни Беринг...*

Однажды нашу музыку прервал нежданный визит. Пришла незнакомая худая женщина в очках, в потёртом пальтишке.

– Я куратор курса, на котором учится ваш сын Анатолий...

«Куратор» прозвучало как «экзекутор».

– Вы знаете, что Анатолий второй месяц не ходит в техникум?

Отец и мать не нашлись, что ответить, только глазели – то на педагога, то на Толю.

От чая куратор отказалась, ушла, получив заверения, что будут приняты самые строгие меры... вплоть до ремня.

– Ну, чем же ты занимался? – грозно спросил отец.

– В кино ходил... в театр.

– Куда?

– В театр. На оперетту.

– Вот как! В оперетку, значит! Поглядите-ка, выискался ценитель субреток!

Повисла тягостная пауза. Было слышно, как всхлипнула мама. Слово «субретка» я услышал впервые и запомнил его.

– А где же ты деньги брал? – вдруг спросила Бабаня.

– Две простыни на Пешке толкнул.

Пешкой назывался рынок.

– А-ба! – Бабаня всплеснула руками. – А я-то их обыскалась!

Отец сжал кулаки. Говорил, срываясь на крик, что в шестнадцать лет был в ЧОНе, в двадцать – председателем завкома.

Толя был бледен.

– Я отдам... Пойду на завод...

– На какой завод? – ужаснулась мама.

– Весоремонтный. Я уже ходил, спрашивал...

– Почему весоремонтный? – несмотря на драматичность ситуации, отец неожиданно хихикнул.

– Потому что он в центре города...

Действительно, в самом центре города был завод. Там ухал молот, что-то гремело и скрипело, и, когда я проходил мимо (рядом был кинотеатр «Ударник»), мне делалось страшновато: отчего там, за железным забором, так сильно гремит? И вот как раз в этот гром и скрежет, в это пекло и полез Анатолий. Он стал слесарем-инструментальщиком.

Я не мог не заметить, что Толя довольно быстро переменялся – раздался в плечах, стал серьезней. Но стоило ему после работы поесть и немного отдохнуть, как я, нетерпеливо поёрзывая на стуле, говорил:

– Ну что, идём?

Толя нарочно тянул, делал вид, что идти ему куда не хочется.

А потом резко вскакивал:

– Вперёд!

И мы неслись в кино.

Наш дом неподалёку от Волги. Рядом были и «Пионер», и «Центральный», но мы мчались в «Синий платочек» – так мы называли кинотеатр, стоящий на берегу Волги. Это был огромный деревянный сарай, выкрашенный, как и пивные ларьки, голубой краской. Сидели на длинных скамейках, врытых в землю. Пол земляной, ноги мёрзли. Зато почти всегда здесь можно было достать билет, а иногда прошмыгнуть и без билета.

Как из волшебного мешка, на экран нашего «Синего платочка» каждую неделю вытряхивались фильмы. «Индийская гробница», «Железная маска», «В сетях шпионажа!» А то и вовсе убийственное – «Тарзан»!

Удивительно, как среди этой мешанины кислого с пресным, талантливого и пошлого Толя сумел разобраться, отделить зёрна от плевел.

Откуда нам было знать, какие фильмы смотреть, а какие нет? В школе об увиденных фильмах можно было только шушукаться – официально смотреть их нам запрещалось. Да и что могли знать наши учителя о Лоуренсе Оливье или Чарльзе Лаутоне, Вивьен Ли или Марлен Дитрих? Прочесть о знаменитых актёрах, режиссёрах было негде, разве что на неряшливых фотографиях, которые покупались на базаре. По этим перепечаткам кинокадров, «карточкам», мы и узнали, что в «Тарзане» играет Джонни Вейсмюллер, а в «Двойной игре» – любимица девчонок Жанетта МакДональд.

Толя пришёл в восторг от Чарльза Лаутона. Разумеется, тогда мы не знали фамилии этого прославленного английского актёра, любовь к которому брат сохранил до последних своих дней. Мы просто посмотрели «Мятежный корабль» и запомнили актёра, который сыграл капитана Блая.

После «Мятежного корабля» мы посмотрели другой английский фильм – «Рембрандт».

Картина только началась, а Толя радостно шепнул мне:

– Это он!

- Кто – он?
- Артист, ну, в «Мятежном корабле».
- Да ты что?

Лаутон в образе великого живописца был совсем-совсем иным, и я не узнал актёра.

– Говорят тебе: это он! – шепнул Толя и отодвинулся от меня в знак презрения.

Фильм нам понравился гораздо больше, чем «Мятежный корабль», особенно финальная сцена. Теперь я понимаю, что она сделана сентиментально, с явным расчётом на мелодраматический эффект, но тогда она нас буквально пронзила...

Вот нищий старик – опустившийся, с лицом, изрезанным морщинами, в котором мы с трудом узнаём великого художника – подходит к сторожу и просит его: «Пусти меня, мне надо посмотреть картину...» Сторож мнётся, и тогда Рембрандт даёт ему золотой. Проходит в зал, видит свой «Ночной дозор»... Картина в пыли.

Рукавом художник стирает пыль, и лица на полотне словно оживают, смотрят на нас... Рембрандт улыбается. «Почему ты смеёшься, безумный старик?» – спрашивает сторож. «Я смеюсь потому, что не зря прожил жизнь», – отвечает художник, и глаза его зажигаются тем самым огнём, который горел, когда он писал «Ночной дозор»...

С годами я понял, что нравилось Анатолию в кино: исключительная правдивость.

Мы стали «собирать артистов». Завели альбом, аккуратно вклеивали туда фотографии.

Мама сохранила этот альбом. Там фото Михаила Жарова – он подписывает подбородок так, чтобы были видны наручные часы; там узенькая ленточка – кадры из «Возвращения Василия Бортникова»; там Лоуренс Оливье и Вивьен Ли в фильме «Леди Гамильтон», там целый мир...

«ПЕЧАТЬ СТЕРЕТЬ НЕЛЬЗЯ»

– Д'Артаньян пустил в ход свой излюбленный приём – терц! – крикнул я и сделал глубокий выпад.

Удар отбили, шпага согнулась, а мой противник захихикал.

Нашими самоделками не очень-то пофехтуешь. Вот если бы достать настоящую папиру! Я её видел только в кино и на рисунках, не знал, разумеется, и что это за приём – «терц», но всё равно фразы из любимой книги произносились с восторгом.

Сражались мы отчаянно – на берегу Волги, на улице, но чаще всего во дворе, носясь по крышам сараев. Наша Октябрьская улица наклонно спустилась к Волге. Соседний двор, за сараями, был значительно ниже нашего, и, когда тебя теснили к самому краю крыши, приходилось прыгать с довольно приличной высоты. Однажды я прыгнул на доску с торчащим ржавым гвоздём.

Никто из ребят не смог выдернуть гвоздь из ступни, и в больницу меня доставили вместе с доской, как бы приколоченной к ноге.

Родители наказывали нас и безжалостно уничтожали шпаги, доставалось нам и от владельцев сараев, но всё равно мы не сдавались, вновь и вновь закручивая мушкетёрскую карусель.

Когда Анатолий пошёл работать на завод, к «Трёх мушкетёрам» он заметно поостыл. А я всё продолжал бредить этой книгой, считая её луч-

шей на свете. Я готов был отдать все книги нашей библиотеки за трилогию о мушкетёрах. Но достать её никак не удавалось.

– Ну что ты упёрся в одну книгу! – возмущался отец. – Шырь-пырь, вот и вся литература. Толька уже Горького читает, а ты?..

Отец просматривал книги, которыми я зачитывался, и горестно вздыхал: это были сплошь приключения. Я тоже вздыхал, а про себя думал: «Горький! Где ему до Дюма!»

В то «мушкетёрское» лето, помнится, в нашем дворе появился красивый мальчик Серёжа. Он отличался от нас – причёской (волосы расчёсаны на пробор), вельветовой курточкой на молнии, брюками по росту, чёрными, совершенно целыми и начищенными полуботинками. Выходило, что он не играет в футбол. Но всего удивительней были глаза Серёжи – их выражение менялось так часто, что я не мог понять, говорит ли он всерьёз или просто-напросто издевается.

Я запомнил его глаза: почти круглые, размытого серого цвета, с карими крапинками. Эти крапинки становились особенно заметными, когда Серёжа чего-то хотел добиться. А добивался он многого, потому что многим и, как правило, заветным располагал.

– Я тебе могу достать настоящую шпагу, – однажды сказал он, рассматривая наши альбомы с марками.

– Шпаги только фехтовальщикам дают, в «Динамо».

– Вот там и украду, – он улынулся, карие крапинки в его глазах чётко обозначились и как бы задвигались. – А ты дашь мне пятьдесят марок на выбор.

– Пятьдесят? Почему не сто?

– Сто тебе брат не разрешит. А пятьдесят – разрешит.

Крапинки в его глазах остановились и поблёкли. Равнодушно он стал показывать, какие бы марки взял. Я не мог не заметить, что отобрал он самые лучшие. Он уже хотел уйти, когда я его спросил, правду ли он сказал насчёт кражи.

Серёжа поглядел на меня, как будто забавляясь:

– Пошутил, чудо-юдо! Просто у меня есть один знакомый.

Серёжа ушёл, а я места себе не находил. Кое-как дождался брата, сразу же всё ему рассказал. Надежда на обмен у меня была слабой: Толя в то время больше марок ценил лишь книги.

Ходили мы на почту, где собирались «марочники». Толя познакомился с Александром Ивановичем Князевым, известным в городе филателистом. Несколько раз я удостоился чести побывать у Князева дома. Запомнились низко висящий над столом шёлковый абажур с кистями, мягкое кресло, шкаф со шторками на дверцах, а там, за шторками, – сокровища в толстых альбомах с кожаными переплётами.

Князев учил нас понимать смысл изображений на марках, учил системности, то есть серьёзной филателии. У Князева было худое аскетическое лицо, седые волосы, длинные пальцы. Пинцетом он доставал марки из-под прозрачных горизонтальных полосок, наклеенных на картонные листы.

Марки, схваченные пинцетом за уголок, напоминали диковинных бабочек. Александр Иванович произносил названия стран, и они звучали как музыка:

– Мадагаскар. Конго. Берег Слоновой Кости. Таити...

О чём только не думалось, когда мы рассматривали изображения на этих ярко раскрашенных кусочках волшебной бумаги!

Марки и книги собирались с большим трудом, за счёт всяческой экономии и обменов, а иногда и желудка: бывали случаи, когда хлеб, оставленный нам на обед, мы несли на рынок и продавали.

– Шпага, конечно, вещь, – размышлял Толя. – Но ведь ты пофехтуешь с месяц и бросишь. А где потом такие марки достанем?

Я согласился, но вид у меня, наверное, был такой убитый, что через некоторое время Толя смилостивился:

– Ладно, пусть твой оглоед радуется.

И вот она у меня в руках – настоящая рапира. Лезвие длинное, с крохотным кругляшком на конце. Эфес выгнут с изумительной плавностью. Тяжесть оружия упоительна.

Я становлюсь в позицию и выбрасываю руку вперёд, и мне кажется, что на мне белая рубашка с кружевами, а передо мной граф Рошфор. Сейчас я расправлюсь с ненавистным врагом...

В тот же день начались мои несчастья. Самоделки ребят гнулись и ломались, а когда я поцарапал соседа Юрку, сражаться со мной отказались.

– Иди отсюда со своей рапирой! – орал Юрка, вытирая кровь.

Я зло смеялся и, уходя, что-то обидное кричал в ответ. Ещё не понимая, что остался один, я нёс рапиру как победитель, как самый лучший фехтовальщик.

Пришёл с работы Толя. Посмотрел рапиру, сделал несколько выпадов, улыбаясь.

– Защищайся! – И глаза его заблестели.

Укол. Мы поменялись оружием. Я бросился в атаку, желая продемонстрировать, какой я непревзойдённый фехтовальщик. Раз! Два! Рапира поднялась вверх и ткнулась Толе в лицо. Он бросил скрюченную самоделку и схватился за глаз.

В секунду воинственный пыл улетучился. Я стоял, не дыша.

– Намочи полотенце холодной водой, – сказал Толя. – Зеркало дай.

Я мгновенно всё выполнил. Когда он отнял полотенце от глаза, я увидел, что бровь его вспухла и стала багрово-синей.

Какой-то сантиметр – и Толя остался бы без глаза.

Страх постепенно проходил. Можно было говорить и даже пошутить над фингалом, но как-то не хотелось.

– Спрячь, – показал Толя на рапиру. – Матери скажу, что на заводе поцарапало. А ты молчи.

Мы так и сделали. На следующий день синяк у Толи поулавился, окончательно стало ясно, что беда миновала, но к рапире я больше не притрагивался.

Она так и стояла за шкафом, пока Серёжа меня не спросил, почему я не фехтую. Я ответил что-то невразумительное.

– А хочешь – махнёмся? – предложил он. – Я тебе дам за рапиру «Всадника без головы». Или другую книжку выберешь, у меня их много.

Я сразу согласился и побежал за рапирой.

Книги у Серёжи оказались как на подбор. Глаза у меня разбегались, и это очень нравилось Серёже.

– Где достал? – я перебирал книги, не зная, на какой остановить выбор. – А где же «Мушкетёры»?

– Там есть, надо только подкарауливать. Пойдёшь со мной?

Потешаясь над моим замешательством, он объяснил:

– Книги – в библиотеке. Берутся очень просто. Один разговаривает с библиотекарьшей, а другой в это время спокойно суёт книжку под ремень.

Он продемонстрировал, как это делается. Его курточка на молнии прикрывала книжку так, что её не было видно.

– Нет, воровать я не буду.

Серёжа перестал улыбаться и пожал плечами.

– Ты пойми, это не пирожки с капустой, а книги. Где их ещё взять? У бары? Может, у тебя много денег?

Я молчал, и он сумел уговорить меня. Мол, ничего от меня не надо, только поговорить с библиотекаршей, а всё остальное он сделает сам.

Всё прошло как по маслу, вот только Дюма в тот раз в библиотеке не оказалось, и Серёжа утащил другие книги. Он меня хвалил, веселился, а когда пришли к нему домой, дал мне и «Трёх мушкетёров», и «Двадцать лет спустя» – оказалось, что они у него были припрятаны.

– Ещё пару раз сходим – получишь «Виконта», договорились?

Он стал показывать мне, как сводятся библиотечные печати – мочил ваточку соляной кислотой и аккуратно протирал страницы. Вместо печати оставалось желтоватое пятно с небольшими подтёками по краям.

Вечером я показал книги Толе.

– Неплохо. – Он смотрел то на титульный лист, то на семнадцатую страницу. – Хорошего ты себе нашёл друга...

– Чем он тебе не нравится? – с каким-то гадким чувством спросил я.

Сразу вспомнилась грузная, как бы оплывшая библиотекарша в очках, её седые кудельки, улыбка. Она нахваливала нас за то, что мы такие хорошие мальчики, что так любим книгу. Я, не зная, о чём с ней говорить, начал с того, что в библиотеке много потрёпанных книг, что можно взяться их подклеить. «Молодцы, молодцы, – говорила она, – приходите, я для вас оставлю самые интересные книги». И я улыбался и обещал прийти.

Да неужели это был я?

– Понимаешь, – говорил Толя, – любой настоящий книжник как возьмёт в руки эти вещи, так сразу поймёт, что они краденые. След остался, видишь? – Он показал на титульный лист, потом на семнадцатую страницу. – Ты же знаешь, что марки бывают с надпечатками и без них. Помнишь, Князев рассказывал, что из-за печати некоторые марки перестают цениться? Есть ловкачи, которые получше твоего Серёжи сводят печати. Но рано или поздно это всё равно становится известным. Печать стереть нельзя, понятно тебе?

...Много лет спустя мы смотрели с братом новый фильм, имевший успех. Фильм мне понравился, особенно режиссура – смелая, новаторская.

– Всё так, Лёшенька, – грустно заметил Анатолий. – Только несколько лет назад я видел один французский фильм. Называется «Шербурские зонтики». Там тоже парень и девушка любят друг друга, а потом его забирают в армию. И она выходит за другого. Они тоже время от времени поют. Правда, музыка у французов раз в сто лучше. Других отличий нет... Печать стереть нельзя, я же тебе говорил, помнишь?

Он закурил, и лицо его было сосредоточенным, печальным – как тогда, в юности.

После десятилетки Анатолий трижды поступал в театральный институт в Москве, но так и не был принят. В Свердловске (ныне Екатеринбург) открылась театральная студия, и я, уже студент факультета журналистики Уральского университета, вызвал телеграммой брата. В студию его наконец приняли. Закончил он учёбу с отличием, был оставлен работать в Свердловском академическом театре драмы.

КИНО КАК ВОЛШЕБСТВО

Короткометражка называлась «Дело Курта Клаузевица».

Случай сводит двух раненых солдат – русского и немца, роль которого поручили Анатолию. Ситуация, в которой оказались герои картины, проявляет нравственные возможности каждого. Перед героем Анатолия открывается прекрасная душа русского солдата, и это переворачивает все его представления о жизни.

Легко увидеть в этом сюжете некую сконструированность. Но режиссёр и актёры сумели преодолеть искусственность сюжета, напитать его жизнью...

Это был первый фильм молодого режиссёра Свердловского телевидения Глеба Панфилова.

– Кино, – размышлял Толя, – такое странное искусство! Совсем не похоже на театр. Роль получается по каким-то своим законам. Кто их знает? Многие только притворяются, что знают. Поработать бы, разобраться... Но где и с кем? В театре ничего не предвидится. То, что делаю сам, – всё же не то.

На столе лежал журнал «Искусство кино», я раскрыл его. Ну да, это тот самый номер, в котором я только что прочёл сценарий «Андрея Рублёва». Прочёл единым махом – новая, доселе неведомая мне жизнь открылась во всей чистоте и трагизме.

– Ты читал? – спросил я брата.

Он странно улыбнулся.

Торопясь, я стал нахваливать сценарий, а он продолжал тихо улыбаться и смотрел куда-то вбок.

Когда я умолк, он наконец взглянул на меня.

– А что бы ты сказал, если бы я взял и поехал в Москву? Заявился бы к ним: мол, так и так, сделайте хотя бы пробу. Может быть, я вам подойду... А?

Я сразу не нашёлся, что ответить. Ехать в Москву к незнакомым людям, проситься на главную роль, да ещё на такую! Не зная не только броду, но и не ведая самой реки...

– Это такая роль, за которую не жалко отдать жизнь... Не веришь?

Говорил он так, что я поверил.

Через пару дней мне стало ясно, что Анатолий один почти не бывает – то и дело к нему на огонёк заходили самые неожиданные люди. Приходили «учёные мужи», рабочие театра, студенты, да кто только не приходил! И каждому он старался чем-то помочь, каждый считал его своим личным, единственным другом.

...Командировка моя заканчивалась, я улетал из Свердловска. Мы прощались, не зная, когда снова увидимся. Толя бодрился:

– Ничего, в Москву я всё-таки слетаю... Будь что будет!

Так он и сделал.

Не один раз мы говорили с братом об этом его поступке. Не один раз актёры, особенно молодые, спрашивали его, почему никому не ведомый провинциальный актёр был утверждён на центральную роль. Он и сам толком не знал, почему режиссёр остановил выбор именно на нём.

Фотопробы получились удачными, и через некоторое время Анатолия вызвали в Москву. Были первая, вторая, третья кинопробы – через длительные паузы, через мучительные ожидания.

Позже он узнал, что играл слишком театрально – да и мог ли иначе? Но режиссёр увидел, что эту театральность можно убрать во время съё-

мок. Важнее всего для него оказалось соответствие душевного склада актёра и персонажа. Весь худсовет был против утверждения Анатолия на роль. Даже многоопытный Михаил Ромм уговаривал молодого режиссёра отказаться от выбора актёра из провинциального театра. Тогда режиссёр, чтобы ещё раз проверить себя, собрал все фотопробы на роль Андрея Рублёва и поехал к реставраторам – специалистам по древнерусскому искусству. Он разложил перед ними фотографии и спросил:

– Который из них Рублёв?

Не сговариваясь, они указали на фото Анатолия.

Но всё это брат узнал потом, много лет спустя, а пока он ходил в театр, играл никчемные роли и ждал, ждал, ждал.

В те дни мне позвонил из Свердловска студенческий друг. Кто-то ему сказал, что брат утверждён. Я побежал на почту и дал радостную телеграмму. Письмо Анатолия радость мою погасило:

«Лёша!

Получил поздравительную телеграмму – спасибо. Должен только огорчить. Твой восторженный друг принял желаемое за действительное. Меня не утвердили пока и, по симптомам, не утвердят.

Что всех взбудоражило? Моё желание играть. Я три раза вызывался в Москву на пробы, стал эдаким претендентом номер один, не более. Сегодня приехал один оператор московский и сказал, что весь худсовет против меня.

Но не беда! Подождём новых ролей – они будут.

В Свердловске (театральный мир болтлив) все поздравляют меня. Глухое положение. Я не утверждён, а все уверены, что буду сниматься. Встряска была хорошая – измотал нервы и деньги, взбудоражил всех друзей, родных, знакомых, театр, а море не зажёг.

Ну, не беда! Пиши.

Крепко обнимаю, целую.

Только. 24.01.1965 г.»

Окончательно всё стало ясно в апреле. Он мне рассказал:

– Я хорошо помню, как однажды вдруг проснулся глубокой ночью. Какое-то беспокойство владело мной. Что-то тревожное, невыразимое. Я встал, вскипятил чай, курил. Но странное чувство не проходило. С большим трудом дождался рассвета. Побрился, пошёл в булочную. А когда возвращался домой, в подъезде столкнулся с почтальоншей, пожилой такой женщиной маленького роста. Она вручила мне телеграмму. Я прочёл, что вызываюсь на съёмки.

Вот его письма той памятной весны:

«Лёша!

Я уже десять дней в Москве. Брожу по музеям, Кремлю, соборам, читаю замечательную литературу, встречаюсь с любопытными, талантливыми людьми.

Подготовка.

Съёмки начнутся 24–26 апреля во Владимире. Как всё будет, не знаю. Сейчас мне кажется, что я не умею ничего, ничего не смогу – я в растерянности.

Меня так долго ломали в театре, так долго гнули – видимо, я уже треснул. Я отвык от настоящей работы, а в кино, ко всему, ещё особая

манера. Слишком много сразу навалилось на мои хилые плечи. Я не привык носить столько счастья, носил всегда кое-что другое.

Ну, посмотрим! Целую, обнимаю.

Толька. 20.04.1965 г.»

«Лёша!

Вот и выкроил время черкнуть тебе пару слов о своём житье. Съёмки для меня ещё не начались. Передвигают их без конца. Теперь срок первых дублей – 8–10 мая. Финальная сцена. Начинаю с конца – такое может быть только в кино! Хожу по владимирским соборам, читаю. Все заняты делом – съёмки-то фильма уже идут, а я жду своей участи. В общем, предоставлен сам себе.

Утверждение на роль шуму наделало много, а мне, бедному, прибавилось ответственности. По Москве ходит слух о новоиспечённом таланте, все ждут необыкновенного. Вся группа ждёт первых съёмок со мной, ждёт – вот выдаст! А я-то и не выдаю! Ха-ха. Вот разговор-то будет.

Во Владимире будем числа до десятого. Потом, видимо, будет Суздаль. Хоть покатаюсь – посмотрю.

Обнимаю.

Толька. 7.05.1965 г.»

«Лёша!

Что же ты меня совсем забыл? Я вам редко пишу – так это мой порок, моя ахиллесова пята. А ты-то, писака?

До 4–5 июля буду во Владимире, можешь черкнуть прямо на гостиницу. А лучше всего бы – взял и приехал. Когда у тебя отпуск? Помог бы мне.

Мои дела похожи на... да ни на что они не похожи. Трудно безумно. Надо всё начинать сначала. Всему учиться заново. Меня учили добиваться смысла, смысла во всём, а киноигра – это высшая, идеальная бессмыслица. Чем живей, тем лучше. Надо жить, а не играть – это и легко, и очень трудно...

Вчера посмотрел весь отснятый мой материал. Сидел в просмотрном зале и был похож на комок нервов. Посмотрел и понял: идёт внутренняя ломка. Есть уже терпимые кусочки, но ещё идут они неуверенно, зыбко. Надо продолжать работать...

Ну, обнимаю, целую.

Толька. 22.06.1965 г.»

...И вот я во Владимире. Толя обнимает меня, улыбается.

А лицо худющее, бледное, как после болезни. Длинные волосы упрятаны в кепку и под воротник пиджака.

– Зачем это? – удивляюсь я.

– Понимаешь, лысину на макушке закрываю нащёпочкой, а остальные волосы, то есть их остатки – мои, – он смеётся. – Так лучше, живые волосы получают. На днях я зашёл в магазин, один парень говорит: «Гляди-ка, попы стали за булками ходить».

Вот и купил кепку.

Мы заходим в гостиницу, и я сразу вижу, что стандартный номер вовсе и не номер, а рабочий кабинет: мебель поставлена по-своему, на столе книги, на стенах репродукции «Троицы», «Спаса», несколько великолепных фотографий со съёмочной площадки – по привычке Толя уже успел «обжить»

своё жилище. Маленький столик он быстро накрывает, и всё, что нужно, у него под рукой.

– Ты как будто тут долго жить собираешься...

– Долго. – Он смотрит на меня серьёзно. – Такой ролью нельзя заниматься между делом. Вот что я решил... Буду со съёмочной группой всё время, до последнего дня работы.

– А театр?

– Из театра я уже уволился.

– Как?

– Вот и в труппе такой же вопрос задали: мол, а что ты будешь делать после фильма? Знаешь, Лёша, мне показалось, что этот мой шаг произвёл впечатление на Тарковского... Кажется, у нас начали складываться нормальные отношения – после того, как он посмотрел материал финальной сцены. А то мне всё казалось, вот сейчас позовёт и скажет: «До свиданья, вы нам не подошли». Да ты ешь. У тебя-то как?

Мои дела кажутся мне мелкими и совсем не интересными.

– Да что там у меня... Скажи, что он за человек?

– Сам увидишь. Сегодня вечером будем смотреть материал. Я попросил, чтобы ты был со мной. Всячески тебя нахваливал. Он пригласил нас к себе. Потолкуем.

Поздно вечером в кинотеатре я впервые в жизни смотрел не фильм, а материал будущего фильма. Это была та сцена в гречишном поле, когда Даниил Чёрный (Николай Гринько) уговаривает Рублёва приступить к работе, а тот отказывается, потому что ещё не решил, как и что надо писать.

Склонившись ко мне, Анатолий тихонько шептал текст – я и не знал, что материал показывается немым, а озвучивание происходит потом, на студии. Разобраться, как играют актёры, было трудно. Я понял лишь одно: сцена снята очень выразительно, её пластика максимально приближена к живописной работе самого высокого класса. Но как эта сцена будет взаимодействовать с другими? Надо ли актёрам так житейски, почти хроникально существовать в кадре? Я ждал открытых эмоций, взрыва чувств, то есть игры... А видел совсем иное.

Мы шли в гостиницу вдвоём, и брат задал сакраментальный вопрос:

– Ну как?

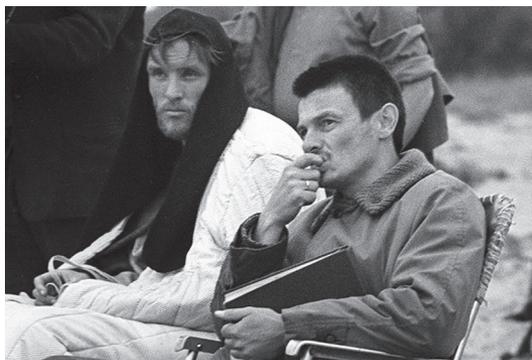
Я сказал о том, что думал. Толя прерывисто вздохнул.

– В том-то и дело, Лёшенька, что в кино нельзя играть. Он мне каждый день говорит, что всё должно быть внутри, в душе, а внешнее выражение – предельно лаконичное, предельно, понимаешь? Я и сам этого никак не могу понять. Понял лишь одно: кино и театр – совершенно разные искусства. Абсолютно разные. Понять бы ещё, что такое кино! Он-то понимает.

– Ты ему веришь?

– Да.

Признаюсь, Андрей Тарковский сильно занимал моё воображение. Ведь с первой же картины он получил мировое признание. Именно этот режиссёр поверил в моего брата, добился его



С Тарковским на съёмках «Андрея Рублёва»

утверждения на главную роль в картине, которая, судя по сценарию, обещала быть незаурядной.

Анатолий волновался. Волнение передалось и мне. Про себя я решил: ну, заведу такой разговор, чтобы не ударить в грязь лицом. Покажу, что и мы не лаптем щи хлебаем.

Нас встретил человек невысокого роста, по виду почти юноша. Жёсткие чёрные волосы, жёсткая чёрная щётка усов. Очень тёмные, с блеском глаза.

Он заговорил о чём-то житейском, но очень быстро разговор переключился на литературу. Я только что прочёл «По ком звонит колокол» и был в восторге от Хемингуэя. Спросил, нравится ли ему роман. Он улыбнулся насмешливо:

– Это вестерн.

Кажется, от удивления у меня открылся рот.

– Вам не понравилось?

– Что значит «не понравилось»? Я же говорю: вестерн. Такая американская литература, где всё ясно, как в аптеке.

Вот это да! Он рисуется или говорит искренне?

Тогда я заговорил о повести Стейнбека «О мышах и людях» – недавно прочитал её в журнале. Может, такая литература ему больше по душе?

– Это написано ещё хуже. Игры в психологию. – Он посмотрел на брата. – Понимаешь, Толя, интересно искусство, которое касается тайны. Например, Марсель Пруст.

Он стал пересказывать сцену из романа «В сторону Свана».

...Мальчик едет по вечерней дороге. Три шпиля собора в глубине долины по мере движения путника поворачиваются, расходятся, сливаются в одно, прячутся друг за другом. Мальчик ощущает странное беспокойство, оно томит его душу. Почему? Что его мучает? Мальчик приезжает домой, но беспокойство не проходит. Тогда он садится к столу, записывает своё впечатление. И душа его успокаивается.

– Понимаешь, Толя, – говорил режиссёр, увлечённый рассказом, – тут прикосновение к тому, что не передаётся словами. И в нашем фильме мы будем идти в эту же сторону. Труднее всего придётся тебе, потому что твой герой примет обет молчания. Понимаешь?

Анатолий слушал режиссёра с напряжённым вниманием, впитывая как губка всё, что тот говорил.

Речь зашла о кино, и этот по виду такой молодой человек стал размышлять глубоко и сильно. Он развивал мысль о том, что фильм не должен пересказывать сюжет. У кино – свой язык. Надо отыскивать свою пластику, ритмы и через них, а не через театральные диалоги открывать человека. Сейчас предстоит показать жизнь человека, который без остатка отдаёт свою душу Богу. Слова были как будто хорошо знакомы и в то же время совершенно новые.

Когда мы вернулись в комнату Анатолия, брат сказал:

– Он ставит такие задачи, что мозги плавятся. Не знаю, выдержу ли. Эх, кино... Помнишь, у Бальмонта: «Поэзия как волшебство»? Похожую формулу и мой режиссёр внедряет: «Кино как волшебство». Он-то чувствует себя способным на создание великой картины. А я никогда так себя не почувствую.

– Вот и хорошо. Что мне в твоём мэтре не понравилось, так это его самоуверенность.

– Ну, бывают свойства и похуже... Спи, завтра съёмка...

ПРИТЯЖЕНИЕ

Мы вышли из автобуса и огляделись.

– Сюда! – Толя показал вправо, и мы пошли к невысоким деревянным домикам, за которыми возвышались каменные своды дворца Андрея Боголюбского.

Было тепло и тихо. Деревенская улица очень напоминала наш 12-й Вокзальный проезд в Саратове, и я сказал об этом.

Толя улыбнулся:

– Да, Лёша, это наше, родное. И как подумаю, что мог всего этого не увидеть, – он показал на дворец, – прямо страшно становится. Мы как в темноте живём, ничего не знаем и не помним. Знаешь, кто такой Андрей Боголюбский? Только не ври.

– Не знаю.

– Вот. А ведь это великий человек переломного времени. Закат Киева, возвышение Владимира, сюда переносится центр Руси. Стой. Мы с тобой поднимаемся по ступенькам, которым почти восемьсот лет. Да не торопись... Здесь он полз, когда его убивали.

– Кто убивал?

– Да их человек двадцать было, а главарём, как пишет летописец, был Пётр, зять Кучки. Они к князю ворвались, стали бить его мечами, а было так темно и тесно, что закололи своего. Представляешь, как страшно убивали! Ушли, а потом слышат стоны – поняли, что не добились князя. Стали его искать по кровавым следам, нашли. По-моему, князь Андрей как раз тут и сидел... Петр-предатель отсёк ему руку. А рядом стоял Анбал, ключник, то есть самый доверенный человек... Да ты прочти «Убиение Андрея Боголюбского» – мороз по коже!

Мы вошли во дворец. Обычное запустение царило там, но слова брата заставили меня иначе смотреть на мёртвые камни.

– Этот самый Анбал, – продолжал Анатолий, – у князя Андрея вечером меч украл. А меч был святого Бориса, который предпочёл смерть, но на старшего брата руку не поднял. Вот тут какой клубок.

– Очень уж кровавый.

– А ты как думал – это же средневековье, борьба за трон. А мы историю привыкли представлять по оперным спектаклям. Вот и Тарковского уже начали бить: зачем жестокость показываешь?

От дворца Андрея Боголюбского мы пошли к храму Покрова на Нерли. Анатолий повёл меня не по туристской дороге, а через поле, по тропе. Вился над нами жаворонок, пел, горластый. Небо было ясным и синим, а впереди, на взгорке, стояла белая церквушка. Я не понимал, зачем мы идём к ней – такой маленькой, казалось – обыкновенной.

Анатолий ничего не говорил, шёл впереди, не оглядываясь. Лишь однажды остановился и сказал:

– Смотри вперёд внимательно. – И показал на церквушку.

Идти было хорошо, потому что всё вокруг дышало покоем, теплом. Церковь приближалась, становилась всё выше и выше, и вот тут душа моя дрогнула. Я во все глаза смотрел на церковь: она становилась всё белей, все звонче, все прекрасней... Её стройность была нежной, почти неземной.

Мы подходили к храму всё ближе и ближе, и чудо продолжалось. Теперь я видел не церквушку, а творение великих зодчих, которое неведомо почему было величаво и скромно одновременно.

Анатолий оглянулся, увидел слёзы в моих глазах и радостно улыбнулся.

– Вот где душа-то русская поёт... Ах ты, девушка моя, красавица... – он разговаривал с храмом как с живым существом.

Долго мы не уходили от храма. Я думал: как же посреди жестокости, кровавой междоусобицы могло вырасти это чудо?

Теперь яснее мне становились замысел фильма, характер героя, который Анатолию предстояло воплотить на экране. Понятней стали и мучения брата, его сомнения в своих силах, в самой возможности показать иконописца, способного на такой духовный подвиг. Ведь шедевры Рублёва и храм Покрова на Нерли – явления одного духовного ряда.

Прошло много лет с той поры. И вот я читаю воспоминания Николая Гринько – «батьки Гринько», как называл Николая Григорьевича Анатолий. Написал их замечательный актёр по моей просьбе.

«...Нашим основным эпизодом в картине было объяснение Андрея и Данилы Чёрного (моя роль) перед уходом из Андроникова монастыря. Гонимцы сообщают Рублёву, что великий князь призывает его расписывать храм. Андрей соглашается, неволью радуясь, что именно его призывает великий князь. На какое-то время он забывает обо всём другом, в том числе и об учителе Даниле Чёрном. А ведь им предстоит расстаться. Данила и Андрей дороги друг другу, а тут между ними возникает отчуждение. Для Данилы, разумеется, обидно, что его обошли, что ученик даже не посоветовался с ним, а сразу дал согласие делать работу. С другой стороны, радостно, что к Андрею пришло признание.

Андрей в келье у Данилы просит принять исповедь. Он уже понимает, что допустил оплошность, что своей поспешностью ранил душу учителя. Он начинает говорить, заботясь лишь об одном: нельзя, чтобы нить, связывающая их, оборвалась.

Весь эпизод надо было сыграть с той простотой и задушевностью, которые исключают сентиментальность. Речь должна была идти о родстве высшего порядка – духовном братстве.

Я, уже привыкший к необычайной требовательности режиссёра, уже снявшийся в его «Ивановом детстве», с тревогой смотрел на молодого дебютанта. Сможет ли он выполнить непростые задания мастера? Мне очень хотелось, чтобы у него всё получилось.

Включились осветительные приборы, заработала камера. И с такой сердечностью, с такой робостью и любовью зазвучал Толин голос, что сразу же отозвались самые лучшие чувства, какие есть во мне... Сами собой полились слёзы...

Не зная, куда деть руки, Рублёв тёр пальцами стол. Пальцы у Толи были длинными, как у пианиста. Камера Вадима Ивановича Юсова всё видела. Свет был поставлен «рембрандтовский»: чёрное пространство вокруг персонажей, высветленные, с чёрно-серыми оттенками лица...

И эти Толины пальцы, и светлые, с затаённой болью глаза, и свет лунины, и голос его, и собственные слёзы – всё помню, всё...

Сейчас, когда думаю об этом эпизоде, мне он кажется просто пророческим: в самом начале нашей дружбы была заложена горечь прощания.

Его природное обаяние было главным подспорьем в работе. А если говорить о его чисто актёрских способностях, то я бы выделил трудолюбие.

Анатолий Солоницын был для режиссёров идеальным исполнителем. Потому что ради работы он готов был на любое самоотречение.

В «Андрее Рублёве» герой Солоницына даёт обет молчания. Анатолий более месяца не произносил ни единого слова.

Когда Рублёв заговорил – в самом финале новеллы «Колокол», в эпизоде с Бориской (а до этого он хранил обет молчания), – слова должны были вырваться, родиться, а голос должен звучать хрипло, надтреснуто. Конечно, режиссёр мог озвучить этот эпизод, пригласив какого-нибудь пожилого актёра. Но Анатолий считал, что артист обязан всё делать сам. Толя перевязал себе горло шарфом и так ходил перед озвучанием, и финальные фразы у него действительно родились и прозвучали с особой силой, выстраданностью, болью и надеждой...»

«У него как у человека было одно удивительное, редкое качество – притяжение, – рассказывает актёр Михаил Кононов. – Как будто он был окружён особым полем, вроде магнитного, и это поле притягивало к себе. Хорошо помню, как я приехал на съёмки во Владимир. Не знаю, как случилось, но только с первой же съёмки я потянулся к нему, как, думаю, тянулись к нему и другие люди. Причём замечу, что его окружали хорошие люди. И это не случайно. Потому что мы всегда ищем идеал – и в жизни, и в искусстве. Например, мы стремимся посмотреть великую картину. Подолгу стоим около неё. Приобщаемся к миру художника...»

Таким же притяжением обладают и книги. Это всё свет одухотворённости. Человеческие качества Анатолия были как раз такими.

Я это почувствовал больше интуитивно, чем осознанно. Мы стали с ним необходимы друг другу.

Я не могу сказать, как говорят некоторые: «И вот с этого момента мы подружились». Нет. Не было каких-то слов об этом, всё произошло само собой, очень естественно и органично.

Однажды я смотрел телефильм, или это была телепередача, не знаю. Детям задавали один и тот же вопрос: что вы больше всего любите и что не любите? Удивительно было услышать, что дети более всего не любят зазнаек, тех, кто выпячивается. Для Анатолия органически были отвратительны люди, которые служат ради почестей, наград. Самоотдача во имя людей – вот что он понимал и принимал в искусстве. Свою жизнь он не мыслил без такой самоотдачи. Это качество, как я думаю, вообще характерно для русского человека... Бескорыстие, честь, совесть – эти понятия как-то естественно в его жизни всегда стояли на первом месте. Во имя утверждения этих идеалов он, я думаю, и выбрал профессию актёра. Мне приходилось наблюдать разных актёров разных поколений, но редко я видел, чтобы кто-то понимал назначение актёрского дела так, как Анатолий. Конечно, он никогда не говорил об этом, просто сама его жизнь, сами работы были ответом на вопрос: как надо жить актёру, для чего работать? Его бескорыстие, духовность и помогли ему создать те образы, которые, я думаю, долго будут жить в киноискусстве.

Вообще, я думаю, что без этих качеств всякое искусство – а не только кино – невозможно...

Об актёре Солоницыне писали мало. Но я уверен: чем больше будет проходить времени, тем чаще к его творчеству будут обращаться, и значение его работ будет возрастать. Потому что духовность притягательна...

Часто говорят, что актёр как дитя. Но вот сохранить эту детскость удаётся очень немногим. Этим качеством Анатолий обладал в высшей степени.

Характерно, что его любили люди самых разных профессий: писатели, фотографы, художники, инженеры, врачи. Он мне как-то рассказывал, что один знаменитый артист однажды швырнул в лицо театральному сапожнику обувь, которую тот неважно шил. Этот случай так потряс Анатолия, что он запомнил его на всю жизнь. Артист был хорошим в профессиональном смысле, но для Анатолия с той минуты он просто перестал существовать.

В то время, когда актёры мечутся между телевидением, театром и съёмочной площадкой и считают это нормальным делом, а некоторые даже гордятся, Анатолий уволился из театра, чтобы заниматься только одной ролью, одной! С тех пор и я так поступаю, если у меня в руках оказывается серьёзная роль. А как же иначе?

После «Рублёва» мы с Толей встретились на другом фильме, у Глеба Панфилова, когда он снимал «В огне брода нет». И опять Анатолий работал с полной самоотдачей. Режиссёры, конечно, должны быть ему благодарны: очень редко встретишь такого актёра, который бы не спорил, не возмущался чем-то: текст там не тот или на площадке что-то не так – капризный актёр всегда найдёт, к чему придраться...»

«У Анатолия шло постоянное внутреннее накопление, поэтому он оказывался готовым к тому, чтобы играть разные роли, – говорит Кононов. – Он много читал, размышлял, поэтому, когда получал новую роль, то был готов на новые траты душевных сил.

Самое главное для него было – это работа. Ради роли он бросал насыщенное место, уезжал. Так он оказался в Новосибирске, потом в Таллине.

Он знал, что я мечтал сыграть Эрика Четырнадцатого в пьесе Стриндберга. Уговорил режиссёра, дал мне телеграмму. Я прилетел в Таллин. Спектакль поставить не удалось, зато нам удалось встретиться, вдосталь наговориться.

В обычной, бытовой жизни он был просто незащищён. Приедет на съёмку, ему скажут: «Нет мест в гостинице». «Ну и не надо», – отвечает. Другой бы всё перевернул, а Толя улыбнётся как ни в чём не бывало...

Не секрет, что работать в кино сложно, сложно и сберечь в себе лучшие качества, «не растерять их на дороге жизни», по выражению Гоголя. Никакая грязь, никакие дрязги не приставали к Анатолию – он перешагивал через них, шёл своей дорогой.

На мой взгляд, он больше принадлежал кино, чем театру. Кинокамера лучше передаёт жизнь души, оттенки переживаний человека, что было особенностью актёра Солоницына. Душа его была открыта всему доброму, прекрасному, высокому.

Я был рад каждой встрече с ним, потому что невольно как бы заряжался от него новой энергией. Да я ли один?

Это не дружба. Это выше дружбы. Это духовное проникновение друг в друга. Дружба – это более низкая категория, по моим понятиям. Со временем, может быть, люди найдут слово для определения таких отношений, а пока слово ещё не найдено.

Я определяю эти отношения словом «притяжение». Мы находимся далеко друг от друга, на каком-то расстоянии, но мы понимаем друг друга, мы тянемся друг к другу...

Притяжение... Нити его – самые крепкие, самые надёжные в отношениях между людьми».



Слева направо: консультант фильма Савелий Ямщиков – в будущем знаменитый искусствовед, публицист; выдающийся кинооператор Вадим Юсов, Анатолий Солоницын

СОКРОВЕННЫЙ СМЫСЛ «АНДРЕЯ РУБЛЁВА»

После того, как фильм «Андрей Рублёв» наконец вышел на экраны страны и я смог его посмотреть, впечатление было столь сильным, что память о нём навсегда осталась в моём сердце. Время от времени я вновь возвращаюсь к этой картине, по праву занявшей своё место среди лучших классических произведений киноискусства всех времён и народов.

О том, какие преграды были на пути фильма к нашему зрителю, написано немало, и я не буду повторяться. А вот о сокровенном смысле и тайне преподобного Андрея Рублёва, к которой прикоснулись и Андрей Тарковский, и Анатолий Солоницын, и некоторые другие создатели фильма, если и сказано, то как-то вскользь. Или говорится в «общечеловеческом» плане, а не в христианском, православном понимании смысла картины.

А именно подход с этой позиции даёт понимание сокровенного содержания фильма.

Непонимание или сознательное замалчивание сути фильма не удивительно: фильм выходил во время безбожного режима коммунистической партии. Это потом либеральные реформы привели к признанию творчества Тарковского, восхвалению его.

Но о религиозном смысле «Андрея Рублёва» опять предпочли умолчать даже самые серьёзные наши критики. И потому позволю себе остановиться на этой теме, так как она чрезвычайно важна для понимания творчества и Андрея Тарковского, и его любимого актёра. Сначала хотя бы кратко надо сказать о самом великом русском иконописце и иконописи.

Об Андрее Рублёве биографических сведений очень мало.



*Анатолий Солоницын
в роли Андрея Рублёва*

Это объяснимо. Принимая монашество, человек отсекает от себя мирскую жизнь, всецело посвящая себя служению Богу. Он выполняет беспрекословно все послушания, которые ему даются уже с новым, монашеским именем. На иконах не ставятся подписи авторов – это бы противоречило монашескому служению. Указание летописца, что росписи и иконы были созданы «чернецом Андреем Рублёвым и его сотоварищи», свидетельствует о значительности события, которое выделили особо. Понимание значимости иконописи в нашей стране, а потом и мире пришло в конце 19 века, когда в России иконопись открыли заново. У людей того времени как бы спала с глаз пелена, и они увидели во всей неповторимой красоте русскую икону, которая есть «окно в небо», «умозрение в красках» о Боге и Божественной надмирности, как писал в своих знаменитых «Трёх очерках о русской

иконе» философ и писатель князь Евгений Трубецкой.

То же самое произошло и в шестидесятых годах двадцатого века: снова перед изумлённым народом нашим и перед всем миром во времена так называемой «оттепели», когда одновременно усилились и хрущёвские гонения на церковь, предстала во всём величии и красоте русская икона. Все, от самых тонких знатоков живописи реалистической школы до приверженцев авангарда, вдруг увидели, что икона – одно из самых красочных созданий живописи, что в ней соединилось, казалось бы, несоединимое: аскетизм и необыкновенная радость.

После выхода в свет книги Владимира Солоухина «Чёрные доски» многие кинулись по деревням собирать иконы. Большинство понимали и продолжают понимать иконы как произведения искусства, предметы старины. И лишь немногие видят в иконописи проявление веры народа, его национального самосознания, так ярко выразившихся в творениях великих русских «богомазов», писавших иконы для богослужения, для молитвенного предстояния пред Господом, Христом-Спасителем, Богородицей и святыми угодниками.

Именно в это время Андрей Тарковский и Андрон Михалков-Кончаловский написали киносценарий «Андрей Рублёв».

Анатолий подарил мне на память полный текст сценария. Это внушительная книжка в твёрдом синем переплёте. Машинописный текст почти на триста страниц (фильм существенно отличается от сценария). С предисловием, которое сегодня как нельзя лучше говорит о том времени. В нём есть и лукавые, и заставляющие о многом задуматься слова. Например, говорится, что «...сейчас, когда борьба двух идеологий – буржуазной и коммунистической – достигла наивысшего напряжения, борьба за народность искусства становится вопросом первостепенного значения, мы хотим создать фильм об истоках и прогрессивной сущности русской национальной культуры».

Ну, понятно, что «о борьбе идеологий» сказано, чтобы сценарий приняли. Так делали все: сначала надо было показать, что ты «свой», а не «буржуазный». А потом и «проталкивай» свои идеи и образы.

Но вот и другой момент предисловия: *«Сам процесс созревания замысла и последующего создания иконы носит ярко выраженный реалистический характер, чуждый какой бы то ни было «божественности».*

Неужели так действительно думали авторы?

Вряд ли. Конечно, они знали, что монах не может писать икону без веры, без молитвы. Конечно, они видели летописный рисунок, где Андрей Рублёв изображён пишущим Божественные лики, а за спиной его стоит ангел, который водит рукой иконописца.

Да, Тарковский только постигал христианские идеи, но в процессе работы он не мог не проникнуться духом и силой веры. Это неизбежно. Мне неоднократно приходилось наблюдать, как менялись люди при возведении храмов. Приходили к православию архитекторы, крестились проектировщики, иначе вели себя строители. Куда-то исчезали и грубость, и сквернословие, появлялись высокая ответственность и строгость в работе. Это были видимые приметы изменения поведения людей, а какая работа шла в душе – ведомо одному Богу.

Всё творчество Андрея Арсеньевича Тарковского есть строительство Храма души. И отчётливо это строительство началось с «Андрея Рублёва».

Есть режиссёры, которые могут делать что угодно – мюзикл, детектив, историческую драму и т. д. Причём с позиций абсолютно разных. Пример тому – друг юности Тарковского, вместе с которым они писали сценарий «Рублёва».

Андрей Арсеньевич – противоположный пример. Он строил один и тот же дом – одни и те же «блоки» этого дома создавались в разных фильмах: в «Андрее Рублёве» оказался фундамент (торжество Воскресения), в «Солярисе» – взыскание совести; в «Зеркале» – покаяние перед смертью; в «Сталкере» – недостижимость счастья без твёрдой веры и т. д.

Еще раз вернёмся к предисловию сценария «Андрей Рублёв», чтобы увидеть, что путь ко Христу заложен уже здесь: *«Одним из главных героев нашего сценария является гениальный художник Андрей Рублёв, творчество которого являет собой ярчайший пример служения народу и его идеалам в условиях татарского ига и жестоких внутренних междоусобиц».*

Как же выразить эти идеалы «гениального художника», обойдя его веру, его главное творение – «Троицу»? И каковы эти идеалы? Ведь как ни старайся, а не обойдёшь того главного, что есть в «Троице», «единой и нераздельной», животворящей, являющейся краеугольным камнем православной веры.

К пониманию этого смысла и шёл Андрей Тарковский, а вместе с ним и Анатолий. Путь им предстоял тернистый. Когда сценарий приняли, надо было пройти и период съёмок – ведь съёмочный материал просматривали надсмотрщики со студии, вмешиваясь в творческий процесс. Затем шла приёмка после монтажа фильма, опять сыпались замечания и «поправки». Потом шла сдача фильма в Госкино – опять надо было отстаивать свою позицию, выдерживать удары, иногда прямо в сердце. Поэтому Андрей Арсеньевич, когда его спрашивали: «А что ты хотел сказать вот этим эпизодом? Этим кадром? Фильмом?» – или отмалчивался, или говорил: «Смотрите на экран. Там всё сказано». Надо было иметь сильный характер, волю, понимание того, что ты занят ответственным, серьёзным делом, творчеством, нужным и твоей душе, и твоему народу, чтобы выстоять, пройти до конца по избранному пути.

Слава Богу, у Тарковского эти качества были, а актёр, которого он выбрал на главную роль, был готов к самопожертвованию. И это режиссёр увидел, потому и выбрал Анатолия на главную роль.

То, что о Рублёве было мало известно, развязывало руки режиссёру, открывая широкий простор для творческого осмысления идеи. Смысл картины Тарковский дал в художественной, иногда прямо поэтической форме, нигде не сбиваясь на штампы «биографического» фильма. Нигде он не становился в позу назидательную, которая так была характерна для стилистики кино советского периода. Он не разжёвывал содержание, творил по той художественной правде, которая основывается на глубине переживания актёров, изобразительной пластике, экономных средствах изображения, дающих пищу уму и сердцу. «Для отчёта» он снимал фильм о «великом художнике», а на самом деле – о монахе и иконописце. Не о «месте художника в жизни общества», как он сам заявлял в интервью (отчасти он так и думал), а о несокрушимости веры русского человека, который идёт к спасению души через страдания. Возможно, Андрей Арсеньевич не до конца понимал сокровенный смысл того, что он создавал со своими единомышленниками. Но послы, устремление его творчества в тот период, может быть, подсознательно были именно религиозными, православными. Об этом говорят весь художественный строй фильма, вся его художественная правда. Андрей Тарковский, если и не знал этой мысли философа Евгения Трубецкого, то интуитивно воплотил именно её.

«Без всякого сомнения, мы имеем здесь две тесно связанные стороны одной и той же религиозной идеи, – писал знаменитый своей мудростью и глубиной веры философ, размышляя о феномене русской иконы. – Ведь нет Пасхи без Страстной седмицы, и к радости всеобщего Воскресения нельзя подойти мимо Животворящего Креста Господня. Поэтому и в нашей иконописи мотивы радостные и скорбные».

Так получилось и в фильме – вслед за жестокими сценами, за которые громили Тарковского, следует свет торжества веры и силы духа народа, выразителем которых выступают в фильме Андрей Рублёв и колокольных дел мастер Бориса.

Но и это ещё не весь смысл великой «Троицы» и всего творчества Андрея Рублёва, которого наша Церковь прославила как святого.

«Икона – явление той самой благодатной силы, – писал Трубецкой, – которая некогда спасла Россию. В дни великой разрухи и опасности преподобный Сергей Радонежский собрал Россию вокруг воздвигнутого в пустынных лесах собора Святой Троицы. В похвалу святому преподобному Андрей Рублёв огненными штрихами начертал образ Троиединства, вокруг которого должна собраться и объединиться Вселенная. С тех пор этот образ не переставал служить хоругвью, вокруг которой собирается Россия в дни великих потрясений и опасностей. От той розни, которая рвёт на части народное целое и грозит гибелью, спасает только та сила, которая звучит в молитвенном призыве: «Да будем едины, как и Мы».

Вот эта сила выражена в «Троице» преподобного Рублёва. И она есть в фильме. Весь он снят на чёрно-белой плёнке, а в финале вдруг возникает цвет – идут «Троица», «Благовещение», другие иконы и их фрагменты из «праздничного чина» Андрея Рублёва. И возникает симфония радости, торжества Воскресения, победы творчества над серым и грязным бытием, в которое были загнаны и русский народ, и его духовный выразитель.

Сейчас, когда прошло почти полвека со времени съёмок фильма, отчетливо видно, что при всей талантливости авторов, особенно Андрея Арсеньевича

Тарковского, многое им подсказала интуиция, то неосознанное и невыразимое словами, что вело их к созданию шедевра киноискусства.

Верующие люди в таких случаях говорят: «Господь ведёт», и это точно выражает смысл происходящего.

Фильм, как церковная фреска, состоит из новелл. В одной из них, названной «Феофан Грек», есть эпизод, о котором никто из критиков не писал. И в документальных фильмах о Тарковском об этом эпизоде и его значении – ни слова. А между тем это ключевая сцена в понимании фильма. Это спор Андрея Рублёва с Феофаном Греком, который в картине показан мудрым, признанным мастером, но скорбящим, легко раздражающимся стариком.

«Добро! – злится он. – Да ты Новый Завет-то вспомни. Иисус тоже в храмах людей собирал, учил их, а потом они для чего собрались? Чтоб его же и казнить! «Распни, распни!» – кричали... А ученики? Все разбежались! Иуда предал. Пётр отрёкся...»

Рублёв отвечает не очень убедительно. Но потом начинает говорить всё более сердечно, все проникновенней становятся его слова.

«Передо мной монтажный лист фильма, который я сохранил. Вот эпизод, где записан монолог Андрея Рублёва, который постепенно уходит за кадр. А в кадре мы видим русскую Голгофу.

Позволю себе процитировать этот монолог с некоторыми сокращениями:

«Ну конечно, делают люди и зло. И это горько. ...А фарисеи эти на обман мастера – грамотные, хитроумные. Они и грамоте-то учились, чтобы к власти прийти, темнотой народа воспользовавшись. Людям просто напоминать надо, что люди они, что русские, одна кровь, одна земля. Всегда найдутся охотники продать тебя за тридцать сребренников. А на мужика всё новые беды сыплются: то татары по три раза за осень, то голод, то мор. А он всё работает, работает... Несёт свой крест смиренно, не отчаивается, а молчит и терпит, только Бога молит, чтоб сил хватило. Да разве не простит таким Всевышний темноты их? Сам ведь знаешь: не получается что-нибудь или устал, намучился, а вдруг с чьим-то взглядом в толпе встретишься, с человеческим, – и словом причастился, и всё легче сразу. Разве не так? Вот ты про Иисуса говорил. Ведь Иисус от Бога – значит, всемогущ. И если умер на кресте, значит, и предопределено это было. И распятие, и смерть его – дело руки Божией... А он сам по доброй воле покинул их, показав несправедливость или даже жестокость».

А в кадре между тем мы видим русского Христа, который несёт крест и идёт на распятие. Всё происходит очень буднично, вокруг течёт привычная жизнь. Процессия небольшая, она движется окраиной деревни. Вот девочка смотрит на этого странного человека в посконной рубахе, который несёт крест. Девочка улыбается. Вот всадник проскакал. Зима, наш Христос в лаптях, русоволосый, конечно же, голубоглазый, хотя изображение черно-белое, как в документальном кино. Вот мимо какая-то баба гонит корову. За Христом идут Мария Магдалина, Скорбящая Мать, ещё несколько человек в зипунах, в зимних шапках. Вот стражники привязывают Христа к кресту. Забывают гвозди. Крест поднимается на горе. Все становятся на колени. Свершилось – Христос распят.

И в это время завершается монолог Рублёва.

«Ты понимаешь, что говоришь?! – восклицает Феофан. – Упекут тебя, братец, на север иконки поновлять за язык твой». «Что, не прав я? – возвращает Рублёв. – Сам же всегда говоришь, про что думаешь».

Эта сцена «аукается» со сценой в разграбленном соборе в новелле «Набег», когда у сожжённого иконостаса в видении Андрею является Феофан.



Первая съёмка «Рурика». Бориска – Н. Бурляев

«Русь, Русь... Всё-то она, родная, терпит. Всё вытерпит. Долго так ещё будет?» – спрашивает Андрей, имея в виду, что свой же князь навёл татар на Владимир, своих же предал, отдал на разграбление и позор народ свой. Вот к чему приводит рознь, вот что значит отступить от единства Троицы, единосущной и нераздельной...

«Не знаю, – отвечает Феофан. – Всегда, наверное. – И смотрит на уцелевшие части иконостаса. – А всё же красиво всё это!» – с тихой радостью говорит он, и глаза его лучатся. Тихо улыбается и Андрей. Потом возвращается к действительности. «Снег идёт, – говорит он. – Ничего нет страшней, когда снег в храме идёт».

Да, ничего нет страшней. Но из этих-то страданий и родится спасение души, спасение народа.

Последняя новелла фильма – «Колокол». Она о юном мастере Бориске, который якобы знает секрет колокольной меди. Все мастера повымерли от разорения Руси, холеры. И великому князю приходится брать Бориску для отливки колокола. Никакого секрета, разумеется, он не знает, всё делает по наитию, да ещё так, как запомнил, что делал отец. И вот после тяжкого, изнурительного труда, страха, что ничего не получится, что колокол-то и не зазвонит, в кульминационной сцене фильма все ждут первого его удара. И раздаётся звон – и народ радостно откликается на него. Это победа русского духа, исполнение Божьего промысла, который вёл и подростка, и неподобного Андрея, и весь народ.

Невольно вспоминается стихотворение Фёдора Тютчева «Эти бедные селенья», где прямо утверждается, что «...всю тебя, страна родная, в рабском виде Царь Небесный исходил, благословляя».

И эти роскошно одетые итальянцы, с разговора о колоколе легко переходящие на игривые реплики по поводу красивой девушки, которую они заметили в толпе, словно иллюстрируют точное наблюдение поэта:

*Не поймёт и не заметит
Гордый взор иноплеменный,
Что горит и тайно светит
В нагоде твоей смиренной.*

А Бориска, которого так проникновенно воплотил на экране Николай Бурляев, идёт в сторону, опускается на землю и рыдает. И тут подхватывают его руки Рублёва, он утешает юношу и говорит: *«Ну что ты, такой праздник для людей устроил, а ещё плачет. Ну всё, всё... Пойдём по Руси, ты колокола лить, а я иконы писать»*.

Так и сам Андрей Тарковский, ещё не зная глубины веры во Христа, лишь прикоснувшись к ней по увлёкшей его теме, достиг в своём фильме той высоты, которой достиг его экранный Андрей Рублёв, принявший на руки мальчишку-мастера.

Так он выразил то сокровенное, что лежит в существе «Троицы»: преодоление страдания радостью о Воскресении, непреходящая победа добра единением.

Так и Анатолий поступал по велению сердца, вопреки всем трудностям. Мечта, казавшаяся несбыточной, сбылась. Неизвестный актёр из провинции сыграл главную роль у режиссёра уже с мировой известностью.

Конечно, и здесь можно смело сказать: «Его Господь вёл».

А в бытовой жизни Тарковский увидел в этом молодом, рано начавшем лысеть провинциальном актёре что-то, что тогда не понимал и режиссёр, да и сам молодой актёр. Увидел, что перед ним исполнитель того самого заповедного, сокровенного, того, что ждала и требовала душа.

Вот так всё сошлось, и вопреки ещё многим и многим трудностям, которые часто казались непреодолимыми, родился фильм, по сути своей родственной идее, заложенной в «Троице» преподобного Андрея Рублёва.

Продолжение следует.



**Виктор
БРЮХОВЕЦКИЙ**

ЛЕБЕДИНОЕ ПЕРО

ШМЕЛИ

Чёрный бархатный шмель...

И. Бунин

Июнь всё ярче, дни духмяней,
Всё выше солнце, всё теплей,
И на любой лесной поляне
Гудёж от золотых шмелей.

Качают вереск. Вереск гнётся.
Шевелится. Гудит гудом!
Мёд вересковый достаётся
С таким трудом,
С таким трудом!

Как будто на воздушных ватах
Они висят, гудя, трубя.
Я их люблю, таких мохнатых,
Сильней, чем самого себя.

Я их люблю за труд упорный,
За то, что с голосом густым
Любой – и бархатный, и чёрный,
И с коромыслом золотым!

-
- Виктор Васильевич Брюховецкий родился в 1945 году в г. Алейске Алтайского края. Окончил Ленинградский институт авиаприборостроения в 1974 году. Работал инженером в Институте прикладной химии. Автор многих поэтических книг. Лауреат Международной Пушкинской премии. Член Союза писателей. Живёт в пос. Кузьмолово Ленинградской области.

Ты, мой век двадцать первый, меня не морочь,
Мне в двадцатом ещё нагадали метели,
Чтоб пронёс я в глазах моих, чёрных как ночь,
Эти песни, что степи Алтайские пели.

Край велик! Понимаю теперь это я.
И суров! Хорошо мне досталось когда-то!..
Лижут волны песок, моет берег струя,
И пшеница шумит, тяжела и усата.

Разделяя себя на «тогда» и «сейчас»,
Не представляю, потом что ещё приключится...
Всё пустее причал, всё темнее баркас,
Всё сильней из плетней выпирают ключицы.

Я однажды решусь и отдам якоря...
Время то ли ушло, то ль иное настало?
Так же красен закат, в той же дымке заря,
Те же птицы щебечут в ветвях краснотала.

Всё как прежде. С чего же болит под соском,
Отчего прожитое родней и светлее?
Это космос меня засыпает песком,
Что на ощупь незрим, но плиты тяжелее.

...И широкие скулы неровной гряды,
И кочующий беркут, и перепел в поле,
И ярлык золотой из далёкой Орды –
Это всё моя родина.
В крапинах соли
Ночь привязана прочно к Полярной звезде:
Тяжко дышит, стекая тяжёлой росой,
И зари полушалок полощет в воде,
Раскрывая ворота идущему зною.
И восходит Восток...

Ничего не забыл.
Мне хранить это всё до последнего часа.
Я всю юность мою красотой облучался:
Чернозёмы пахал, и стропила рубил,
И за злаком ходил, собирающим колос.
Но, весёлую ноту превыше любя,
Я стрелял, отгоняя печаль от себя,
В журавлей за глубокий, рыдающий голос.
Может, это как раз и даёт столько боли!
А иначе зачем каждой ночью в строке
Вызывает роса с лёгким привкусом соли
И, с ресниц опадая, плывёт по щеке.

ЛЕБЕДИНОЕ ПЕРО

Закат погас. Луна сквозь листья сада
Роняет на тропинку серебро.
Со мною – ты, и ничего не надо...
Очиним лебединое перо!
Гусиным можно, можно ястребиным –
Их, перьев этих, столько на лугу! –
Но о любви нельзя не лебединым:
Любым иным я просто не смогу.
Я напишу: «Как пахнут Ваши плечи!
Я прикоснусь губами к завитку...»
И загорятся, засверкают свечи
В зрачках твоих, читающих строку.
– Так просто всё?..
Конечно, очень просто...
Ведь это лебедь...
Небо...
Перелёт...
По этому перу стекали звёзды,
По этому крылу стреляли влёт!
Оно стонало, билось и плескалось,
Кипело страстью, рвало небосвод,
Оно такой любовью пропиталось!

...И не заметим мы, как перейдёт –
Под занавесок лёгких колыханье,
Под шум листвы – попробуй улови! –
Поэзии неровное дыханье
В неровное дыхание любви.

Однажды вернусь. Я обязан вернуться
Туда, где деревья под ливнями гнутся,
Где старая лодка у синего плёса
Гниёт в камышах, где я мазал колёса
Разбитой телеги пахучим тавотом,
Где серая птица гордится болотом,
Где бродят в обнимку поверья и сказки,
Где ныла спина от ремня и указки,
Где батя учил меня зло и толково,
Что нету на свете другого такого
Весеннего неба, осеннего пала,
Где тысячу лет проживи – и всё мало!

ДЛЯ ВЛАЖНОГО ПЕСКА

Человек, я умею и этак, и так.
За спиною моею несметно Итак.
Подбираю ключи, отпираю замки...
Вот пришёл и стою у известной реки.
За лукой – коростель? или ворона крик?
Иль уключины дёттем не смазал старик?

Мои руки в узлах, мои пальцы грубы.
Я завидую дыму далёкой трубы,
Что свечой поднимается неколебим
И, белёсый, становится вдруг голубым,
И чем дальше, чем выше, чем ближе к звезде –
Исчезает совсем, растворяясь везде.

Вот судьба!
Так поклонимся этой судьбе,
Как прикусим губу, чтобы соль по губе...
Поклоняясь, завидуя, всё ж говорю:
«Лучше верить себе, а не поводырю,
Лучше слабый очаг, чем казённый уют,
Потому что ведомого первого бьют...»

Не за тем мы приходим – за чем-то другим,
Как весенние птицы – к деревьям нагим,
Где, свивая гнездо, за листвою следят:
Прилетают к нагим, от нагих и летят.
Значит, их привлекла не ветвей нагота,
А иное. Наверное, дня долгота.

Но не будем гадать. Постоим над рекой,
Проплывающей лодке помашем рукой.
За лукой – коростель? или хрипы ворон?

...Да не та это речка, при чём здесь Харон!..

Просто шёл, притомился, умылся в реке –
И пишу эти строчки на влажном песке.



**Наталья
КРАВЦОВА**

ЛЮДИ – ДОБРЫЕ

СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ

«Тук-тук-тук, тук-тук-тук...» – стучат колёса поезда, который, миновав Самарскую область, везёт меня по родному Оренбуржью. За окном мелькают могучие сосны Бузулукского бора, поля, лужайки, перелески. Короткие стоянки, маленькие железнодорожные станции. Я вновь и вновь вглядываюсь в даль за окном, стараясь не пропустить знакомые названия станций, и вспоминаю, как в далёком феврале студенткой-практиканткой семнадцати годков сошла с поезда на такой же короткой, в три минутки, остановке в Новосергеевке. Впереди была весна, свобода от занятий в техникуме и первая проба себя в будущей профессии, много незнакомых людей и новых впечатлений.

Шёл последний год моего детства. Совсем скоро я буду работать. Ко мне станут обращаться по имени и отчеству, как к взрослому человеку, да ещё и ревизору к тому же. Ребят, моих ровесников, призовут в армию, и мы, поколение 80-х, почувствуем горячее дыхание войны за спиной – засекреченной афганской войны, забирающей наших братьев, друзей, женихов. Я буду получать весточки с фронта, из далёкого края гор и кишлаков, жить ожиданием от письма до письма, а рядом будет идти своим чередом мирная жизнь.

В райфинотделе встретили приветливо, вскоре прибыла и моя напарница Люба. Оценив взглядом пополнение, заведующий поручил ревизору Тоне отвести нас на квартиру, снятую заблаговременно, да и отправил её в отпуск. И началась наша с Любой самостоятельная жизнь...

-
- Наталья Николаевна Кравцова родилась в 1968 году в Восточном Оренбуржье (посёлок Домбаровский Оренбургской области). По образованию – финансист. Окончила Государственную финансовую академию при Правительстве РФ (Московский финансовый институт) и Оренбургском государственном университете. Лауреат конкурса «Оренбургские таланты», посвящённого Году литературы в России и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, в номинации «Проза», и призёр журнала «Теле-семь» за сборник рассказов «Несломленное поколение». Участница Общероссийского проекта «Народная книга», Международного проекта «Бочонок мёда для сердца». Публиковалась в сборнике «О бабушках и дедушках. Истории и рассказы» (издательство «АСТ», г. Москва), в оренбургском литературно-художественном журнале «Гостиный Дворъ», в московском ежемесячном рекламном-информационном журнале «Перспект». Живёт в посёлке Домбаровский Оренбургской области.

Поселились мы в небольшом домике у бабы Симы. Бабушка нам понравилась, да и квартирантки ей приглянулись: молодые да шумные, весёлые и разговорчивые. Серафима оказалась радушной хозяйкой. Устроились мы хорошо. Так и прожили зиму и весну под её крылышком. Была она маленькой, худенькой, симпатичной старушкой, с седою косой, уложенной вокруг головы, и с молодыми глазами, голубыми, как мартовское небо. Очень рано овдовела, всего-то два года с молодым мужем прожила, проводила на войну и осталась с маленькой дочкой на руках. В первую военную зиму погиб её любимый, только осталась жива их любовь. Была верна и предана ему Серафима всю жизнь, замуж ни за кого больше не пошла. Дочку свою любила и за себя, и за мужа. Так и звала до самой своей старости Руфиночкой, и никак иначе. Руфина, крупная энергичная женщина лет этак около пятидесяти, вечером зашла глянуть на квартиранток и ушла, спокойная за мать. Жила с мужем в соседнем доме, гранича с ней огородами. Держали они хозяйство. Имели многочисленных собак и котов, которые прорывались в наш двор и задирали старенького Серафиминого котейку, за что не раз были биты нещадно венником. К ним в дом мы ходили по вечерам смотреть телевизор. Познакомились с внуками Руфины, Алёшей и Катей, которые были помладше нас с Любой лет на пять-шесть.

К весне вся округа уже знала, кто мы и откуда и зачем здесь объявились. С нами здоровались и улыбались. А поначалу это была совсем неприветливая, заваленная снегом, пустынная, безлюдная улица. Никто утром не спешил на работу, не торопился к автобусу, не вёл детей в садик. Не было видно ни школьников, ни молодёжи. Улица была застроена ещё до войны, поэтому и жили на ней одни старики да старушки.

Финансовый отдел располагался в деревянном доме барачного типа. Свой кабинет был только у руководителя, остальные сотрудники работали в одном большом помещении, сообща решали служебные вопросы, планировали, анализировали. Очень скоро мы перезнакомились со всеми, втянулись в работу и активно зажили буднями и праздниками коллектива, а в апреле ещё и на субботнике поработали на славу.

Первая проверка, на которую отправили двух комсомолок и отличниц, прошла, как первый блин, комом. Изрядно поплутав по посёлку и отыскав-таки нужный нам завод, преодолев недоверие сторожа на проходной, до бухгалтерии «ревизорши» так не добрались. На заводе шли учения по гражданской обороне. Весёлые дядьки в противогазах дважды нас эвакуировали то в ангар, поближе к рабочим и станкам, то в Красный уголок, где особо замёрзших и продрогших отпаивали чаем. Начало трудовой деятельности было положено. Вечером мы умирали со смеху, рассказывая хозяйке о своих приключениях, и она хохотала вместе с нами, молодея на глазах.

Следующие проверки были сделаны как положено: лесхоз, типография, кинотеатр и другие. Техникум давал отличные знания, практика помогала их осмыслить и закрепить. Мы составляли акты проверок, заполняли дневники прохождения практики, печатали на громающих машинках сначала одним пальцем, а потом всё увереннее и увереннее свои отчёты, которые ещё предстояло защитить перед комиссией в техникуме.

Постепенно мы осваивались в посёлке. Новосергеевка в ту пору была застроена частными домами, лишь в центре стояло несколько двухэтажек. Широкие улицы, заваленные чистым белым снегом, дома деревянные, радующие глаз красивыми резными ставнями, украшенные яркими петухами и жарптицами, прикреплёнными под самыми крышами, напоминающие расписные терема. Деревья все в инее, сверкающем хрусталём. Река подо льдом, укрытая

белым пышным покрывалом. Звонящая тишина, хруст снега под ногами редких прохожих. После шумного, спешащего города – зимняя сказка, да и только.

Однако железная дорога, разделяющая поселок на две половины, возвращала из сказки в реальность, не позволяя замечаться, зазеваться, дабы не угодить под проходящий мимо состав.

Жили мы с бабушкой Симой весело и вольготно. Каждой досталось по комнате, но долгими зимними вечерами сидели на кухне, поближе к тёплой печке, за разговорами да рассказами Серафимы. Готовили ужин и чаёвничали потом до самой ночи. На 8 Марта привезли своей хозяйке новый расписной чайничек и вышитые кухонные полотенца, чем ей несказанно угодили. Баба Сима, глядя на совсем молоденьких нас, и свою молодость вспоминала, войну и враз оборвавшееся счастье.

«Да о вашей вдовьей доле книгу написать можно», – обмолвилась как-то я. «Что ты, дочка, лучше фильму снять, а Катерину (правнучку) на главную роль, дюже уж она на меня молодую похожа!» – улыбнулась бабуля в ответ. И грустно добавила: «Моя доля материнская, я Руфиночку поднимала, счастья для себя не искала, мужнину любовь не предала – под корень срубленной, не цвести больше яблоньке». В доме Серафимы никогда не было телевизора. Знала ли она, что о её судьбе, о всепобеждающей силе женской любви, верности, преданности первому чувству, неугасающей надежде на возвращение мужа в год нашего с Любой рождения был снят пронзительно печальный фильм «Журавушка»? Марфой звали солдатскую вдову, вот только именем и отличалась она от нашей Серафимы, только именем..

Годы не вернуть, не остановить и не задержать. Русские «журавушки» поднимали детей, ставили на крыло своих птенцов, седали, становились бабушками, а души мужей их – погибших воинов – каждой весной устремлялись в родные края вослед за журавлиным клином. Придёт время, и родные души – белые журавли – встретятся и воссоединятся на небесах. Муж, получив повестку из военкомата, об одном просил свою Серафимушку: чтобы дождалась его с войны, чтобы сдюжила одна с ребёнком, а уж он с товарищами добудут Победу – вон сколько мужиков призвано, это ж силища какая! «Побьём фашистов, вернёмся!» – Молодой да сильный обнимал жену в последний раз. – Мы с тобой ещё сына родим, дождись меня только». Сам верил, и жена верила: так оно и будет. Но пришла похоронка на мужа, не пожалела его злая пуля. Самая страшная правда войны, самая высокая плата за Победу – оборванные жизни солдат, не рождённые ими дети..

«Одна Матьер Божия про то ведает, сколько бабьих слёз над похоронками пролито...» – горько вздыхала Серафима. Об этом треугольнике, несущем с фронта страшную весть, рассказывала мне в детстве бабушка, но наш дед следом прислал письмо из госпиталя, что жив, а семья его старшего брата долго оплакивала мужа и отца семерых детей.

Однажды, вернувшись с работы, возле рукомоиника мы обнаружили корзинку. В ней лежал малюсенький поросёнок. Самый слабенький, поэтому его отделили от остальных. Кормили с соски, как котёнка.

Машка вскоре чутко подросла, осмелела и стала всеобщей любимицей, носилась по дому, встречала радостно у порога и провожала, тычась пяточком в наши рукавички. Руки так и тянулись погладить этот розовый комочек счастья. И только кот глубокомысленно взирал на неё с печи, он-то многое повидал на своём котовьем веку и знал, что всякому счастью рано или поздно приходит конец..

Капель вовсю звенела за окном, сугробы уменьшались с каждым днём. Сосульки, отрываясь от крыш, со свистом летели вниз, вонзаясь в сугробы,

точно маленькие ледяные стрелы. Я сидела на работе и переписывала что-то важное для своего отчёта из материалов последней проверки. А за окном стоял мальчишка и час, и два, и три... Портфель был заброшен в сугроб. Весна – она и есть весна. Заметила юного воздыхателя ревизор Тоня, которая к тому времени уже отгуляла свой отпуск и вернулась на работу. Закончившего, засмущавшегося и протестующего Алёшку завели, отогрели горячим чаем, после чего я отвела его домой. Школу он прогулял, но мы никому об этом не сказали.

Заметно прибавился день, солнце восходило раньше, с каждым днём даря всё больше тепла. Небо стало выше и бездоннее. Первые птичьи стаи расчертили небесный холст своими крыльями, подводя итог скитаниям по чужим краям. Из «берлог» после зимней спячки стали выбираться соседские старушки. Улица наконец-то наполнилась живыми голосами. К бабе Симе всё чаще стали заходить гости – Маруся, Тамара, Аннушка. Встречать весну здесь любили и умели. Вернувшись в воскресенье из города пораньше, застали мы с Любой поющую компанию за чарочкой вина. Наша бабуля солировала и пела лучше всех. «На Муромской дорожке стояли три сосны...», «Эх, мороз, мороз, не морозь меня...», «Виновата ли я, что люблю...» – где бы ни жили, как бы ни жили, а одна у народа душа, песни застольные одни.

И снова я залюбовалась ею: тяжело прожитые годы не унесли и не стёрли красоту, блеск голубых глаз, а вино добавило румянца и задора, сделало голос чуть громче и шутки-прибаутки смелее и откровеннее. А когда запели частушки, больше старушек-то и не было – помолодевшие годков на двадцать соседки сидели за столом, а наша Серафима уже и приплясывала. Плечи распрямились, платок сполз с головы, открывая её седую косу, уложенную короной. Такой она и осталась в моей памяти – Серафимой Прекрасной..

Наступил апрель, и улица поплыла... Рейсовый автобус останавливался в самом её начале, «приплывал» за нами по утрам, а вечером высаживал своих пассажиров на более-менее сухом пятачке и вновь «отчаливал от пристани», рассекая водную гладь, словно корабль. Мы с Любашей с трудом добирались до своего дома, перемерив все сугробы, где-то перепрыгивая через лужи и ручейки, а где-то и вброд, и вплавь.

Приближалась Пасха. Окрепшую и подросткую Машку переселили под бочок к маме. Мы вымыли окна, выдраили всё в доме. К Машке ходили на свидания, она мчалась навстречу из загончика и визжала от радости. Помнила тепло наших рук, но, конечно, с ватагой поросят ей было гораздо веселее.

Пошла река. Местные парни – а баба Сима о каждом навела справки – водили нас на речку посмотреть на ледоход. Стоял невообразимый грохот, мы на ватных от страха ногах доходили до самой середины моста. Зрелище было будоражащее кровь и захватывающее дух: река несла огромные глыбы льда, вывороченные с корнями дерева, щепки в полуметре от наших ног. Лдины сталкивались друг с другом, образуя ледяные заторы, обдавая веером ледяных брызг. Серафима не приветствовала такие походы и каждый раз сухо отчитывала наших кавалеров.

Практика подходила к концу. Нас ждали город, подготовка и сдача экзаменов, распределение на работу и взрослая жизнь. Этой весной неумолимо заканчивалось наше детство... Надо было прощаться с хозяйкой. И были слёзы, и были обещания передать поклоны родителям, писать письма и приехать в гости. Но никак невозможно было расстаться и уйти с вещами раз и навсегда из жизни этой немолодой женщины, надорванной жизнью, но не сломленной бедами и потерями, приютившей под своим кровом, приглубившей нас и ставшей родной. Я ещё приезжала в мае, выбрав выходной

погожий день, провела её, обняла на прощанье. Баба Сима проводила меня до автобуса и перекрестила напоследок, как дочку. Всё цвело вокруг, теперь уже не белая заснеженная улица смотрела мне вслед – невестушки-яблони и вишни в подвечных своих уборах протягивали ветви поверх изгородей, осыпая всё вокруг белоснежными лепестками. Черёмуха и сирень принарядились пышным цветом в палисадниках. Торжество жизни! Та недолгая пора цветения, буйства красок, несказанной радости и очарования красотой даёт силы жить дальше и надеяться на лучшее.

Пока человек способен чувствовать, видеть, восхищаться и поклоняться нерукотворной этой красоте, жива его душа. И совсем неважно, сколько вёсен, лет и зим он прожил на этой земле. Главное, дожил до новой весны, до тепла, до звона капли, до раскатов первого грома, улыбнулся, до головокружения вдыхая запах разбуженного луга и первого подснежника! А теперь уже умирать не резон.

Вслед моему автобусу ещё долго смотрела старенькая бабушка Сима, а за её спиной торжественно и нежно-белоснежно цвели сады. Я остро чувствовала, что после отъезда к месту учёбы невольно стали мы с Любашей ещё одной потерей Серафимы, но всё-таки покидала её без печали. Мне было спокойно за бабушку, ведь старость её проходила рядом с дочерью, в любви и заботе родных людей. Увозила с собой букетик голубых незабудок, которые Серафима сорвала на дорожку, и всё старалась сохранить в памяти её лицо с добрыми голубыми глазами, которое не довелось уже больше увидеть.

Сдав экзамены и получив диплом, по распределению попала в город Ясный. Как и обещала бабуле, писала ей. Руфина читала матери мои послания и присылала ответы. Баба Сима после нас с Любой ещё раз поселила к себе девчат-практиканток. Но была недовольна ими. «Таких, как вы, больше не будет», – написала её дочь. Через год меня пригласили на пельмени, когда зарезали Машку (прав был котейка)... А потом я уехала учиться дальше в Москву, и переписка оборвалась.

Всякий раз проезжая мимо Новосергеевки, «прилипаю» к окну вагона. Понимаю, что уже ушла из жизни Серафима Прекрасная, что изменился посёлок, что меня там никто не ждёт. Но там остался маленький кусочек моей юности. Там ко мне были добры. Там жила старая годами, но молодая душой и сердцем бабушка Сима, открывшая мне историю своей жизни, любви и верности, которую я буду помнить, пока жива.

ПЯТНАДЦАТЬ КОПЕЕК, ИЛИ МИР НЕ БЕЗ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ

Чем начинается и заканчивается апрель, известно каждому: начинается капелью, а заканчивается субботником.

Под лаской тёплых солнечных лучей сползает снежное одеяло, оголяет землю, и сразу хозяйский глаз подмечает: пришла пора прибраться, пока земля не высохла и не полезла первая зелёная травушка. Лопата, грабли и веник уже стоят наготове и ждут своего часа. В тот апрель я была на производственной практике. Практикант, конечно, не штатный работник и вполне может уклониться от трудовой повинности, именуемой субботником. Но это не про меня. Не поучаствовать в весенней уборке территории вместе с сотрудниками, с которыми подружилась за зиму, воспользоваться случаем и уехать домой пораньше я бы не смогла.

Солнышко пригревало, работа кипела. Время летело незаметно. Весельчак-сторож, опершись на лопату, рассказывал анекдоты. Мужчины перешучивались, кучковались в предвкушении пикника – неизменного спутника весенней геноборки. Девчата ещё добеливали худенькие деревца, посаженные пару субботников назад, подметали дорожки у парадного входа, а кадровик уже завёл разговор на тему: «А не скинуться ли нам по рублю и не отметить ли героический труд на благо Родины?..» Шеф согласно кивнул, и секретарша охотно вызвалась слетать в магазин – «А вы тут пока заканчивайте...»

Я взглянула на часы: время поджимало. До поезда оставался ровно час. В кармане куртки был один-единственный рублик, отложенный на дорогу. В субботу утром мне нужно было сходить в техникум, получить стипендию, поэтому следовало поторопиться. Распрощалась с коллегами, поспешила на квартиру за сумкой с вещами.

Автобуса не было. Я пошла по дороге в надежде, что водитель притормозит и подберёт меня по пути. Каждое утро «ПАЗик» отвозил нас на работу, шофёр знал в лицо всех своих пассажиров. Так и случилось. Я села в автобус, разменяла свой рубль, доехала до конечной. Уговорила водителя подождать меня несколько минут и вихрем помчалась вниз по улице, благо, что была в спортивном костюме и кроссовках.

Заскочив в дом, напугала хозяйку, у которой квартировала. Баба Сима жарила пирожки. Здоровенные, с мужскую ладонь. На плите призывно пел чайник, но времени попить чайку с хозяйкиным угощением не было. Даже переодеться не успевала. Я схватила сумку, вернулась в дом за студенческим билетом, на ходу обняла бабулю и побежала к автобусу.

Успела! За пятнадцать минут до отправки поезда стояла у железнодорожного переезда. Шлагбаум был закрыт. Мимо меня неторопливо шёл товарный состав. Он следовал без остановки, сбавляя скорость перед железнодорожной станцией. По второму пути шёл встречный. Минуты ожидания казались бесконечными, но не лезть же сломя голову под товарняк! Наконец стрелка шлагбаума медленно поползла вверх, дорога была открыта. Прибежав на платформу, я увидела хвост отбывающего пассажирского поезда. Стоянка была короткой: всего три минутки. И я всё-таки на него опоздала. Хорошо хоть билет заранее не купила. Слегка расстроившись, зашла в здание вокзала. Протянула свой студенческий, дававший право на проезд за половину стоимости, и попросила у кассирши билет на следующий поезд. До его отправления было минут сорок, ждать совсем недолго. «С вас один рубль», – сказала тётенька, оформляя билет. Сердце мое гулко застучало: последний рубль был уже разменян.

Я дважды пересчитала мелочь, раскладывая монеты на ладони, пошарила по карманам. Заглянула в сумочку и в сумку с вещами. Привычным движением запустила руки в карманы джинсов, где всегда звенела сдача, но карманов не оказалось – я вспомнила, что не успела переодеться в дорогу. Набралось сорок пять копеек, которых как раз хватило бы на билет только что ушедшего поезда.

Переспросила, вдруг случилась ошибка: «Почему рубль? Всегда проезд стоил сорок пять копеек! Я езжу не первый месяц».

«Поезд фирменный, потому и дороже. Билет оплачивать будете?» – голос кассирши требовал немедленного ответа.

«Мне не хватает пятнадцать копеек. Тётенька, пожалуйста, дайте мне билет, я доведу вам эти копейки в воскресенье или понедельник, когда у вас следующая смена. Я не успею сейчас доехать ни до работы, ни до дома, чтобы взять деньги. А мне обязательно надо уехать. У вас мой студенческий

билет, запишите фамилию. Я донесу вам деньги, обязательно донесу», – упрашивала я.

«Следующий!» – гаркнула кассирша. «А какой следующий?» – спросила я упавшим голосом, не понимая, что кассир уже разговаривает не со мной. «Алма-атинский. В двенадцать ночи. Но у тебя денег не хватит. Ходят тут, льготнички», – выдала тётенька из-за окошка кассы.

Я взяла свой студенческий и медленно побрела к выходу. Спасительная мысль о том, что можно купить билет «докуда хватит денег», а проехать чуть дальше, до нужной станции – не выгонит же проводник поздним вечером студентку из вагона, – не пришла в мою голову. Я понимала, что ночным поездом мне ехать нельзя, что в техникум утром не попаду, стипендию не получу и останусь с пустыми карманами ещё на неделю. Присела на скамью, на всякий случай вновь перепроверила сумки, вещи, карманы, кармашки... Напрасный труд. Всего лишь час назад я беззаботно улыбалась на субботнике, а теперь ругала себя за эту беззаботность и не знала, что делать.

...Выручил какой-то мужчина. Подошёл неожиданно, протянул свою ладонь с копейками: «Ну, сколько тебе не хватает? Возьми». Поймал мой недоверчивый взгляд: «Да бери же...» Мне было так неловко, так неловко...

«Пятнадцать копеек, – прошептала я. – А как же я вас найду, как верну, вы же тоже уезжаете. Адрес скажите, я принесу. Честное слово, принесу». «Не стоит беспокоиться и искать меня, – ответил мужчина, – в крайнем случае, когда-нибудь выручишь кого-то другого». Голос мой куда-то пропал, я опять ответила шёпотом: «Спасибо вам» – и побежала в кассу. Высыпала монетки перед рассерженной кассиршей, купила билет. Села в поезд.

Я ни о чём не могла думать. Мне было плохо. Так стыдно, как будто пришлось стоять на паперти с протянутой рукой и просить подавания. Рядом никого больше не было. Слезы стояли в моих глазах, готовые пролиться в следующую секунду. В купе заглянула проводница и предложила чай. Я всё и выложила ей как на духу...

«Молодец мужик! Мир не без добрых людей! Ишь, нашла из-за чего страдать! – успокаивала меня женщина. – Да что я тебе чая, что ли, не дам? Не всё в мире деньгами меряется». Она налила в стакан заварку из пузатого чайника, сыпнула сахара, налила кипятка. Разносят ли сейчас такой вкусный чай в металлических узорных подстаканниках с дребезжащими чайными ложечками? Наверное, нет.

Я снова проверяла свои карманы и сумки, искала какую-нибудь конфетку. Вдруг поняла, как голодна. Казалось, не доживу до конца пути. И – о чудо! – в боковом кармане сумки нащупала привет от бабы Симы – пирожок, который она заботливо завернула мне на дорожку. Большой и вкусный. Слезы закапали сами собою.

Поздним вечером с вокзала я добиралась почти бегом. Темнело, а денег на автобус не было ни копейки.

Утром, получив стипендию – аж тридцать четыре рубля пятьдесят копеек, – я почувствовала себя богачкой. Страх безденежья отступил. Возвращалась из техникума через вокзал. Купила в кулинару булку с повидлом, занесла с собой в автобус ароматный запах свежей сдобы. В последний момент перед отправлением в закрывающуюся дверь влетели дети – девчушка лет трех-четырёх и её брат, года на три постарше. Одеты они были странно для апреля – тёплые куртки, изношенные тапочки.

Девочка села рядом со мной, мальчик встал за её сиденьем. Сестрёнка не сводила глаз с моей булки, наверное, её не кормили сегодня. Я про-

тянула булочку, она взяла и тут же обернулась на брата: не будет ли ругать. Мальчишка как-то затравленно смотрел прямо перед собой, не замечая сестру. Я поняла причину страха: на нас медленно надвигалась контролёрша. «Твой?» – спросила она, кивнув на детей. «Мои», – ответила я.

«Пятнадцать копеек», – сказала женщина и оторвала нам билетик. Я заплатила за проезд. Детей не выгнали, как, наверное, уже случилось не раз. Девочка отломила брату кусочек булки и только потом начала есть сама.

«Я – Вера, а брата Миша зовут», – представилась она мне. «Верочка, а от кого же вы убежали, куда едете? Родители знают, где вы с братом находитесь? Где твои сапожки, в тапочках ещё холодно ходить», – расспрашивала я, подозревая неладное. Наверное, родители пьют. Или их вообще нет.

«Мы на автобусе, потому что ножкам холодно. И идти далеко. Мы к бабушке убежали. Дома мама с папой ругаются. Кушать нечего. Миша в школу не пошёл, меня к бабушке увёл. Мы всегда у неё прячемся», – рассказывала Вера и опять с тревогой оглядывалась на брата: не заругает ли. Мишка, повзрослевший раньше времени, молчал. Он вообще не сказал ни слова. Вышли мы вместе. Я довела детей до дома и дождалась, чтобы дверь им открыла бабушка. Вернулась с тортиком – в кулинарии тогда продавали вкусные торты под названием «Сказка». Ещё раз постучала в дверь, за которой слышались детские голоса, отдала гостинец. Больше ничем не могла помочь этим детям, только этой вот сладкой сказкой. «Спасибо вам, милая, – улыбнулась бабушка. – Вот уж воистину мир не без добрых людей». Не без добрых! У детей, этих хрупких бумажных журавликов-кораблечиков, была в жизни надёжная пристань. Домой я уходила с лёгким сердцем.

Какой же тёплый выдался день! Я шла по весеннему городу, подставляя лицо солнечным лучам и улыбаясь прохожим. И мне по-доброму улыбались в ответ. Город оттаял, отогрелся, встряхнулся, прихорошился, ослепительно блестел свежевывытыми окнами домов и витринами магазинов.

Поселить у себя дома солнечных зайчиков невозможно, но так захотелось! А вот в душе, когда ты молод, чист и светел, живётся им весело, радостно и свободно. Пускай себе светятся, резвятся, озорничают! Сердце открыто настежь, душа – нараспашку... Самое время – юность, весна, апрель!



**Михаил
МУЛЛИН**

РЕЧКА ЖИЗНИ

Быть урожаю, хлебу дешёву,
Прибыткам к радости большим –
Снег лёг на землю незамёрзшую
И сразу толще, чем в аршин!
Над кривичами и полянами,
Плутающими сорок лет,
Он сыпался небесной манною,
Чтоб превратиться летом в хлеб.
Над чудью чудной и над мерекю,
Над черемисью и мордвой
Кружился снег с благим намереньем
Стать пищей и живой водой.
Ещё не тронутый полозьями,
Любовный не сдержав порыв,
Он от зимы упрятал озими,
Закутал тёплыми пары.
Снега с небес сошли без шороха
Поверх незамершей земли;
Подобьем зернового вороха
Сугробы частые легли.
Им – стать травую перед Троицей
И яблоки налить на Спас!
Так у зимы в России водится –
Одаривать заботой нас!
Мы на события небедные –
В стране бессменна «смена вех»...
Но мудрый снег про то не ведаёт –
И радуёт равно нас всех.

-
- Михаил Семёнович Муллин родился в 1946 году в селе Старо-Костеево Бакалинского района Башкирской АССР. Окончил Башкирский сельскохозяйственный институт. Публиковался в журналах «Наш современник», «Литературная учёба», «Волга», «Волга–XXI век», «Степные просторы», «Кукумбер», «Простокваша», «Великороссъ» и др. Автор книг «Как перевернуть землю», «Вера», «Катамаран», «Это я устроил дождь», «Кукушка с часами», «Необыкновенные приключения капитана Бывалова и юнги Шмидта». Член Союза журналистов России и Союза писателей России. Живёт в Саратове.

Тётя Оганя ждала дядю Лёшу с войны.
Весть не благая пришла, что пропал он без вести.
Может, вдова, ожидала она, как когда-то – невестой
В пору свиданий – ждала дядю Лёшу с войны.

«Может быть, просто заглох у него пулемёт...
Из окруженья – штыком, но к своим он уж точно прорвётся.
Ждут его дети и я – обязательно, значит, вернётся.
Дел – эвон сколько! Фашиста вот только добьёт...»

Было три брата, взваливших военную ношу,
Кто по-крестьянски Европу лопатой сапёрной вспахал.
Двое вернулись: мой тятя, потом – дядя Троша,
А дядя Лёша – брат средний – «без вести пропал»...

(А прямым ходом на небо «пропасть» могла просто пехота –
При прямом попаданье снаряда, увязнув в болоте.
Был солдат на земле, да в секунду родного не стало...)
Потому и «пропал», чтоб без вести страна не пропала!

Тётю Оганю-солдатку ни разу не видел я хмурой,
Хоть детям «пропавших» подмоги не ждать от страны.
Так, безотцовщиной выросли Вася и Нюра –
Тётя Оганя ждала дядю Лёшу с войны!

Послевоенный, я к ней относился с любовью,
Хоть и узнал, может быть, в классе третьем уже,
Что её муж – дядя Лёша – мне дядя по крови,
Тётя Оганя не меньше родная – родня по душе.

В те поры посещала нечасто дома наши роскошь,
А по правде сказать, вовсе было ей не до села.
Но в семье нашей, как и в семье городской дяди Троши,
Тётя Оганя всегда главной гостьей, желанною гостьей была.

Много лет миновало с Великой народной Победы.
Не приходит вестей о «пропавших» ни с чьей стороны.
Выросли тётнины внуки, по фото лишь знавшие деда, –
А тётя Оганя ждала дядю Лёшу с войны!

Я слышал, дядя Лёша был в юности тих и по-девичьи скромн...
«Неизвестность» солдата какой подтвердит документ?!
Может, именно он у Кремлёвской стены захоронен –
И приносит цветы ежегодно ему президент?

Не прислали других извещений в казённом конверте.
Да и я не сказал своей тёте за множество лет:
«Тот, кто душу за други своя отдавал, несомненно, бессмертен.
А у Бога без вести пропавших поистине нет».

И всё кажется мне, в предсказанье не слишком рискую,
Моя тётя Огания заслужила надежду свою:
Дядя Лёша дожждётся её – как жену, как святую
(Как и он!) – в уготованном Богом раю.

Валерию Кремеру

Что на Бога роптать да претензии сыпать Отчизне?
В исправленье судьбы это слишком нечестный приём.
Нам почти повезло: мы на пенсию вышли при жизни,
А в тираж выходили в значении только прямо!

Закусивши губу, не кусай сгоряча в общем близкие локти.
Пусть зализывать кровь от душевных приходится ран.
Если гол как сокол – значит, ты не стервятник, а Сокол!
И забудь, что «сукол» – и не птица, а только таран!

В общем, жизнь удалась: пережили и страхи, и страсти
Да, «элитой» не стали (чужих не ломали костей).
Что тараны не вышли из нас – это, в сущности, счастье –
Всё равно мы не сдали душевных своих крепостей.

Андеграунд нам чужд – мы, не прячась, сидели в подвале,
Повернёшься назад – и к себе даже зависть берёт:
Всё равно кое-что мы сквозь душные кляпы сказали.
И сквозь клипы сказали – имеющий уши поймёт...

СЕЛО ПИОНЕРСКОЕ

То не одурь широких масс
И не в небо дыра отверстая –
То поодаль от главных трасс
Видно честное Пионерское.

Комом в горле мой вздох остыл,
И оттаял, и... провалился:
Ведь и я пионером был,
Звонким горном своим гордился!

Может, ангел мне так помог,
Что увидел с широкой улицы:
Белый шифер её домов
Так стесняется, что... волнуется!

Коммунизма в селе не ждут,
Но в погожие месяцы летние
Пионерская зорька тут
Дважды в сутки горит приветливо.

Не ввязавшись ли в давний спор
С перестройками самыми разными,
Красным галстуком этих зорь
Солнце с небом село повязывают?

Хорошо, что ты в мире есть!
Доверяю тебе всем сердцем я.
Окажи же приветом честь
Ты мне, честное Пионерское!

Уважая стезю твою,
Зной и ветер вокруг не зверствуют...
Не забуду тебя, даю
Слово «честное пионерское»!

ДОН КИХОТ

Все читали мы рассказы
Про достойнейший поход,
Где накрылся медным тазом
Храбрый рыцарь Дон Кихот.
Слыл он добрым, слыл он грозным
И любим повсюду был –
От Севильи до Тобоссы,
От Ламанчи... до Курил.
Уж конечно, был немалым
Полководца в нём талант,
Раз из клячи в Буцефала
Превращался Росинант!
Так прославьте, меч и струны,
Как вам совесть повелит,
Дульцинею, то есть Дуню –
Лучшую из сеньорит!

Жаль, что мы всегда «при деле».
Отчего же мы не с ним?
Неужели ж, неужели
В поле воин он один?
В направленьях ошибался,
Тщетно рвался напролом,
Но всегда везде сражался
С заскорузлостью и злом!

Дон Кихот – он, где бы ни был,
Но за честь впадал в экстаз.
И над ним сияет нимбом
Этот самый... медный таз...

Я познать сокровитое задумал –
И теперь легко сказать могу:
«Не волшебнo чудо стеклодувов
По сравненью с дивом на лугу.
Вот она – великая сноровка
В сотвореньe лепестковых звёзд!
И под каждой звёздочкой-головкой –
Трубочка-халява в полный рост!
Вот же: напролёт вторые сутки,
Влаги не страшась и темноты,
Кто из-под земли сквозь эти трубки
Выдувает дивные цветы?
А цветочный сообщает запах:
«Нам (и это, несомненно, так!)
Мать – сыра земля, а солнце – папа.
Может, нам и человек не враг?»

Благовещенье – выпустить «зека»
На свободу. Она человекам
Ну не меньше, чем птицам, нужна!
Вспомним: пушкинский узник в темнице,
Созерцая, завидовал птице.
Эта правда – на все времена.

Возразите мне, гневом палимы,
Что, мол, птицы пред нами невинны,
А преступники – всякому зло.
И уж если избавиться сложно,
Для народного блага возможно
Их хотя бы... уменьшить число.

Безопасней на воле, коль скоро
За решёткой убийцы и воры,
И... людей из них сделает труд!
Но, наверно, хотя и не святы,
Не во всём же они виноваты!
А судить – не попасть ли под суд?!

Как нас радует весть о поимке!
О «посадке» в острог «проходимцев»
С чувством радости слушаем мы.
Благовещенье. Радость сегодня:
Мы от смерти, конечно, свободны,
Но ничуть – от сумы и тюрьмы.

Было немало обещано,
Выпал же жребий иной.
Мир раскололся, а трещина –
Между тобою и мной.
Ветер, остуженный лужами,
Гонит листву, как мышат.
Высшая мера присуждена –
Жить и тобой не дышать.
Ночью дышать возле берега,
Будто нет дела нужней,
И улыбаться потерянно
В кислые лица дождей.
Спрячет красивую, умную
Времени дымная даль.
Ради свободы придуманной
Счастья, конечно, не жаль...

РЕКА ЖИЗНИ – ШАРАШЛА

Н.

Хотя и прежде не терялись,
А всё ж друг друга мы нашли,
Когда (в отдельности) гуляли
В лугах у речки Шарашлы.
Не романтично ли влюбиться
Не в твёрдокаменной Москве –
Среди купав и чемерицы,
На малахитовой траве?!
На цыпочки привстав, избушки
Двух сёл с нас не сводили глаз.
И ласточки-береговушки
Махнули крыльями на нас.
И от села к селу катились
Молва и волны, слухи шли...
И нашей встречей гордились
Костеево и Шарашли!
Но дни касатками летели
И задавали стрекача –
И два села недоглядели,
Как мы расстались сгоряча.
Не утолив любовной жажды,
Глядим: а жизнь почти прошла.
Но кажется: войдём мы дважды
В реку с названьем Шарашла...



**Данила
КАТКОВ**

СВИДЕТЕЛЬ БЕЗЛИКОЙ

Здравствуй, моя радость. Мне тяжело дастся этот разговор, но его не избежать. Ты всегда была беспечной и такой лёгкой – противоположность мне, угрюмому реалисту – порхала по жизни. Я же так не привык, не мог никогда, и эта твоя черта поначалу даже отталкивала меня. Позже именно её я определил для себя как наиболее притягательную, наиболее милую твою особенность. С возрастом я понял, что с тобою просто невозможно поспорить. Счастье наше было столь отчаянным, что у меня захватывало дух, и я боялся себя спросить, сколько же это продлится?

Лёгкость восприятия жизни выливалась в безалаберность в быту. Сравнительно быстро я примирился и с этим, и меня не удивило, что в очередной раз, принимая ванну, ты не закрыла за собой дверь.

Мне случалось подглядывать за тобой и раньше. И ты знала об этом. Я всегда находил в этом особый эротизм, а ты считала меня эстетом, и была права. Это так и есть, и глупо оправдываться, что я излишне трепетно отношусь к внешним атрибутам.

Вчерашним вечером ты стояла перед зеркалом, сбросив бретели платья и оголив груди. Взяв со стеклянной полочки пластиковый флакон с жидкостью для снятия макияжа и обильно смочив ватный тампон, ты провела им по краешку губ. Раствор подействовал не сразу, но рот твой побледнел.

Затем ты почему-то перешла к теням. Ты прикрыла левый глаз и стёрла его. Нет, не тени, не дорогую тушь (я так и не научился разбираться в бесчисленном количестве этих баночек-скляночек), милая, ты стёрла собственный глаз! Весь, без следа! Осталась только кожа! Тонкая полупрозрачная кожа защищала ямку черепной глазницы.

Кричать тогда я не решился, точнее, попросту не смог. Не было в груди моей тех звуков и слов, которые описали бы дикий ужас, что сжал ледяным кулаком моё сердце.

Довольная эффектом, ты снова вернулась ко рту, в два мазка стерев и его, а потом ровно так же поступила с правым глазом и носом. Ополоснув лицо, насухо вытерла его полотенцем.

-
- Данила Сергеевич Катков родился в 1983 году. Кандидат технических наук, доцент. Автор научных и учебно-методических работ. Участник литературных конкурсов. Фантастический рассказ «Модификатор» вошёл в шорт-лист Кубка Брэдли-2018. Пишет в жанрах антиутопии и магического реализма. В литературно-художественном журнале публикуется впервые. Живёт и работает в Саратове.

Наша жизнь разваливалась, таяла в прямом эфире, словно в мерзком ток-шоу на федеральном канале. Я понял, что совсем тебя не знаю. И горько было мне не оттого, что ты другая, а оттого, что я не смог узнать тебя настоящую. Страх мой, он и сейчас рядом. В этом сложно признаться мужчине. Мужчина должен быть выносливым, сильным, чётрым, равнодушным к сентиментальным глупостям. Тогда я испугался того, что ты услышишь меня, поймёшь, что мне теперь известна твоя страшная тайна.

Но ты же знала о том, что я могу подглядывать. Значит, ты хотела мне это показать? Но почему сейчас? Почему так долго скрывала от меня свою сущность? Я хотел спросить тебя об этом. Но как бы ты мне ответила? У тебя уже не было рта!

Будто уловив мой молчаливый призыв, подняв ладони, ты ощупала лицо, взяла в руку косметический карандаш. Он такой мягкий, им пишут не по бумаге. Пальцы твои привычным движением откупорили колпачок и замелькали в отражении. Через пару мгновений ты восстановила свой портрет.

Но свой ли? Черты обновлённого лица были теми же, но и другими. Более округлыми, плавными. Даже губы стали пухлее. А какими они были?

Забавно, я помнил вкус поцелуя всех женщин, которых когда-то любил, с которыми спал, но понял, что не помню тебя.

Я не помню твоего лица.

Ты стёрла губы. Те губы, что целовали меня. Я отвернулся, попытался назад и попытался вспомнить их вкус, но тщетно.

На цыпочках я вернулся на кухню и сосредоточенно размешивал вечерний чай, когда ты как ни в чём не бывало села рядом, погладила меня по щеке.

– Зубы чистить и спать. Завтра у тебя важный день.

Я умылся и лёг в казавшуюся чужой постель.

Ты обвила меня руками, и я ощутил тепло твоего тела. Хотя бы кожа осталась прежней. Та кожа, которую я знаю, запах которой так любил вдыхать, к которой привык прикасаться.

Человек ли ты? Человек ли я? Наше общее «МЫ» давно уже стало чем-то усреднённым в единой красочной упаковке внешнего благополучия.

Казалось бы, сложно ли – оставаться человеком спустя тринадцать лет брака? Ты же не изменишь свою морфологию, не перестанешь быть другим. Если не случится тяжкой болезни или, к примеру, автокатастрофы, ты не потеряешь руки или ноги, сохранишь своё тело, свою драгоценную глянцевою коробку для нищего – уж какой есть – духа.

Мужчине тяжело. Он может облысеть, отрастить пивной живот или, того хуже, псевдостильную бородку. Но женщине всегда с этим сложнее. С возрастом тело меняется, утрачивая упругие, аппетитные формы, те, которые желали десятки абстрактных мужчин. Женщина – как эталон красоты, как объект желания, как сосуд греха, как существо, созданное для материнства, – тысячи лет воспринимается человечеством только так и не иначе.

Я думал, тебя будут пугать эти метаморфозы. Ладно, хотя бы дисциплинировать. Но ты относишься к ним, как и ко всему остальному, слишком поверхностно, будто всё это происходит сейчас не с нами, не с тобой. Каюсь, эта непринуждённость восприятия жизни передалась и мне. Несмотря на всё, что было между нами, я продолжаю с тобой спать, хотя и чаще, чем мне бы хотелось.

– Радость моя, завтра у меня важный день.

Понимающе, но непривычно сладко поцеловав меня в губы, ты отвернулась к стенке. Я смотрел на твою голую спину, на следы, оставленные лиф-

чиком. Три красных родимых пятнышка, разбросанные по правой лопатке, были на месте. Неужели ещё осталось хоть что-то от тебя прежней, от той, что я любил?

Через пятнадцать минут ты уже крепко спала, неудобно, но как ты любишь, положив согнутую руку под тело.

Осторожно я встал и крадучись прошёл в гостиную.

Сна не было ни в одном глазу. Меня била лихорадочная дрожь.

Белый, перевязанный розовой лентой и расшитый жемчугом наш свадебный фотоальбом стоял на торжественном месте на книжной полке.

Я взял его в руки и включил торшер. Мне всегда нравилось его тёплое свечение, дарившее мне домашний уют, когда вечерами я сидел в кресле с томиком Кафки. Сегодняшний вечер не имел ничего общего с обычным, а окружающее пространство стало чуждым мне, поэтому я разместился прямо на полу.

Руки скользнули по богато украшенной обложке и замерли. Я знал, чего я боялся теперь. Я боялся не узнать тебя.

Как вообще я выбрал тебя? Как ты приняла меня?

Это было свидание вслепую. Нас познакомили друзья. Страстей не было. Это было рассудочное решение. Мы оба виновны, оба рассчитывали на этот брак.

Ты уже испробовала это приключение на вкус и знала, чего хотела. Твой первый муж, пленивший тебя артистичностью натуры, в итоге оказался по совместительству лгуном и бабником. Иначе и быть не могло, ведь надо же было тебе представить себя в наиболее выгодном свете. «Красавица и Чудовище» – не более, чем красивая легенда. На самом деле твари всегда две.

При первой же нашей встрече ты представила себя жертвой своего тирана супруга, а я заглотил эту наживку. Не сознавая того, подыгрывал тебе, соглашаясь, что у нас всё будет иначе, что никто больше не причинит тебе боли, что со мною ты не узнаешь ни в чём нужды.

И я имел полное право об этом говорить. К своим тридцати годам – спасибо наследству моей почившей тётушки и протекции моего отца, известного эксперта в области международной экономики – я занимал должность руководителя аналитического отдела в крупной консалтинговой фирме.

Следует сказать, что мне не столько нравилась сама работа, сколько финансовые плоды, которые мы дружно пожинали с тобой вместе все эти годы. Во многом именно это помогло нам продержаться на плаву, в отличие от наших менее удачливых знакомых, чьи семьи развалились из-за взаимных обвинений в невозможности сделать хоть что-то ради общего светлого будущего и рождения очередного ребёнка.

В наших отношениях всегда был минимум романтики, но это вовсе их не омрачало. Скорее, наоборот, отучило от нехорошей привычки сравнивать себя с другими супружескими парами с солидным стажем. Подумать только, эта безмозглая гонка могла бы продолжаться до самого смертного одра: прыжки в высоту «У кого больше получает вторая половина?»; метание копья в категории «Муж взял новый внедорожник на тест-драйв, но мы пока не решились...»; бег с препятствиями «А вы встречали Новый Год в Милане? Это просто чудо!» Чего только стоят бесконечные изнуряющие марафоны: «Ваши дети идут в математическую школу?», «У нас лучший репетитор», «А вы дарите классной даме?..» Далее предлагается выбрать по вкусу: компьютер, яхту, самолёт...

Будто возможно выдумать какой-то идеальный шаблон человеческого счастья, вместить в простую общеизвестную формулу всё многообразие и извращённость человеческих слабостей, страстей и желаний.

Мы жили только так, как это было удобно нам.

Антоша и Наташа – два моих давних друга. Их история любви была закрученнее любого триллера. Она началась с посиделок на чьей-то даче. Через месяц Антоша стрелялся за Наташу на самой настоящей дуэли. Сообразного кодексу инвентаря не нашлось, и его роль исполнили обрез охотничьего ружья и пистолет Макарова. Дикий случай закончился ранением обоих участников поединка и длительным судебным разбирательством. Зато теперь счастливый будущий супруг просто приватизировал любовь и внимание падкой на эффекты зазнобы.

Жили молодые ярко и с душевной широтой, любили застолья, шумные компании, дружеские праздники, оттого, возможно, и быстро старились. Когда я бывал у них в гостях, в коммуналке на краю города, они напоминали мне двух панд, только пьющих и матерящихся. Сложением оба отличались богатырским, с тенденцией к тяжёлой стадии ожирения. Интересно, как скоро бы запачкалась белоснежная шкура китайского медведя, веди он подобный образ жизни?

Внутри каждого их нас живёт плюшевый мишка. С возрастом он превращается в жирного, ленивого, но по-прежнему плюшевого медведя, который ценит свой комфорт, любит мёд и лапой не пошевелит, чтоб покинуть свою берлогу. Ты уже чувствуешь щекотку в животе? Это растёт мех. Растёт внутрь тебя.

Когда родилась Анечка, я перестал у них бывать. Ты была рада, что я помогаю тебе с дочерью, а я старался быть хорошим отцом. Возможно, это не всегда у меня получалось, но я же старался. Я же хотел быть лучше. Я перестал общаться с моими друзьями.

А Перминова? Твоя подружка... Эта вечно всеми недовольная, крикливая истеричка, решившая, что весь мир ей должен. Ленивая, но претенциозная, погубившая жизнь своего мужа, она пыталась пошатнуть нашу веру в наше семейное благополучие. Ей остались только осколки цветного зеркала их прошлого «МЫ», тайком поглядывая в которые, она согревалась мыслью, что и у неё была большая любовь. Осколки мозаики, никогда больше не складывающейся ровно. По моей просьбе, моя умница, ты ликвидировала подругу в один приём.

И только замкнувшись внутри нашего «МЫ», только отрешившись от всех случайных людей, мы начали чувствовать тёплое и сильное счастье, которое всецело принадлежало нам одним.

Мы жили только так, как это было удобно нам.

Смешно вспоминать этих людей. Такие мелочи должны были изгладиться, стереться из нашей общей постаревшей памяти. Хотя я не уверен, существуем ли мы сейчас как необходимое единое «МЫ», объединяющее нас, связывающее по рукам и ногам так крепко, что разъединиться нет возможности никакой, даже если бы мы этого страстно возжелали. Мы проникли друг в друга слишком глубоко, чтобы сожалеть о сумасбродных, манких, но однообразных, преходящих желаниях.

Я счастлив с тобой без всего этого. Без этой глупой, уродливой мишуры. Пускай она украшает лишь этот альбом.

Собравшись с духом, я откинул тяжёлую обложку.

Вот стоим мы, наши родственники. Мой свидетель Шурка напился и упал в фонтан. Его я отчётливо помню. Помню даже красную рожу майора милиции, который вёз нас в отделение.

Твои отец и мама, мои родители. Они так желали нам счастья и здоровья, что мы были приговорены к полноценной семейной жизни в их понимании. Их я тоже отлично помню.

Той женщины, что стоит в пышном платье рядом со мной на фотографии, я не узнаю. Она зовуще улыбается мне, трогает меня. В её руках маленький аккуратный букет, перевязанный такой же, как и этот альбом, приторной розовой лентой. Она пока что молода, недурна собой, в глазах её пляшут озорные огоньки, но мне они чужие.

Каким был твой взгляд?

Случилось то, чего я так страшился. Я не помню тебя. Я не узнаю этих глаз. Но как я могу вспомнить эти глаза, с чем я их могу сравнить? Теперь ты стёрла их! Безжалостно стёрла!

Я вскочил с пола, и затёкшие ноги тут же пронзили тысячи иголок. Дохромав до полки, я взял следующий альбом.

Здесь есть дети. Ирония вселенной: мы все рождаемся в грехе и порочным способом, но нет никого невинней и непорочнее, чем несмышлёное дитя.

В грехе родились и они – Анечка и Ларочка.

Я смотрю на пухлые щёчки, большие и пока что лысые головы, широко распахнутые васильковые глаза.

Эти преступно-невинные лица, они инкарнация тебя. Только они, только в наших прелестных дочках я вижу тебя. Это привилегия – годами видеть тебя такой живой, над которой не властно время! Я очень люблю наших детей. Я благодарен тебе за них.

Современное общество безжалостно к child-free. Оно отрицает иной выбор. Бездетные пары и уж тем паче одиночки рано или поздно становятся в нашей больной коммуне изгоями, ограниченными в общении, негласно ущемляемыми в правах, подвергающимися злорадным насмешкам, снисходительным, якобы понимающе-сочувствующим кивкам и откровенной травле. Спасибо, что ты позволила избежать мне этого удела.

Следующий альбом я просматриваю совсем редко. В нём наклеены фотографии наших близких родственников. Здесь есть свои проблемы. Хотя бы постоянные склоки с моей матерью. Она упорно не хочет видеть в тебе женщину. Что бы ты ни сделала, что бы ни сказала, ты заранее сделала это неправильно. Не так сыплешь крупу в молоко, не так протираешь пол, не так любишь меня, неправильно называешь наших детей. Оправдаться нет возможности.

Еще хуже мои споры с твоим отцом. Он вообще убеждён в невозможности существования такого фантазёра, как я. Заметь, в слово «фантазёр» он вкладывает исключительно негативные смыслы. Нас хлебом не корми – дай оспорить мнение другого, что делает невыносимыми все семейные торжества и праздники. А ведь живых сородичей осталось не так и много. Собираемся мы теперь совсем редко. Зачем мы это делаем? По привычке? Из родственного чувства? Или из-за того, что так надо, так положено, так делают все «приличные» люди? «Приличествования» эти, наверное, единственное, что осталось между нами нормального, человеческого.

Вернувшись в постель, я долго лежал, запутавшись во влажных простынях, размышляя, как же мне рассказать тебе обо всём этом и стоит ли вообще это делать. Сон поглотил меня под утро.

Когда ты упорхнула, я не пошёл на работу, наврав моему заму, что заболел. Этот выскочка, давно мечтавший получить мою должность, поспешил заверить меня, что и без моей помощи в отделе всё будет хорошо, что они отлично справятся с возложенными на них обязанностями, пожелал мне поправляться как следует и не спешить с выходом. Я положил трубку телефона. Этот урод был мне безразличен, но я раздражал его безумно. В том была моя сила и моя победа над ним.

Весь день я думал о том, что же осталось от нашего «МЫ», и понял, что я злюсь на тебя. Из уважения ко мне, своему мужу, ты могла бы скрывать свою тайну годами. Почему ты поступила так безалаберно, так опрометчиво?

Нельзя загонять дорогого тебе человека в угол, не оставляя ему шанса, давить его, гнуть в бараний рог.

Теперь ты будешь вынуждена раскрыть свою чудовищную сущность, и нам придётся расстаться. Ты действительно считаешь, что сможешь вот так легко устраниться из моей жизни? Действительно думаешь, что дочери смогут стать твоей полноценной заменой, твоей копией?

Да что с тобой вообще такое происходит? С каких пор ты начала менять своё лицо, прятать его от меня? Или всё с самого начала было игрой и ложью? Зачем тебе это притворство, кого ты надеешься обмануть?

Нет, не отвечай, это и так ясно. Этот наивный простофиля – я!

Излишне я наивен, излишне мягок с тобой.

Я всё ещё боюсь. Но страх поменялся. Я боюсь в тебе раствориться, потерять свою индивидуальность, своё я. Такое бывало и раньше, но я был вполне уверен в своих силах, знал, что выдержу этот удар, не потеряю себя такого, каким я был в молодости, каким я нравился моим друзьям, девушкам, моим близким людям, самому себе.

Изменить меня частично тебе удалось. Но несправедливо упрекать тебя, в том, что изменения эти исковеркали мою идентичность. Ты во мне – лучшее, что осталось от руин вчерашнего меня.

Но теперь я боюсь, что ты изменишь меня окончательно. Я боюсь, что в одно прекрасное утро я тоже начну рисовать себе фальшивое лицо, потому что своего у меня не останется. Под гримом будет пустота.

Можно ли тринадцать лет прожить с человеком и не знать его истинного лица? Так какое оно у тебя теперь? Его просто нет. Я его не вижу. Ты снова стала для меня тайной. Загадкой.

Послушай, я к тебе обращаюсь! Только не надо во всём меня винить. Если бы не твоя неосторожность, этого разговора могло бы не быть вовсе.

Помолчи. Теперь ты не сможешь мне возразить, потому что у тебя нет рта. Своего рта.

Я люблю тебя, я привык к тебе, я презираю себя, потому что в глубине души знаю, что ты чудовище. Возможно, я когда-нибудь сотру свои глаза, чтобы не видеть тебя такой, не видеть того, во что ты превратилась. Но пока меня всё устраивает, ведь для такого гадкого молчаливого соглашательства взрослые люди придумали название – компромисс. Мы жили и будем жить только так, как это удобно нам.



**Александр
ДЕМЧЕНКО**

ИСХОДНЫЕ ВЕХИ БОЛЬШОГО ПУТИ

В № 1–2 за нынешний год в нашем журнале под заголовком «Две грани великого наследия» была опубликована статья о творчестве Александра Сергеевича Пушкина. В продолжение этой поэтической темы предлагаем нашим читателям аналогичный очерк о творчестве Иоганна Вольфганга Гёте. И если мы называем Пушкина «солнцем русской поэзии», то точно таким же «солнцем» по своей значимости является для немецкой словесности Гёте.

Проживший большую жизнь (1749–1832), он был старшим современником Пушкина (1799–1837). Наш соотечественник прекрасно знал многое из созданного им. Об этом свидетельствует, к примеру, великолепный драматический этюд Пушкина «Сцена из Фауста» (1825), ставший преддверием его «Маленьких трагедий», где, как и у Гёте, тон всему задаёт Мефистофель.

*Вся тварь разумная скучает:
Иной от лени, тот от дел;
Кто верит, кто утратил веру;
Тот насладиться не успел,
Тот насладился через меру,
И всяк зевает да живёт –
И всех вас гроб, зевая, ждёт.*

Но вернёмся к Гёте и остановимся в его многоликой литературной вселенной всего на двух гранях, которые говорят о силе контрастов, наглядно характеризующих титанический масштаб выдающейся творческой личности. Причём грани эти возникли на соседних по времени этапах творческой эволюции. Обозначим

-
- Александр Иванович Демченко – профессор Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова, профессор Саратовского государственного университета, Саратовского государственного социально-экономического университета, Оренбургского государственного университета искусств имени Леопольда и Мстислава Ростроповичей. Член Союза композиторов РФ, Союза журналистов РФ. Заслуженный деятель искусств РФ. Заслуженный деятель науки и образования. Лауреат Всероссийского конкурса на лучшее учебно-методическое пособие. Обладатель Золотой медали В. И. Вернадского за успехи в развитии отечественной науки и Почётного звания «Основатель научной школы». Лауреат Международной премии им. Н. Рериха. Почётный гражданин города Саратова.

эти контрасты следующим образом:
«буря и натиск» – эпоха классики.

Первое стихотворение Гёте появилось в печати в 1766 году. Произошло это без его ведома, по инициативе сторонних людей. Тогда же в его лирике начинают вызревать те мотивы и настроения, которые позже в общественном сознании начнут соотноситься с принципами литературного движения «Буря и натиск».

Поначалу признаки этого движения заявили о себе в бурном кипении искренних, открытых чувств, в их свежести и непосредственности. Через пылкий юношеский порыв и эмоциональную раскрепощённость изливалось горячее биение жизни и по-своему передавалось открытие мира выходящим на его арену молодым поколением.

Как раз с этого и начиналось активное обновление немецкой литературы, что в частности выразилось в освобождении поэтического языка от господствующих условностей, в насыщении его напористой энергией и оборотами живой разговорной речи. Вот почему видный гётевед Н. Вильмонт имел право утверждать: «В его стихах немецкая поэзия впервые заговорила на непринуждённом языке простых и сильных человеческих чувств».

Результат это устремление дало к началу 1770-х годов.

*Как всё ликует,
Поёт, звенит!
В цвету долина,
В огне зенит!*

*Как эту радость
В груди вместить! –
Смотреть! и слушать!
Дышать! и жить!*

(Майская песня)

Эти стихи можно считать манифестом восходящей юности, переживающей весну жизни. Горение души и переполняющий её восторг переданы краткой, сильной строкой и обилием восклицательных знаков. Горячо пульсирующее жизнелюбие нашло для себя естественную форму воплощения в распространённых тогда жанрах анакреонтической поэзии.

Приверженность ей Гёте подтвердил позже в стихотворении «Мои́ла Анакреонта», где в знак своего поклонения перед памятью далёкого предшественника он изъясняется античным слогом.



*Гёте в молодости.
Портрет неизвестного художника.
1780 год*

*Чью здесь гробницу украсили жизнью зелёной и звонкой
Боги? – Под этим холмом Анакреонт опочил.*

Анакреонт близок ему наслаждением жизнью, упоением её радостями. Но Гёте часто обогащает анакреонтику, выводя её в пространство социума, воодушевляя привычный строй образов идеалами братства и вольности. Именно такой смысловой тональности поэт часто подчиняет излюбленный им жанр студенческой застольной.

*В хороший час, согреты
Любовью и вином,
Друзья! Мы песню эту
О дружестве споём!
Пусть здесь пирует с нами
Веселья щедрый бог,
Возобновляя пламя,
Что он в сердцах возжёт!*

*Нет большего богатства,
Чем дружбы естество.
Вкушайте радость братства,
Свободы торжество!
Как весел голос хора,
Как в лад сердца стучат,
И мелочные ссоры
Наш пир не омрачат!*

*Нам подарили боги
Свободный, ясный взор.
Выводят нас дороги
На жизненный простор.
Идём всё дальше, дальше
Под вольности мотив,
От глупости и фальши
Себя освободив.*

*И с каждым нашим шагом
Бескрайней этот путь.
В очах горит отвага,
Стучит веселье в грудь.
Пусть мир перевернётся –
Всё выдержат сердца:
Ведь дружба остаётся
На свете до конца!*

(Песнь содружества)

«Песнь содружества» с характерным для неё энтузиазмом молодости и радостным ощущением мира, распахнутого перед разумным и деятельным человеком, написана в 1775 году. Верность такой анакреонтике Гёте сохранил практически на всём протяжении своего творческого пути. Вновь и вновь появляются у него бодрые, энергичные, жизнеутверждающие пиршественные гимны. Вот, к примеру, «Застольная» 1802 года.

*Дух мой рвётся к небесам
В заблужденье странном:
Не пуцусь ли я и впрямь
В путь по звёздным странам?
Нет, хочу остаться здесь,
В мире безобманном,
Чтобы пить вино и пить
И звенеть стаканом!..*

Сколько неостывающего воодушевления, а ведь поэту уже за пятьдесят! В том же духе написаны «**Ergo bibamus!**» (лат. «А посему выпьем!», 1810), «**Привыкнешь – не отвыкнешь**» (1813) и множество анакреонтических стихов «**Западно-восточного дивана**» (1819), завершённого семидесятилетним Гёте.

Возвращаясь к дням его юности, мы последуем за ним в Страсбург, куда он приехал в 1770 году и где сблизился с теми, кто составил одну из важнейших региональных групп движения «Буря и натиск». То были И. Гердер, Я. Ленц, Ф. Клиггер и др.

Общение с ними сыграло для Гёте роль своего рода катализатора. Вызревавшие в его творческой лаборатории художественные идеи развиваются с максимальной интенсивностью и получают окончательное формирование. Будучи одним из зачинателей «*Sturm und Drang*», он в скором времени создал произведение, наиболее ярко выразившие суть этого движения.

Сам Гёте в те годы был живым олицетворением типичнейшего представителя «Бури и натиска». Один из штюрмеров (И. Гейнзе) описывал его в 1774 году (в разгар создания «Вертера») следующим образом: «*Красивый 25-летний юноша, с головы до пят воплощение гения, силы, мощи, сердце полное чувства, дух, полный огня, с орлиными крыльями*». С этим портретом перекликается и собственное ощущение поэтом особого подъёма сил и творческого горения. Он скажет чуть позже:

*Какая жизнь во мне кипела,
Какой во мне пылал огонь!*

(Свидание и разлука)

Возвеличить не себя лично, а человека вообще, подвигнуть его на героическое служение людям, к высоким целям – вот о чём мечтал Гёте тех лет. Его персонажи бросают вызов обществу. Похожим путём идёт главный герой трагедии Гёте «**Гёц фон Берлихинген**». Показательно, что молодой драматург материалом для своей пьесы избирает события, происходившие в преддверии Крестьянской войны в Германии XVI века, которая по тем временам представляла собой настоящую революцию.

В разработке сюжета он опирался на жизнеописание Гёца фон Берлихингена, созданное им самим в 1557 году (Гёц – уменьшительное от Готфрид). Свободно интерпретируя канву исторических фактов и при необходимости идеализируя реального Гёца, автор моделировал в нём подобие «*бурного гения*» – личности энергичной, волевой, могучей, способной с мечом в руках восстать против несправедливости.

Полное название трагедии: «**Гёц фон Берлихинген с железной рукой**». Действительно, в одном из сражений он потерял правую руку и, заменив её перчаткой из металла, продолжал принимать участие в многочисленных войнах. Вводя упоминание об этом в заглавие пьесы, Гёте хотел не столь-

ко отметить легендарную подробность, сколько придать герою ореол особой твёрдости и отваги.

Бунтарству идейному в произведениях раннего Гёте сопутствовало бунтарство чисто литературное. На место приглаженной, «кабинетной» манере эпигонов классицизма приходят открытость выражения, эмоциональная напряжённость, бурная патетика.

Неоценимую роль в художественном раскрепощении сыграло знакомство с наследием Шекспира, который отныне и навсегда становится кумиром Гёте. В одной из своих статей об английском драматурге он вспоминает: *«Первая же страница Шекспира, которую я прочитал, покорила меня на всю жизнь, а одолев первую его вещь, я стоял как слепорождённый, которому чудотворная рука вдруг даровала зрение. Я чувствовал, что моё существование умножилось на бесконечность; всё было мне ново, неизвестно...»*

И, подтверждая огромное воздействие Шекспира (всё в нём *«поражало и потрясало меня»*), Гёте делает признание в любви: *«Шекспир, друг мой, если бы ты был среди нас, я мог бы жить только вблизи от тебя!»*

Многому учился у него молодой автор: полноте охвата бытия в его многообразии и противоречиях, созданию произведений искусства путём напряжённейшего интуитивно-спонтанного переживания жизни и, наконец, свободе драматургического развёртывания и построения литературной формы.

В отношении драматургии шекспировское особенно ощутимо в трагедиях «Гёц фон Берлихинген» и «Фауст», с характерными для них обилием действующих лиц, резкими перебивами сценического ритма и стремительным перемещением сюжета во времени и пространстве.

В чём-то ученик иногда даже превосходит учителя. К примеру, по части мгновенных перебросов действия из одного места в другое он подчас предвосхищает «кадровый монтаж» кинематографа.

Максимализм социально-нравственных устремлений и связанные с этим бунтарские настроения заметно затронули и первый роман Гёте – **«Страдания юного Вертера»**. Он вложил в это повествование много личного, им самим пережитого, соответственно чему наклонности, свойственные его штюрмерской юности, заявили здесь о себе со всей определённою.

Для подтверждения обратимся к фрагментам письма одного из современников, дающего портрет Гёте ещё до его работы над романом: *«Он одарён различными талантами, это человек подлинно гениальный и притом с характером. Его воображение необыкновенно пылко... Он порывист во всех своих проявлениях... Его образ мыслей благороден. Свободный от предрассудков, он поступает, как ему вздумается, не заботясь о том, нравится ли это другим»*.

Этот эпистолярный портрет легко сопоставить с тем, что говорит о себе гётевский Вертер.

«Часто стараюсь я убаюкать свою мятежную кровь; недаром ты не встречал ничего переменчивей моего сердца! Милый друг, тебя ли мне убеждать в этом, когда тебе столько раз приходилось терпеть переходы моего настроения от уныния к необузданным мечтаниям, от нежной грусти к пагубной пылкости!»

«Мятежная кровь» сказывается в импульсивности реакций и неустойчивости психики, что влечёт за собой резкие перепады настроений и склонность к крайностям в суждениях и поступках, следствием чего стало самоубийство героя.

Эта противоречивость природы делает Вертера «мятущимся мучеником» (так он называет себя в прощальном письме к Лотте) или «мятежным мучеником» (как определял его наш Пушкин).

Глубинная причина мучений Вертера лежит именно в свойственном ему юношеском максимализме. К примеру, он чрезвычайно, по-гамлетовски критичен к окружающей его жизни.

«Удел рода человеческого повсюду один! В большинстве своём люди трудятся по целым дням, лишь бы прожить. Вот оно, назначение человека! Я теряю дар речи, когда вижу, что всякая деятельность сводится к удовлетворению потребностей, в свою очередь имеющих только одну цель – продлить наше жалкое существование».

Разумеется, в этой сентенции есть доля истины, и между строк прочитывается стремление определить для себя более высокое назначение. Но не слишком ли просто, одним взмахом пера зачёркивается привычный жизненный уклад человечества?

Неприятие той жизни, которой живёт большинство, распространяется у Вертера и на те качества, которые составляют так называемое благоразумие. Возводя на пьедестал тех, кто не соответствует нивелирующему стандарту обывательских мерок, он набрасывается на тех, кого обычно именуют положительными людьми, и готов к самым парадоксальным суждениям на этот счёт.

«Для всего у вас готовы определения: это хорошо, а то плохо, это умно, а то никуда не годится... Вы, благодетельные люди, хвалите пьяниц, презираете безумцев и, подобно фарисею, благодарите Господа, что Он не создал вас подобными им.

Я не раз бывал пьян, в страстях своих доходил до грани безумия и не раскаиваюсь, ибо в меру своего разумения постиг, почему всех выдающихся людей, совершивших нечто великое, издавна объявляли пьяными и помешанными.

Но и в обыденной жизни несносно слышать, как вслед всякому, кто отважился на мало-мальски непредусмотрительный поступок, непременно кричат: «Да он пьян! Да он рехнулся!»

Не стыдно ли вам, так называемые трезвые люди и мудрецы!»

При достаточном паритете плюсов и минусов Вертер уже не хочет замечать хорошего, он склонен раздувать в себе огонь недовольства и изливать желчь по любому поводу. Да, можно сколько угодно говорить о рутине и дрязгах чиновного мира, о сословной спеси аристократов, указывающих Вертеру, как человеку бюргерского происхождения, подобающий ему «шесток», но всё-таки корень его разлада с окружающей жизнью крылся в нём самом, в его типично штюрмерской нетерпимости и в презрении ко всему обычному – разве не показательна в этом отношении его фраза об обществе «мелких людишек, кишащих вокруг»?

Расплатой за сложный, неуживчивый характер стали несостоявшаяся карьера и полное разочарование. Это приходится с горечью констатировать и самому Вертеру, вернувшемуся в родные места.

«Тогда, в счастливом неведении, я рвался в незнакомый мне мир, где чаял найти столько пищи для сердца, столько радостей, насытить и умиротворить мою алчущую, мятущуюся душу. Теперь, мой друг, я возвратил-

ся из дальнего мира с тяжким бременем несбывшихся надежд и разрушенных намерений!»

«Гёц фон Берлихинген» и «Страдания юного Вертера» стали вершинами литературы «Бури и натиска». Чрезвычайно много значили они и для самого Гёте, для его писательского самоутверждения. В чём же это состояло?

Основным жанром штюрмеров считается драма, и он первым дал её яркий, типичный образец. Для своего времени это было совершенно новым словом в немецкой драматургии: избрав для себя прототипом исторические хроники Шекспира, Гёте в национально-самобытной форме воссоздал широкую панораму событий в их масштабном охвате, передав через бунтарские умонастроения прошлого политическую ситуацию современности. Поэтому закономерно, что с «Гёца», написанного в 1771 году, началась его писательская известность в Германии.

И столь же закономерно, что роман о Вертере, созданный в 1774 году, принёс молодому автору всеевропейскую славу. Такого широкого читательского интереса не вызвало впоследствии ни одно другое произведение Гёте – эта вещь стала настоящим бестселлером XVIII века, бестселлером в лучшем смысле этого слова.

Свидетельство невероятного успеха – появившиеся тогда многочисленные инсценировки и подражания или такой чисто внешний момент, как вошедший в моду костюм героя (синий фрак, жёлтый жилет, высокие сапоги с отворотом).

Известны многочисленные случаи, когда молодой человек, следуя примеру Вертера, кончал жизнь самоубийством, оставив перед этим своей возлюбленной прощальное послание.

Примечателен и тот факт, что французский перевод «Вертера» стал настольной книгой семнадцатилетнего Наполеона. Как он утверждал позже, этот роман был прочитан им семь раз. И когда, завоевав Германию, он оказался в местах, где жил Гёте, его настоятельным желанием было повидать высокочтимого автора, что и произошло.

«Действие моей книжки было велико, можно сказать даже, огромно – главным образом потому, что она пришлась ко времени. Как клочок тлеющего трута достаточно, чтобы взорвать большую мину, так и здесь взрыв, происшедший в читательской среде, был столь велик оттого, что мир сам уже подкопался под свои устои; потрясение же было таким большим оттого, что у каждого скопился избыток взрывчатого материала – преувеличенных требований, неудовлетворённых страстей и воображаемых страданий».

Так Гёте объяснял причину небывалого успеха «Вертера». Примерно о том же писал позже и Т. Манн: *«Казалось, будто читатели всех стран тайне, неосознанно только и ждали, чтобы появилась книжка какого-то ещё неизвестного молодого немецкого бюргера и произвела переворот, открыв выход скрытым чаяниям целого мира».*

Действительно, автору «Вертера» посчастливилось впечатляюще поведать о «скрытых чаяниях» своего поколения, раскрыв их через самоизлияния живо чувствующего юноши, через его стремление найти своё место в жизни, а также через то, что сам Гёте назвал «преувеличенными требованиями» и «воображаемыми страданиями».

Именно посчастливилось, поскольку на писателя снизошло тогда особое вдохновение – он создал роман за четыре недели, целиком отрешившись от внешнего мира, а в чём-то даже и от самого себя.

«Вещь эту я написал почти бессознательно, точно лунатик, и, прочитав её для того, чтобы внести кое-какие изменения и поправки, сам изумился».

То был совершенно спонтанный творческий акт, в котором Гёте выступал в качестве некоего медиума. Нечто подобное скажет позже И. Стравинский о своём знаменитом балете, сделавшем настоящую революцию в музыкальном искусстве начала XX столетия: *«Я слышал и записывал то, что слышал. Я – тот сосуд, сквозь который прошла «Весна священная».*

Нет сомнения, что такие «аномалии» творческого процесса возникают только тогда, когда создаются творения, действительно вызванные острыми потребностями времени.

Что касается «Страданий юного Вертера», необходимо упомянуть о важнейшем общеевропейском художественном направлении, опыт которого ощутимо воздействовал на литературу «Бури и натиска». Имеется в виду сентиментализм, в противовес рационалистическим склонностям времени утверждавший примат чувства, страсти. Вертер, человек чувствительной, легко ранимой души, не раз горячо обсуждает эту тему.

Сродни своему герою и автор, всеми силами стремящийся вызвать к нему глубокое сочувствие.

«Я бережно собрал всё, что удалось мне разузнать об истории бедного Вертера – предлагаю её вашему вниманию и думаю, что вы будете мне за это признательны. Вы проникнетесь любовью и уважением к его уму и сердцу и прольёте слёзы над его участью».

В согласии с этикой сентиментализма у Гёте этих лет чувство всегда одерживает верх над рассудком. Яркое выражение эта принципиальная установка получила в трагедии **«Клавиго»**, написанной в один год с «Вертером».

Как и в пьесе «Гёц фон Берлихинген», Гёте воспользовался здесь чужим жизнеописанием. На сей раз это были только что опубликованные, но уже имевшие шумный успех «Мемуары» его старшего современника П. Бомарше.

В них французский писатель рассказывает о поездке в Мадрид для спасения чести сестры, обманутой журналистом Клавихо, не выполнившим обещания жениться на ней. В последних актах своей пьесы Гёте во многом отклоняется от первоисточника, в том числе вводя трагическую развязку.

«Импортируя» фабулу из Франции, Гёте заодно как бы наследует у этой страны, которая была родиной классицизма, и модель классицистской трагедии, основанную на борьбе личного и общего, чувства и долга. Но модель эту он преобразует на сентименталистский лад. Интересующее его столкновение *ratio* и *emotio* получает действенное выражение в коллизиях сюжета, суть которого состоит в следующем.

Даровитый молодой человек из провинции, появившись в Мадриде и приоровившись к требованиям придворной жизни, неустанными трудами добивается видного положения и имеет возможность достичь ещё большего. Только что он был в высшей степени увлечён Мари Бомарше, молоденькой француженкой, не имеющей за собой ничего, кроме доброй души и привлекательной наружности. Клавиго обещал жениться на ней, но теперь в своих честолюбивых помыслах избегает её.

Девушка в отчаянии зовёт на помощь брата из Франции. Тот принуждает Клавиго вернуться к Мари и дать повторное обещание жениться. Но Карлос, друг Клавиго, убеждает его не придавать особого значения вопросам так называемой порядочности и повторно нарушить обещание.

Мари, не вынеся треволнений, умирает. Клавиго возле её тела осыпает себя проклятиями, а Бомарше в порыве мести смертельно ранит его.

Как видим, главный герой мучительно мечется между подмывающими его тщеславными намерениями, с одной стороны, а с другой – понятиями чести, долга, человечности вкупе с чувством любви к Марии, которое живёт в его сердце.

Если вести разговор о последователях Гёте, то необходимо упомянуть Ф. Шиллера, который, будучи моложе своего будущего друга, пришёл в большую литературу десятилетием позже. В 1780 году он выступил на театральных подмостках как раз в роли Клавиге, эта трагедия явно воздействовала на него, что отчётливо заметно, к примеру, в пьесе «Коварство и любовь». А «Гёц» своим бунтарским запалом несомненно предвосхищал шиллеровских «Разбойников».

Таким образом, можно сказать, что в некотором роде Гёте прогнозировал творческий потенциал своего будущего единомышленника, которому было суждено завершить эволюцию «Бури и натиска».

Самого Гёте отзвуки этого движения сопровождали ещё долгое время, и самым сильным из них стал «Эгмонт», что вовсе не случайно, поскольку замысел трагедии возник ещё в 1775 году, хотя завершение работы над ней растянулось до 1787-го.

В главном герое Гёте воплотил свой идеал человека самых высоких достоинств. Впоследствии он скажет об Эгмонте, что его *«человеческое и рыцарское величие восхищало меня»* – молодой драматург таким воспринял это историческое лицо, ознакомившись с различными описаниями и свидетельствами.

Но вдобавок он вдохнул в образ немало из того, к чему побуждали общественные потребности, в чём откровенно признавался: *«Я придал ему необузданное жизнелюбие, безграничную веру в себя, дар привлечь сердца, а следовательно, и приверженность народа... Личная храбрость – тот фундамент, на котором зиждется всё его существо. Он не ведает опасностей и смело идёт навстречу величайшей из них – смерти»* («Поэзия и правда»).

Таким же хотел бы видеть Гёте тех лет и своего современника. Но ещё важнее то, что вокруг этой фигуры он завязывает проблемный узел произведения. Сопоставляются два полюса – граф Эгмонт (власть либеральная, республиканского типа) и герцог Альба (власть авторитарно-деспотическая). И есть некая равнодействующая – Маргарита Пармская, сестра испанского короля Филиппа II, правительница Нидерландов, где происходит действие пьесы.

Люди отзываются о ней с почтением: *«Она умна и во всём знает меру»*. И в самом деле, Маргарита действует гибко, осмотрительно, умело используя компромиссы, и понимает всю относительность возможностей тех, кто находится у кормила власти.

«Мало значим мы, сильные мира сего, в волнах житейского моря. Нам кажется, что мы властвуем над ними, а они возносят и низвергают нас, подхватывают и несут то в одну, то в другую сторону».

Не с подачи ли гётевского «Эгмонта» эту мысль о достаточно скромной значимости власть имущих для исторического процесса будет развивать самым активным образом Л. Толстой в романе «Война и мир»?

Ту же тему продолжают раздумья Маргариты Пармской о смуте и бунте, что бушевали в стране совсем недавно. В ответ на упрек помощника, что он, в отличие от неё, предвидел это, она отвечает: *«Я тоже многое предвижу, но ничего не могу предотвратить»*.

Стремясь подчеркнуть незаурядный ум правительницы, Гёте вкладывает в её уста немало примечательных суждений. Одно из них касается опять-таки власти, её притягательности: *«Для того, кто привык повелевать и каждый день держит в своих руках тысячи людских судеб, сойти с престола – всё равно что сойти в могилу».*

Альба, присланный в Нидерланды испанским королём Филиппом II вместо отстранённой от дел Маргариты Пармской, – сторонник крайних мер, чисто силового воздействия на подвластных ему, и своё главное оружие видит в том, чтобы наводить страх и ужас. Судя по словам Эгмонта, особенно опасен он тем, что *«любого готов обвинить в богохульстве, в оскорблении короля, ибо тут, на основании закона, можно колесовать, сажать на кол, четвертовать и предавать сожжению».*

Полную противоположность ему являет Эгмонт, который по своему статусу являлся наместником Фландрии, богатейшей части Нидерландов. Он описан драматургом так, что вызывает одинаковое восхищение в любой своей ипостаси – как отважный воин, государственный муж, любящий человек.

При первом же упоминании о нём становится ясно, что речь идёт о личности выдающейся. Солдат из его войска выигрывает состязание в стрельбе, и, когда его хвалят, сравнивая с Эгмонтом, он отвечает: *«Куда мне до него, я – так, мелкая сошка. Никто на свете лучше Эгмонта не стреляет».* За ратные подвиги в народе его называют великим.

Достоинства Эгмонта раскрываются в его отношениях с Клерхен, девушкой из народа. В разговоре с матерью она произносит: *«Все провинции его боготворят».* И мать подтверждает: *«Да, Эгмонт редкий человек, радостный, приветливый, открытый».* Действительно, он поистине светоносное существо и сознаёт в себе это: *«Я жизнерадостен, ко всему отношусь легко, живу, что называется, во весь опор – это моё счастье, и я не променяю его на безопасность склепа».*

Светоносность и лёгкость природы, стремительность жизненного ритма, открытость и прямоту характера распространяются и на то, как он вершит дела – быстро, разумно и милосердно. Как никто другой, Эгмонт способен обеспечить то, по части чего бюргеры провозглашают тост: *«За безопасность и покой! За свободу и порядок!»* Поэтому народ хотел бы видеть его правителем Нидерландов. Таков вывод, вытекающий из дебатов о власти, разгорающихся в среде горожан с самого начала пьесы.

«Нам нужен государь свободный и весёлый, как мы сами, пусть бы сам жил и другим жить давал... Почему все у нас привержены графу Эгмонту? Почему мы его чуть ли не на руках носим? Да потому что он желает нам добра, потому что весёлость, широта натуры и благожелательство у него на лице написаны, потому что нет у Эгмонта ничего, чем бы он не поделился с тем, у кого в этом нужда».

Средоточием и драматическим центром дискуссий о формах правления становится диалог Эгмонта и Альбы в IV акте, где в споре с фанатичным посланцем испанского короля Эгмонт решительно высказывается в пользу демократической власти и даже позволяет себе критику действий Филиппа II.

«Разве добрая воля народа не самый лучший, не самый надёжный залог? Клянусь Богом, престол всего надёжнее там, где все стоят за одного и один за всех... Король решил на то, на что не следовало бы решаться ни одному властителю – подорвать мощь народа, его дух, чувство собственного»

достоинства, унизить его, уничтожить – для того, чтобы удобнее было им управлять».

За эту смелость и за свои убеждения Эгмонт платит головой, оказываясь жертвой подлости и коварства. Идя на казнь, он призывает соотечественников с оружием в руках биться с притеснителями.

«О, храбрый мой народ! Как море, что сокрушает твои плотины, так и ты круши тиранов злых крепость! Гони их с неправедно захваченной земли!.. За родину идите в бой! За благо высшее сражайтесь, за свободу!»

Обращаясь к событиям двухвековой давности, Гёте явно рассчитывал на знание театральной аудиторией исторического контекста – знание, которое должно было пробуждать отчётливые ассоциации с актуальной тогда ситуацией кануна Французской революции и с характерным для тех лет революционным брожением мира в целом.

Дело в том, что Эгмонт был одним из первых вельмож страны, и жестокость испанских властей по отношению к нему (казнь и конфискация имущества) подтолкнула нидерландцев к активным действиям. Начавшаяся война против Испании закончилась установлением независимой республики.

Таким образом, раскрытая драматургом ситуация явилась исходным пунктом Нидерландской революции конца XVI века, которая была в мировой истории первой буржуазной революцией.

«За благо высшее сражайтесь, за свободу!» – итоговая мысль и заключительный аккорд трагедии. Сознательность проведения этой идеи подтверждается следующим обстоятельством: автор категорически настаивал на том, чтобы спектакль шёл непременно с написанной к нему музыкой Бетховена, этого вдохновенного выразителя идеалов свободы.

У Гёте было несколько заветных идей, которые сопровождали его на протяжении всей жизни. Одна из них как раз и связана с понятием свободы. С этого ключевого для себя слова он, в сущности, начинал свой путь в искусстве – имеется в виду его первая историческая драма «Гёц фон Берлихинген».

Пережив мятежные годы «Бури и натиска», Гёте уже с середины 1770-х годов постепенно переходит на более умеренные позиции, к более сдержанному и спокойному тону художественного высказывания. Теперь он отказывается от противостояния с миром, ищет путей позитивного контакта с ним.

Позже писатель скажет, что был *«по природе своей склонен к примирению»*, и, более того, придёт даже к такой точке зрения: *«В нашем мире всё непримиримое кажется мне совершенно абсурдным»*. И со временем тенденция эта в его мировоззрении нарастала.

Вот почему, когда читаешь написанную в преклонные годы книгу «Поэзия и правда», повествующую о молодости автора, может возникнуть ощущение, будто никакого движения «Бури и натиска» не существовало и в помине, настолько всё здесь «откорректировано», сглажено и подано в призмах жизневосприятия сугубо положительного и благонамеренного человека.

Показательна соответствующая эволюция гражданских взглядов Гёте. К 1790-м годам он совершенно отходит от былого радикализма, исключив какую-либо остроту в своих социальных воззрениях. Теперь политическая критика если и звучит в его устах, то выражается чаще всего в мягкой,

доброжелательной форме, скорее в форме пожелания, чем порицания, как находим это в одной из многочисленных его эпиграмм.

*Стал повелителем тот, кто о собственной выгоде помнил –
Мы предпочли бы того, кто б и о нас не забыл.*

Пройдя уроки трагедий «Гёц фон Берлихинген» и «Эгмонт», Гёте укрепился в убеждении, что социальные преобразования необходимы и неизбежны. Однако довольно быстро он осознал неоправданность насильственного способа их реализации.

Теперь, наблюдая за событиями Французской революции, этого самого грозного катаклизма того времени, он утверждает в отрицательном отношении к подобным переворотам, склоняясь к мнению о несомненных преимуществах поступательного развития путём реформ и просветительских усилий.

От гражданского радикализма его особенно отталкивали два момента. Во-первых, как он убедился, революции, помимо бедствий разного рода, выносят на поверхность низменные инстинкты, и на таких этапах в жизни начинают верховодить отнюдь не самые достойные люди (в полный голос об этом сказано в комедии «Гражданин генерал», 1793).

И во-вторых, по понятиям Гёте, высокие лозунги, под прикрытием которых обычно совершаются все перевороты, никогда не совпадают с конечными результатами.

И в собственно художественном плане Гёте постштюрмерского периода кардинально меняет отношение к недавно ещё отвергавшейся системе академических канонов. Отныне он вовсе не находит их стесняющими, с видимым удовлетворением накладывает на себя узы определённых правил, сознательно ставит творческой фантазии достаточно жёсткие рамки.

На этой основе как раз и складывался к концу 1780-х годов так называемый *веймарский классицизм*. Своё наименование он получил ввиду того, что судьбе было угодно свести в эти годы в одном городе (то был Веймар) двух выдающихся художников слова – Гёте и Шиллера.

Внутренний смысл веймарского классицизма связывался с отходом от бунтарства «Бури и натиска», с идеей совершенствования общества путём улучшения нравов и воспитания гуманной личности, а также с желанием внести в умы, взбудораженные катаклизмами революционного времени, дух ясности, гармонии и уравновешенности.

С точки зрения происходивших перемен Гёте всегда с благодарностью вспоминал Шарлотту фон Штейн, которая была добрым гением его первого веймарского десятилетия, оказав на него самое благотворное воздействие во всех отношениях – от манеры поведения до упрочения строгой интеллектуальной дисциплины.

Исходные принципы нового направления Гёте и Шиллер нашли для себя в трудах выдающегося немецкого историка искусств И. Винкельмана (1717–1768), одного из основоположников эстетики классицизма эпохи Просвещения. Вслед за ним они признают образцом для себя античную культуру и вдохновляются сформулированным им принципом «*благородной простоты и спокойного величия*».

В русле веймарского классицизма соответствующую метаморфозу переживает и стилистика. Изложение отличается рационалистической ясностью. Слог становится размеренным, стихотворная строка максимально протяжённой, причём пятистопный нерифмованный стих и «гомеровский» гекзаметр используются даже в вещах, написанных по следам событий

современности (к примеру, в трагедии «Внебрачная дочь» и в поэме «Герман и Доротея»).

Точно так же произведения самой различной ориентации обнаруживают сходные приметы нормативной эстетики: минимальное количество действующих лиц, единство места и времени действия. Всё это получило своё концентрированное выражение в стихотворных драмах «Ифигения в Тавриде» и «Торквато Тассо».

В первой из них находим полное соблюдение всех «стандартов» классицистского театра: так называемые три единства, мифологический сюжет, пятиактная структура. Тему, более всего известную по одноимённой трагедии Эврипида, Гёте трактует в соответствии со свойственной ему настроенностью этих лет.

Пьеса зовёт к успокоению духа, к благородству поступков, к мирному разрешению противоречий – разумно и гуманно, без насилия и крови. Кстати, с аналогичными устремлениями создавал в те же годы оперу с тем же названием К. Глюк, что дополнительно подтверждает правомерность подобных тенденций на данном этапе.

Высокий строй чувств и помыслов определил в драме Гёте строгость и уравновешенность изъяснения, неспешную обстоятельность повествования, что устанавливается с самого начала – с первого монолога Ифигении, написанного в нормах типично античного стихосложения.

*Под вашу сень, шумливые вершины
Священной многолиственной дубравы,
Как в храм богини, полный тишины,
Я и сегодня с трепетной душой
Вхожу, как в первый раз сюда входила...
Стою часами на кремнистом бреге,
Томясь душой по Греции любимой,
И вторят волны горестным стенаньям
Одними лишь раскатами глухими.
Увы тому, кто вдалеке от близких
Жить обречён! Ему печаль сдувает
С молящих губ все радости земные...*

Вот оно, «олимпийство» Гёте – о трагическом одиночестве человека, заброшенного роковой судьбой в чужие края, говорится очень спокойно, уравновешенно, величаво.

Параллельно древнегреческим аллюзиям в творчестве поэта веймарского периода не менее сильно заявили о себе римские увлечения. К реликвиям этого города он испытывал особое пристрастие, что однажды выразил звучным восклицанием: «О Рим, ты целый мир!».

В «Римских элегиях» некто говорит ему: «Ты с восхищеньем глядишь на руины древних построек, / Бродит без усталости твой ум по священным местам», что в том же сборнике подтверждено словами от себя: «Теперь меня классический край вдохновляет».

От римской поэзии и более всего от своего любимого Горация он перенимает такие притягательные для него качества, как выверенность мысли, уравновешенность духа и безусловный контроль интеллекта над эмоциями и побуждениями.

Глубокое знание античности, почерпнутое в процессе ознакомления со всеми доступными печатными источниками в ходе посещения музей-

ных экспозиций и длительного пребывания в Италии (особенно продолжительного в Риме), наложило глубокий отпечаток и на творчество Гёте послевеймарского периода. Достаточно назвать вторую часть «Фауста», до краёв наполненную мифологической атрибутикой и в отдельных сценах изложенную античным слогом (например, «Перед дворцом Менелая в Спарте»).

Веймарский классицизм стал для Гёте ядром и своего рода кристаллом его интерпретации позитивной программы эпохи Просвещения – эпохи, которой в основном и принадлежало его творчество. Опорные пункты этой программы базируются на категориях гуманности, гармонии и оптимизма.

В отношении гармоничности важны два момента. Во-первых, писателю явно импонирует горацевский принцип *«золотой середины»*, адаптируемый к условиям эпохи. И во-вторых, становится целительным источником умиротворения и покоя природа.

Об этом прекрасно сказано в стихотворении **«Ночная песнь путника»**, известном русскому читателю в переводе М. Лермонтова («Из Гёте», а в широком обиходе под названием «Горные вершины...»).

*Горные вершины
Спят во тьме ночной,
Тихие долины
Полны свежей мглой;
Не пылит дорога,
Не дрожат листья...
Подожди немного –
Отдохнёшь и ты!*

Герои многих произведений Гёте этого времени находятся с природой в самом тесном общении (может быть, особенно это ощутимо в романе **«Избирательное сродство»**), и она одаряет их несравненными радостями.

Благодаря, нисходящая от неё на душу, с одной стороны, вызывает поэтику символов и импрессионистических штрихов, а с другой – побуждает очеловечивать пейзаж, то есть находить в нём созвучное человеческим эмоциям и отношениям.

*Сверху сумерки нисходят,
Близость стала далека,
В небе первая восходит
Золотистая звезда.*

*Всё в неверность ускользает,
Поднялась туманов прядь,
Сумрак тёмный отражает
Озерная сонно гладь.*

*Вот с восточного предела
Ожидается луна.
С ивой стройною несмело
Шутит близкая волна...*

(«Сверху сумерки нисходят...»)

Что касается оптимизма, то важен не только общий заряд бодрости и жизнелюбия, но и настойчивое стремление Гёте поддержать тех, кому пришлось претерпеть жизненную катастрофу. Принципиально важный «рецепт» на этот счёт дан в «Фаусте».

*Но справься с печалью,
Воспрянь, полубог!
Построй на обвале
Свой новый чертог.
Но не у пролома,
А глубже, в груди,
Свой дом по-другому
Теперь возведи.
Настойчивей к цели
Насущной шагни
И песни веселья
В пути затяни.*

На рассмотренных категориях базировались контуры самого характерного для творчества Гёте типажа. Это человек вполне земной, но с несомненной доминантой положительных качеств. Обычно он принадлежит к среднему слою общества, наделён широким кругозором, много знает и глубоко чувствует, отличается любознательностью и восприимчивостью.



*Портрет Гёте работы
О. Кипренского, 1823*

Судя по мемуаристике Гёте, ему и в жизни посчастливилось встретить множество таких людей – умных, честных, добрых, даровитых, замечательных в том или ином отношении. Не менее часто присутствуют они и на страницах его беллетристики.

То, что рисовалось воображению писателя, отнюдь не было только созерцаемой художественной иллюзией. Он стремился посредством слова деятельно утверждать желаемое. В этом ему, как и ряду других литераторов тех десятилетий, служил особый повествовательный жанр, вошедший в историю под названием *роман воспитания*.

Жанр этот получил распространение и в среде штюрмеров («Антон Рейзер» К. Морица, «Ардингелло и блаженные острова» И. Гейнзе), но только в творчестве

Гёте времён классики он обрёл подлинную масштабность, став значительным памятником немецкой словесности.

Самым характерным образцом этой повествовательной формы можно считать роман «**Годы учения Вильгельма Мейстера**» (1796). Натура главного героя, каким он обрисован писателем, наилучшим образом соответствует целям данного жанра, поскольку Вильгельм всем своим существом тянется к тому, чтобы познать мир и самого себя. Об этом он говорит:

«Достичь полного развития самого себя, такого, каков я есть, – вот что с юных лет было моей смутной мечтой, моей целью».

И роман повествует о начальной поре жизни, об осознании своего «я», его потребностей и стремлений, о выборе жизненного пути, о становлении личности с её исканиями, заблуждениями и тягой к свету, добру, гармонии – то есть всё то, что и составляет обычно содержание романа воспитания.

Конечное назначение такого романа – очертить облик действительно достойного человека. Поэтому принципиально важной оказывается здесь вставная книга, названная очень симптоматично: *«Признания прекрасной души»*. В ней прямой параллелью к движению жизни Вильгельма оказывается судьба женщины, которая как бы аккумулирует в себе лучшие черты человека Просвещения.

«Не помню, чтобы с детских лет какое-либо чувство владело мною сильнее, нежели живой отклик на людские нужды, которые я видела повсюду. Глаза мои как бы самой природой назначены были обнаруживать повсюду и дитя, ещё не стоящее на ножках, и старца, уже не способного держаться на ногах, и желание богатой семьи иметь детей, и невозможность для бедняков прокормить своих ребятишек.

При виде нищего в лохмотьях я вспоминала, сколько лишней одежды висит в шкафах моих близких; при виде детей, что чахли без присмотра и заботы, мне приходила на ум та или иная женщина, которая томится от скуки, живя в холе и богатстве...»

Воспитательный жанр в известной мере обязывает к назидательности, и эта дидактическая направленность своё законченное выражение получила в романе **«Годы странствий Вильгельма Мейстера»**.

Выпустив в свет предыдущий роман, Гёте писал Шиллеру: *«Судя по Вашему письму, мой роман нуждается в продолжении. Желание продолжить его у меня имеется. Оставлены для этого и нужные зацепки в самом тексте напечатанного романа»*.

Приведённые строки косвенно свидетельствуют, насколько занимала писателя идея совершенствования человека и улучшения условий его жизни. В *«Годах странствий»* на сей счёт приводится масса всевозможных проектов, и роман во многом перерастает в трактат, воспевающий лучшие человеческие качества.

Сюжетно-воспитательная функция акцентирована тем, что Вильгельм, продолжая познавать жизнь сам (*«Я пустился в путь затем, чтобы смотреть и мыслить»*), помогает вступить в жизнь и своему маленькому сыну. И любопытно, что те из окружающих, кто не знает, что это его сын, высказывают предположение: *«Вы, очевидно, практикующий педагог, приставленный к мальчику, которого доверили вашему руководству, с тем чтобы вы уже в раннем возрасте показали ребёнку всё многообразие мира и привили ему верный взгляд и твёрдые правила»*.

Примыкает к жанру романа воспитания и книга **«Поэзия и правда»**, самая большая и примечательная в серии мемуаров, имеющих одинаковый подзаголовок: *«Из моей жизни»* (кроме *«Поэзии и правды»* в эту серию входят *«Путешествие в Италию»* и *«Французская кампания 1792 года»*). Вместе взятые, они составляют повествование о том, что происходило с Гёте и окружающим его миром на протяжении трёх с лишним десятилетий.

«Поэзия и правда» выделяется в этой автобиографической прозе не только объёмом. В сущности, перед нами настоящий роман, с той лишь разницей, что написан он на реальном материале собственной жизни, а название книги

подразумевает следующее: «*правда*» – действительные факты жизни, «*поэзия*» – их истолкование.

Рассказывая о формировании человеческой индивидуальности в её взаимодействии с окружающим миром и под его многообразным воздействием, Гёте создаёт то, что В. Маяковский обозначил формулой «*о времени и о себе*». Через пережитое, виденное и слышанное в детстве и юности, он реконструирует чрезвычайно объёмную и насыщенную панораму немецкой жизни второй половины XVIII столетия.

В анализе процесса созревания личности красной нитью проходит мысль об эффективности целеустремленного и настойчивого самовоспитания (кстати, выражение *красной нитью* ввёл в язык как раз Гёте).

Своего героя, человека высоких достоинств, Гёте искал чаще всего в близкой себе среде бюргерства. Сам он был отпрыском состоятельной семьи уважаемых горожан, и его родной Франкфурт-на-Майне, имевший с XIV века статус вольного города, располагал самыми основательными бюргерскими традициями.

Дед поэта по отцовской линии начинал портным, прадед был кузнецом. Дед по материнской линии носил фамилию Текстор, что говорит само за себя (немецкое *ткач*). Его чтили и внука назвали тем же именем – Иоганн Вольфганг.

За два года до появления маленького Гёте его дед был избран шультгейсом Франкфурта-на-Майне, что означало быть главой города, и будущий поэт два десятилетия мог общаться с этим замечательным человеком.

Имея такие корни, Гёте без каких-либо манифестов и программных заявлений верой и правдой служил своим творчеством третьему сословию, восхождение которого составляло ведущий движущий мотив той эпохи. В бюргерстве, как и в крестьянстве, он видел основу нации, поэтому мог сказать: «*Падения тронов и царств меня не трогают; сожжённый крестьянский двор – вот истинная трагедия*».

В существовании этого сословия Гёте выделял глубокий общечеловеческий смысл, ещё на заре Просвещения выраженный словами Вольтера: «*Надо возделывать наш сад*» (повесть «Кандид», 1759). Эту идею со времён классики поэт разрабатывал настойчиво и многообразно. В «*Годах странствий Вильгельма Мейстера*» находим строки:

*За безудержным порывом
Радость, мудрость вслед идут;*

*Будь влюблённым, будь счастливым,
Но основа жизни – труд.*

«*Фауст*», при всей его сложности и многомерности, сводится к очень простой истине: смысл жизни состоит прежде всего в неустанной созидательной деятельности, в каждодневных трудах человеческих. И длительный нравственный поиск, который ведёт главный герой трагедии, завершается обретением мысли, состоящей в том, что деяния для общего блага, работа каждого для всех – вот высокая необходимость и главное предназначение человека.

Настоящим гимном бюргерству стала поэма «*Герман и Доротея*» (1797). В форме бесхитростного сказа о том, как двое молодых людей нашли своё

счастье, очерчиваются контуры положительного идеала, обретаемого в совершенно реальной, современной и притом самой широкой социальной среде.

Автор явно любит патриархальный уклад небольшого городка, потревоженного отзвуками Французской революции, любит степенной, основательной жизнью его обитателей, их домовитостью. Вот мать в поисках Германа идёт по своему саду.

*И, углубляясь в него, любовалась расстиелом каждым
Да по пути поправляла высокие колья, на коих
Ветви покоились яблонь и груш, отягчённых плодами.
Несколько гусениц также сняла мимоходом с капусты –
Женищина с глазом хозяйским минуты зря не потратит.*

Как видим, Гёте говорит размеренно-эпическим античным слогом, что служит здесь средством возвеличивания повседневного существования обыкновенного бюргера. В некотором роде он как бы подражает Гомеру – и в неспешной обстоятельности повествования, и в склонности к тщательному описанию детали быта.

Впервые бюргерская среда была обрисована так тепло и благожелательно и впервые так осязаемо были выражены определённые стороны жизнеощущения рядовых немцев.

Утверждая основные идеалы эпохи, Гёте, как и некоторые глубоко мыслящие деятели Просвещения по ту сторону Рейна (допустим, Руссо и Дидро), временами по ряду позиций отклонялся от магистрали этого движения. К примеру, не раз он подвергал сомнению принцип оптимизма.

В книге **«Поэзия и правда»**, оглядываясь назад и осмысливая своего «Вертера», писатель размышляет о причинах самоубийства. Одну из них он находит в том, что на каком-то витке существования человека может привести в отчаяние утомительное однообразие жизни, без конца повторяющийся круговорот привычных явлений и процессов. Не без юмора приводятся отдельные тому примеры.

«Рассказывают, что один англичанин повесился оттого, что ему наскучило ежедневно одеваться и раздеваться.

Я знавал прекрасного усердного садовника, который однажды с досадой воскликнул: «Неужто мне всю жизнь смотреть, как тучи плывут с запада на восток?»

А об одном из выдающихся мужей я слышал такой рассказ: каждую весну он раздражённо наблюдал, как одеваются в зелень деревья, мечтая, чтобы для разнообразия они когда-нибудь оделись в красное.

Это и есть симптомы отвращения к жизни, которые нередко приводят к самоубийству».

Возникали сомнения у Гёте и по поводу самой идеи *просвещения* как краеугольного основания передовой идеологии его времени. В этом отношении самую сильную оппозицию содержит в себе «Фауст», пронизанный неверием в то, что *«ученье – свет»*.

Та же мысль была исходной и при написании комедии **«Великий Кофта»** (1791). Писателя поражило, как в век, гордо именовавший себя *Просвещением*, могло процветать шарлатанство, находящее для себя питательную почву в невежественном легковерии. Причём не в какой-то низовой среде, а у высокообразованной части общества.

И это отнюдь не было измышлением фантазии драматурга. Разрабатывая канву своей пьесы, он был очень конкретен, отталкиваясь от нашумевшего дела с бриллиантовым ожерельем, разыгравшегося в 1785 году при дворе французского короля.

Прототипом знаменитого шарлатана послужил ему известный авантюрист Калиостро, который выдавал себя за графа и алхимика, сумел войти в доверие ко многим высокопоставленным персонам и распространить свою деятельность по всей Европе.

Злую иронию в отношении легковверных поклонников Калиостро Гёте выразил преобразованием его фамилии. В пьесе граф величает себя так: *«Я граф Ростро, di Rostro impudende»*, что в переводе с итальянского означает *наглая морда*, или в столь же огрублённом варианте – *бесстыжее рыло*.

Граф уверяет, что он маг, что ему подвластны духи, и выдаёт себя за посланца Великого Кофты, а позднее и за самого всемогущего Кофту – мифического древнеегипетского жреца.

Кое-кто догадывается о мошенничестве графа. Среди них маркиза, которая вступает с ним в негласный сговор для того, чтобы легче осуществить свою жульническую затею – обобрать простодушного влюблённого, играя на его чувствах.

Маркиза ценит графа и готова платить услугой за услугу: *«Умные должны понимать друг друга, чтобы подчинять себе легковверных и неразумных»* (что называется, рыбака рыбака видит издалека). Когда маркизу уверяют, будто граф – великий чудотворец, она смеётся: *«Жулик он великий, а не чудотворец! Его чудотворство заключается в его уме и наглости. Он чувствует, что я его раскусила. Но друг перед другом мы ведём себя как положено, мы понимаем друг друга без слов и помогаем друг другу без угво-вора»*.

Автор явно отдаёт дань целеустремлённости, цепкости и деловой хватке отрицательных героев пьесы. Для маркизы, например, существует только вопрос собственной выгоды. Поэтому, узнав об измене мужа, она досадует очень недолго и тотчас же спокойно взвешивает ситуацию, стремясь даже из неё извлечь определённые дивиденды.

«Но возьмём себя в руки! Прочь мелочные соображения! Куда важнее вопрос: нельзя ли обратиться во благо и это обстоятельство?.. Разумеется, можно!»

Но и в этой пьесе Гёте проставляет просветительский акцент. В самый последний момент мошенники разоблачены, благочиние торжествует, а комедия становится назиданием всем доверчивым и простодушным: столько вокруг охотников водить за нос, столько интриганов и жуликов всяческого пошиба, что нужно постоянно учиться уму-разуму и держать ухо востро.

Однако в целом Гёте очень далёк от однозначности. Двумя годами позже примерно такое же «объективное» восхищение нечестивыми проделками главного персонажа он выразил в поэме *«Рейнеке-лис»* (1793). И уже совсем с другими результатами.

Да, его Рейнеке умён и многоопытен, умножая этим число своих сторонников. Но «этическая платформа» хитроумного лиса более чем сомнительна.

Тем не менее, этот совершенно бессовестный пройдоха и закоренелый обманщик побеждает всех, кто хотел бы наказать его за всяческие плутни и злодеяния. И в конечном итоге он оказывается в самой большой мило-

сти у царя зверей, получая возможность вытворять всё, что ему заблагорассудится.

Можно сколько угодно ссылаться на имеющие место реалии действительности, но с точки зрения привычной морали здесь чуть ли не прославляются изворотливость, криводушие и коварство, причём коварство с весьма жестокими последствиями.

Иоганну Вольфгангу Гёте предстоял ещё большой жизненный и творческий путь уже времён литературного романтизма – тех времён, когда на востоке Европы вспыхнула звезда Александра Пушкина. Но это отдельная огромная тема, а в качестве небольшого итога заметим следующее.

Как и наш Пушкин, Гёте представлял собой уникальный пример всеобъемлющего человеческого гения, ни в чём не уступая тем, кого именуют величайшими титанами эпохи Возрождения. В огромном литературном наследии Гёте представлены все жанровые виды и разновидности его эпохи. Если для иллюстрации взять драматургию, то среди четырёх десятков произведений для театра найдём пьесы в стихах и прозе, трагедии, драмы и комедии самого разного объёма и назначения. И нелегко решить для себя вопрос, кем же он был по преимуществу – поэтом, прозаиком или драматургом (хотя в количественном отношении, несомненно, преобладает проза).

В литературе Гёте умел всё. Он мог обуздывать себя самыми строгими рамками и мог позволить себе полную свободу от них, что отдельными вспышками сопровождало всё его творчество, но открыто было продемонстрировано во времена «Бури и натиска». Он был способен работать в любой манере и стилистике.

Уже самой своей эволюцией он преопределил гигантскую амплитуду стилевых колебаний: от отголосков барочной эстетики в рококо ранних стихов через опорные установки эпохи Просвещения (с их конкретизацией в экспрессии сентиментализма или в уравновешенности классицизма) к романтической фантазийности и постромантическим прозрениям позднего творчества.

И почти независимо от пребывания на том или ином этапе своей художественной траектории Гёте умел делать всё: от сугубо философских до откровенно развлекательных вещей, от возвышенной «антики» до «площадного» лубка. Он мог писать в строго-углублённом стиле научных трактатов и легко, непринуждённо, с беззаботной весёлостью. Множественность стилевых манер служила адекватному претворению поистине универсального содержания произведений Гёте. В них есть всё: стремление к позитивным ценностям, к идеалу и скепсис до демонического всеотрицания; бюргерская добропорядочность, замыкающая себя ограниченным кругом представлений, и невероятная смелость, желание поднять покров над любой тайной мира; абсолютно достоверная жизненная реальность и самая безудержная фантазия.

Как-то Гёте обмолвился, что творцы искусства, выполнив своё художественное предназначение, обычно уходят из жизни. Можно предположить, что, завершив 22 июля 1831 года трагедию «Фауст», свой главный труд, сопровождавший его шесть десятилетий, он посчитал счёты с жизнью поконченными и ровно восемь месяцев спустя, 22 марта 1832 года, покинул этот мир.

Узнав о его кончине, наш Евгений Баратынский откликнулся стихотворением «На смерть Гёте» (1832). Здесь встречается старинное слово *зане*, означающее *ибо, поскольку, потому что, так как*.

*Предстала, и старец великий смежил
Орлиные очи в покое;
Почил безмятежно, зане совершил
В пределе земном всё земное!..*

*Погас! но ничто не оставлено им
Под солнцем живых без привета;
На всё отозвался он сердцем своим,
Что просит у сердца ответа...*

*Всё дух в нём питало: труды мудрецов,
Искусств вдохновенных созданья,
Преданья, заветы минувших веков,
Цветущих времён упованья...*

*Изведен, испытан им весь человек!
И ежели жизнью земною
Творец ограничил летучий наш век
И нас за могильной доскою,
За миром явлений не ждёт ничего –
Творца оправдает могила его.*

В несколько строф русский поэт сумел вложить в сущности всё главное для Гёте, очертив «вселенную» его помыслов и деяний. За этим глубоким осмыслением сделанного великим человеком хорошо чувствуется восхищение завидным уделом этого смертного, который обрёл бессмертие и подал высокий пример законченной полноты жизненного самоосуществления.



Галина
ШВЕЦОВА

СВЕТ ЛЮБВИ

Остывает ли печь
с незакрытым засовом,
или северный ветер
тепло выдувает, –
только холодно женщине
в доме сосновом,
хоть горячая память
дотла раздевает...
Я примет не боюсь,
я не верю в приметы.
Но подруга моя,
возвратясь из сторожки
с первым снегом в село
после бабьего лета,
чёрной тучей
в моём отразилась окошке...
Вышла ей открывать.
Кто ты, женщина в чёрном?
Обняла незнакомка
замёрзшей рукою.
Кто ты, женщина? Кто?
Отчего я покорно
пропустила тебя
и прошла за тобою?..

-
- Галина Николаевна Швецова родилась в г. Сокол Вологодской области. Окончила филологический факультет ВГПИ, художественную школу и студию живописи «Спектр», местную театральную студию, а также курсы гравёров и резчиков по камню. Работала художником-оформителем, гравёром-резчиком. Занималась изданием молодежной газеты. Преподавала в школе и гимназии литературу, русский язык, мировую художественную культуру и изобразительное искусство. Автор двух сборников стихов. Публиковалась в альманахе «Литературная Вологда», сборнике «Только ветер» и нескольких союзных коллективных сборниках, в журналах «Вологодский лад», «Наш современник» и др. Лауреат Всероссийского конкурса «Золотое перо» (2006). Неоднократный лауреат конкурса московского Рубцовского центра «Звезда полей». Член Вологодского союза писателей-краеведов.

Я примет не боюсь.
Отчего же сегодня
всё мне кажется тайным
и полным значенья:
и подруга пришедшая,
и непогода,
и чужие,
но близкие сердцу
мученья?

А листва от веток отлетела,
Как душа от ветреного тела.

И стоят, уныло свесив руки,
Бывшие зелёные подруги...

Их печаль до боли мне знакома:
Улетала я сама от дома.

В беспокойных ветках
с удивленьем
Нахожу своё успокоенье...

*...Не так ли и ты, Русь, что бойкая
необгонимая тройка несёшься?..*

Н. В. Гоголь

Спят деревни, молчат колокольни
По обрывам извилистых рек...
А мне снятся летящие кони,
Их следы заметающий снег.

И откуда такое виденье,
Если снова явившимся днём
Не даёт мне покоя в деревне
Заколоченный бабушкин дом?

Колокольня за дальним пригорком
На высоком пустом берегу...
Снова снится летящая тройка,
И не видно следов на снегу...

ГЕОРГИЙ ПОБЕДОНОСЕЦ

Закрывать глаза и устыдиться дня
Моих потомков – это ли не горе?
И да минует чаша всех сия,
И да живёт средь правнуков Егорий!

Кривые сабли конницы степной,
Тяжёлые доспехи иноземцев –
Всех одолеет меч его стальной,
На выдох
на скаку
пронзая сердце!

Держись в седле, Георгий-богатырь!
И погран змий, но яд его ужасен!
Несётся конь, не слушает узды.
Уж друг ли он, когда врагом ужален?

Который век смертельный длится бой
И, кажется, закончится к рассвету...
Ах, добрый конь гарцует под тобой,
И на сколь вёрст
иного друга
нету...

ПАМЯТЬ

Сыну Сергею

*О, память сердца!
Ты сильнее!*

Рассудка памяти печальной...

К. Н. Батюшков

Смотрю я старое кино,
На снимки прадедов и дедов,
Погибших на фронтах давно.

И чувствую, что это я
Гляжу с открыток потемневших,
И будто рядышком – друзья.

Мы вечно жили на Руси
С надеждой и святою верой.
И память – свет любви безмерной –
В нас никогда не погасить.

И, может, смерти вопреки,
Той самой памятью хранима,
Я отражусь – неотразима –
В тех днях, что вечно далеки...

ПИСЬМО

*Моей маме,
Охлопковой Ие Васильевне.*

Грустно, мама...
Нет-нет, не волнуйся!
Ничего не случилось со мной.
Просто хочется очень домой,
В старый дом твой,
Во дворик с травой...
Я звала его в снах –
Не вернулся.
Воскресают ли травы зимой?!
Видишь – что за причина для грусти?
Лучше всё же забытья и лечь...
А растут ли на Ворове грузди?
Не остыла ли русская печь?
Я сама принесла бы поленьев...
Впрочем, что я?
Теперь у тебя
Паровое, увы, отопленье...
Мама, как же запуталась я!
Ведь живому – конечно, живое.
Хорошо, что живёшь не в избе.
Отопленье твоё паровое –
Нынче в радость уставшей – тебе!
Пусть деревню на город сменила,
А дела на другие дела –
Лишь бы только себя сохранила,
Лишь бы только себя сберегла!



**Любовь
АНУФРИЕВА**

ВЬЮГА БАБОЧЕК БЕЛЫХ...

ЖЁЛТЫЙ КЛУБОК

(из цикла стихотворений «Радуга тишины»)

Я женщину по имени не помню,
что в чёрном платье часто приходила,
мы с нею вместе на людей бегущих
глядели из чердачного окна.
Однажды от невидимой повязки
она глаза мои освободила –
и в каждом торопливом человеке
я увидела медленную реку
и лодку, где спускался по течению
неспешному светящийся клубок.
Подобно солнцу, без руля и вёсел
он плыл по воле водяной стихии –
и та, стихая, слушалась его...

Приметила и маленькое солнце,
что золотою птицей обернулось
и клюнуло расслабленную душу,
вчерашний сон из памяти зовя
про белый дом приземистый – наверное,
детский дом: детей там было много,
но лишь одно лицо я различила –
у мальчика, что за руку схватил.
Рубашка в клетку, шортики... Сандалии
стояли рядом. Он глядел с досадой
на обувь, на меня, потом на обувь
снова – мол, обуться помоги.
Ему хотелось вырваться, отведать
на свежем солнце жизни настоящей,
а я не смела двинуться... Но только
он положил до желтизны горячий

-
- Любовь Андреевна Ануфриева (Ерофеева, Баяр Люба) родилась в деревне Гам Ижемского района. Окончила Сыктывкарский государственный университет. Автор книги «Птицы не осудят», вышедшей в 2008 году в Таллине на коми, русском, эстонском, английском языках. Лауреат премии «Серебряное крыло» журнала «Войвыв кодзув», лауреат премии Общества М. А. Кастрена (Финляндия). Член Союза писателей России. Живет в Сыктывкаре.

клубок в мои замёрзшие ладони,
я испугалась о него обжечься
и, пригибаясь, выбежала прочь.
А дом его, заплакав, словно чайка,
взлетел и растворился в небесах...

И женщина неузнанная в чёрном
вернула мне повязку-невидимку –
и вновь куда-то все заторопились,
но сердце билось птицей золотой.
И за окном чердачным приоткрытым
ударил вдалеке тяжёлый гром...

ОДИНОКАЯ ЛИСТВЕННИЦА

Спящая осень сквозь вечерний свет
проступает алыми огнями...
Бабушка сказала: «Там рябины нет –
только ели тёмные тенями».

Но, туда сентябрьским утром уходя,
ты искал иное – я-то знаю:
там, за пеленою ветра и дождя,
лиственница дремлет вековая.

Я опять сегодня плакала во сне.
Поднялась – лицо как неживое...
Снова голос твой в далёкой стороне
различила в лиственничном вое.

Ветер надо мной куражится назло,
но опять в ночном тумане снится:
на верхушке дерева гнездо
вьёт неумирающая птица.

ПОЛЯРНАЯ СОВА

Вьюгу бабочек белых
живую волною тепло
на холодные камни,
как будто весной, принесло.
В подвенечное платье
они одевали собой,
а потом собрались воедино
полярной совой.

Эта птица навывлет
пробила мороку мою.
Больше жить не могла я
у стылой реки на краю
и, стихи по камням рассыпая,
за белой совой

побежала, как нищенка,
вымолить встречу с тобой.
Мне, как ломтика свежего хлеба,
тебя не хватало –
точно в каменной груди
от чёрствого оголодала...

Над землёю за снежной завесой,
метелью, – с трудом
увидала летящий без крыльев
серебряный дом,
и старик седовласый
сурово с крыльца поглядел –
строго-настрого мне за совою
ходить не велел.

Но к запретному небом
я шла – оступалась и шла.
И метелица снегом
меня в наказание жгла,
обвивала, душила,
в тяжёлых сугробах топя...
А когда я нашла тебя –
я оттолкнула тебя.

Ямы нашей разлуки
накрыли морозные льды –
никогда я не выплыву
из-под парящей воды.
Рукавицею белой
мне зябкую руку не мни,
не нащёптывай снова
про тёплые летние дни:
как старинные кости,
они в мерзлоте омертвели –
серой пылью осыпались,
высохли, окаменели...

А сова подвенечное платье
надела сама.
Проливными дождями умылась
былая зима.
Побережные камни
ушли по дороге песков,
закуржавленной инеем
мелких живых лепестков.
Набери белоснежных,
глубокую горсть набери –
и горячее сердце
жене молодой подари.

Перевод с коми Андрея Расторгуева



Михаил
ГОЛЬДРЕЕР

КРЕСТЬЯНКА

...Где же тот, кто бы на родном языке русской души нашей умел бы нам сказать это всемогущее слово: «вперёд»! Кто, зная все силы, и свойства, и всю глубину нашей природы, одним чародейным мановеньем мог бы устремить на высокую жизнь русского человека? Какими словами, какой любовью заплатил бы ему благодарный русский человек. Но веки проходят за веками; полмиллиона сидней, увальней и байбаков дремлют нефробудно, и редко рождается на Руси муж, умеющий произносить его, это всемогущее слово.

Н. В. Гоголь, «Мёртвые души»

Тысяча девятьсот девяносто восьмой год. Однажды, отправляясь в командировку в Москву, я сидел в своём купе рядом с попутчиком, парнем, видимо, студентом. В купе быстро вошла женщина, положила вещи на свою полку и обратилась ко мне и студенту: «Ребята! У меня три тяжёлые сумки перед вагоном, занесите сюда, я заплачу...» Мы с парнем выполнили её просьбу, но от платы отказались. Соседка горячо нас поблагодарила, а когда поезд тронулся, начала настойчиво угощать домашними пирожками, варёными яйцами, жареной бараниной и другой едой, явно деревенского происхождения.

Постепенно мы разговорились. Соседка была лет сорока пяти, ехала она в Москву к замужней дочери, а в тяжелых сумках везла подарки: разные продовольственные припасы со своего подворья. Как выяснилось, жила она в посёлке бывшего совхоза в одном из заволжских районов Волгоградской области. Этот степной район известен своими дынями, помидорами и арбузами. А ещё в тамошних «пампасах» в последнее время

-
- Михаил Маркович Гольд्रेер родился в 1950 году в Костроме. В 1962 году переехал в г. Волжский Волгоградской области. Окончил факультет автоматики и вычислительной техники МИИТ по специальности «Инженер-электрик по автоматике и телемеханике в промышленности»; состоял на рабочих и инженерно-технических должностях до 1994 года. В 1998 году стал совместно с доктором Егоровым и доктором Бариновым учредителем Центра антропометрической (ортопедической) косметологии и коррекции. Заместитель директора Волгоградского центра антропометрической (ортопедической) косметологии и коррекции. Автор значительного числа публикаций в журналах и газетах России.

появились небольшие стада полудиких лошадок и отары овец, хотя в целом местные сельхозпредприятия смотрелись плачевно.

Соседка была женщиной весёлой, словоохотливой, рассказывала о себе много и с удовольствием. Родом она была из Армавира, жила там почти всю жизнь и работала в лаборатории контрольно-измерительных приборов техником. Под сорок лет овдовела, дочь её к тому времени была уже замужем в Москве. И решила одинокая вдова вторично создать семью. Для этого обратилась в газеты с брачными объявлениями и нашла подходящего человека. Это был бездетный вдовец чуть старше её, который проживал в совхозном посёлке волгоградского Заволжья. Дальше я попытаюсь впрямую передать её рассказ.

«...С новым мужем мне очень повезло. Он в этом бывшем совхозе главным инженером числился. Его туда директор сманил, когда в армии дела пошли плохо. Он до этого служил майором в инженерном полку, что стоял неподалёку. Сам он тоже уроженец тех мест, только после школы поступил в военное училище и уехал, стало быть, вернулся в родительский дом после службы. Жена его первая была больной женщиной, ей нельзя было иметь детей. Сам он – совсем не пьющий мужик и с чудинкой. Руки у него золотые, и хлебом не корми дай что-нибудь смастерить или изобрести... А ещё книжки всякие читать и собирать любит. Очень по сердцу он мне пришёлся, вот и рискнули: родила почти в сорок лет. Мальчишечка получился – загляденье! Здоровенький, бойкий, умный, ему уже шесть лет сейчас. Муж говорит, что это наш маленький «принц», так и кличет его, «принц» да «принц»! Ну, а «принцу» наследство надо.

Стали мы своё хозяйство поднимать. От совхоза-то ничего не осталось. Начальство остатки расторгивало, работяги с огородов кормились кое-как, да последние рубахи пропивали. Когда совхозную землю делили на паи, каждому досталось по 11 гектаров. Так что у нас с мужем 22 га. Да ведь это всё степь неполивная. Но муж придумал: отрыл с мужиками несколько колодцев и смастерил орошение на двух наших гектарах. Эту землю мы сдали в аренду корейцам под лук, а ещё 10 гектаров они взяли под дыни и арбузы. С этого нам пошли первые деньги. Постепенно мы всю свою землю задействовали, потом начали на мясо баранов и бычков растить, скотный двор построили. Мясо у нас брали городские родственники мужа на базар, в магазины, а потом ещё два завода в свои столовые начали заказы делать, это вообще очень удобно и выгодно стало.

И тут беда, откуда не ждали! Ой, ребята, открывайте уши, такое расскажу, что сама и на том свете не забуду!

Как везде, стоит у нас в совхозе магазинишко от сельпо. Продавали в таких лавчонках всегда хлеб, мыло, сахар, консервы, чай, нитки, иголки, мелочь всякую, которая годами не портится, а к ней курево с выпивкой. Как советская власть кончилась, так сразу районный начальник сельповский на пару с сыном все эти магазины в районе взял в аренду и развернул в них круглосуточную торговлю левой водкой, пойлом дешёвым да палёным. В нашем совхозе они наняли в продавцы бывшего ветеринара с женой – они люди тихие, честные и многодетные. Вот и стали на пару в магазинишке дежурить круглосуточно и без выходных – получали-то с продаж, а детей пятеро, ну и крутились. Раз в неделю заезжал от хозяев «уазик», доверху забитый этой отравой, запасы пополнял, выручку забирал. Этот вездеход все бабы в районе проклинали!

А в один поганый день приехал не «уазик», а сам хозяин с сыном на новенькой «Волге», заглянули в свой магазин ненадолго да напрямик к нам с мужем в гости пожаловали. Муж их впустил, я стол накрыла, и вот

какой разговор случился между ними... Приезжие эти мужа расхвалили за хозяйственность, а потом и говорят: «Гаврилыч (у мужа отчество такое!), газеты читаешь, телевизор смотришь, так что сам понимаешь, хорошему хозяйству хорошая охрана нужна, вот мы тебе её и предлагаем, конечно, не бесплатно, но и не удавку на шею, есть у нас на тебя планы, но об этом позже расскажем. А пока подумай не торопясь над нашим предложением. Вернёмся ровно через две недели за ответом».

С тем и укатили. Муж мрачнее тучи сделался. Ведь уже весь район обсуждал, что недавно сотворили наши гости.

По всему Заволжью от Астрахани до Саратова вдоль Волги шоссе идёт. К нашему совхозу от него ведёт грунтовка, тропа колдобистая, по ней осторожно можно к нам за полчаса доехать, а коли машина крепкая да вездеходистая, так и за пятнадцать минут доберёшься. От этой грунтовки в паре километров по шоссе есть хозяйство, вроде как постоянный двор. Его устроили там две семьи русских беженцев из Таджикистана. У них там магазинишко, столовка с пивом и шашлыками, можно душ принять и переночевать на нормальной койке. Основные клиенты – дальнобойщики да автотуристы, но местная шоферня тоже туда заглядывает охотно. Так перед нами эти «сельпошники» и там свою охрану предлагали, да хозяева магазина сразу отказались, ну и через три дня ночью к ним они нагрянули не только на «Волге», но и на «уазике», а в нём бандиты с автоматами. Изрешетили «таджикам» их автомашину и заставили подписать бумагу, по которой они должны ежемесячно долг выплачивать, а коли откажутся подписывать, так грозилась всё сжечь, а самих перекалечить. Те подписали и начали платить в два раза больше, чем с них сначала получать хотели.

Муж посидел немного молча, а потом позвал меня и говорит: «Мрази этой платить не будем, а жизни они нам теперь здесь не дадут, так что собираемся, мать, и вон отсюда». У меня прямо сердце оборвалось! Да тут к нам директор заявился: любопытно ему стало, зачем к нам эти торгаши приходили. Муж ему сообщил всё и своё решение тоже. А директор ему: «Не пори, Гаврилыч, горячку. Время есть, будем действовать, а не выйдет – поможем тебе по-быстрому собраться и свалить». Потом он ушёл в правление, где был один на весь совхоз телефон, нам велел его ждать. Вернулся быстро, смурной весь, сказал, что поговорил с начальником районной милиции, они с директором сватья. А тот объяснил, что сам ничем толком сейчас помочь не сможет. Муж только выматерился на это, а директор своё гнёт, мол, не горячись, надо с нашими мужиками поговорить.

Директор этот сам родом тутошний, но в Волгограде после института вырос до областного партийного начальника при советской власти. А потом где-то промахнулся, и сослали его за это рулить родным совхозом. Мужик был умный, вёрткий да тёртый, уважали его, хоть после советской власти он директором остался только на бумаге. Крутился кое-как, хозяйство дышало, народ ему верил и охотно слушал. А ещё он любил, а главное – умел выступать на собраниях. Мужики меж собой его за это Замполитом называли, но не зло, а по-доброму.

Так вот, собрал директор в правлении самых своих надёжных помощников и велел им по-тихому созвать всех совхозных мужиков вечером в клубе, объявить: будет чего выпить, только пусть приходят со своей закуской и стаканами. И чтоб никаких баб даже близко не было!

Сроду здесь такого не случалось. Мужики вечером клуб забили до отказа, а бабы перед клубом тоже в толпу собрались. На столе возле трибуны ящик водки стоит. Директор вышел и заявил, что ничего не начнёт, пока бабы перед клубом по домам не рассеются. Мужики враз выскочили и разо-

гнали всех. А потом пошёл такой цирк, что ни в каком кино вовек не увидишь! Меня и мужа директор заранее в закутке заднем поместил, велел слушать и ждать, когда позовёт...

Вышел директор на сцену и прежде всего велел всем разлить по полстакана. Начали разливать, так у мужиков глаза на лоб и в зобу дыханье спёрло от удивления! Водка была не «сельпошная» гадость, а «Столичная» да «Пшеничная» из директорских запасов ещё советской выделки. Первую директор предложил выпить «со свиданьицем», так и сказал: «Ну, всем со свиданьицем...». Вторую выпили «за мужчин», третью – «за армию»... После третьей мужики заволновались, даже начали спрашивать друг друга тихонько, а в себе ли наш «замполит»?

Директор же после третьей встал за трибуну, эдак враспяжку зал оглядел, пока все не затихли, и начал: «Ребята, земляки, односельчане! Какая наша жизнь нынче, сами знаете... Который год мы будто мусор ненужный на своей же земле. Только когда Гаврилыч здесь осел, появился какой-то свет и надежда, вот тут-то про нас сразу и вспомнили... Короче! Сегодня все видели, у Гаврилыча были «сельпошники». Они хотят получать с него дань, как иго татарское или немчура оккупантская. Только дань эта будет не с него одного, а с нас всех, весь совхоз сосать будут, никто не вывернется. И как будем этот вопрос решать? Моя хата с краю?»

Тут все мужики взревели разом, в жизни такого мата не слышала. Директор же переждал, усмехнулся и велел четвёртую разлить. Выпили её без тоста, и он скомандовал: «Подымите руки, кто из вас в армии не служил». Ни одна рука не поднялась! «А тогда, может, вы на службе так проболтались – стройбат там, хоззвод, писарями при штабах, автомат-то, кроме как на присяге, в руках держали?» Тут мужики опять взревели, выкрикивать начали, кто где и кем в армии был. Оказались тут и пограничники, и десантники, и стрелки, один матрос, один разведчик и даже один снайпер! А самый здоровенный, первый силач в районе служил аж в кремлёвском полку!

Долго бы они друг перед другом выхвалялись, да директор велел разлить пятую. Выпили. Директор снова на трибуну: «Ребята! Давно друг друга знаем, и я в вас всегда верил, как бы жизнь нас всех ни кувыркала. Если то, что сейчас от вас слышал, не трёп пустяшный, если в самом деле решили не сгибаться перед всякой шпаной, то прямо сейчас, тут же начинаем готовиться, времени мало, надо успеть...» Затихли мужики, спрашивать стали, мол, а чего делать-то?

Тут директор вывел из закутка мужа и заявил: «А что делать, вам Гаврилыч сказать должен. Его чин – майор, что в переводе с испанского означает «главный». Сейчас из нас всех пока только ему отступить некуда, так не выдадим его, братцы. Вот тебе, Гаврилыч, войско, веди – не робей, не сомневайся!» И шестую велел разлить.

Муж угрюмый весь – не верилось ему, но начал предлагать. Сказал, что надо поделиться на команды из соседей, выбрать над ними командиров, которых точно готовы слушаться, выяснить, какое оружие и боеприпасы имеются, сколько, исправно ли, а главное – суметь все приготовления сохранить в тайне, чтобы бандиты раньше времени не узнали.

Мужики и про выпивку позабыли! Тут же поделились на пять команд, выбрали командиров, договорились, что дома жёнам и детям сами про всё рассказывать будут и велят им себя вести так, чтоб посторонние ничего узнать не смогли. Командирами команд стали кремлёвец, десантник, пограничник, разведчик и снайпер. Все они в армии дослужились до командиров, снайпер – старшина, остальные – старшие сержанты. Муж сказал, что штаб, то есть командиры будут собираться каждый день утром и вечером, а общие

собрания, если понадобится, будут только вечером. Договорились они завтра встретиться в семь утра, а вечером всё-таки ещё раз всех собрать и поговорить без выпивки. Дома муж мне сказал: «Три дня буду смотреть и изучать, а потом точно решу, остаёмся или уходим».

На следующее утро собрался штаб командиров. Им муж и директор сказали, что есть срок – две недели, чтобы подготовиться. Директор уже точно выяснил, что «сельпошники» с семьями улетели «прохлаждаться» в Турцию, стало быть, заявятся после возвращения. Подготовиться надо так, чтобы они заранее ничего не узнали. И шутковать тут не приходится, «сельпошники» могут притащить вооружённых головорезов. Так что с выпивкой на это время надо кончать, с посторонними, которые не из совхоза, не разговаривать, вообще за всеми пришлыми внимательно следить, если они в совхозе болтаются. Пусть вечером мужики опять в клуб соберутся и принесут с собой все ружья, какие у них есть, патроны к ним, чтобы понять, сколько чего и какой годности, а также пусть захватят свои дембельские альбомы, у кого есть.

Вечером опять мужики в клуб набились, настроение вроде весёлое, но уже какие-то настороженные... Однако всё принесли, некоторые обули даже сапоги и ботинки, в которых из армии пришли, и форму, в которую влезть смогли. Я в клубе в этот раз уже открыто была, директор велел мне секретарствовать, я на машинке могу печатать с грехом пополам. Муж велел сложить перед ним дембельские альбомы, стал в них фотографии разглядывать да спрашивать, директор тоже подключился, то похвалит, то пошутит. Настроение у всех опять поднялось, опять начали службой выхваляться перед друг дружкой, байки всякие пошли с гоготом. Я тоже в эти альбомы поглядела и удивилась! Первое время, как сюда приехала, всё понять не могла, как местные бабы за этих своих, таких вот, замуж-то шли, где у них глаза и мозги-то были? А глянула в альбомы: какие, оказывается, были все красавцы-молодцы после армии!

Как настроение поднялось, занялись оружием. Ружей принесли немало, почти четыре десятка, всё довольно старые охотничьи двустволки и одностволки. Директор принёс пару отличных немецких ружей, тоже держал для некоторых областных и районных начальников уток пострелять, если в охотку... И хороший запас патронов к ружьям.

Муж обратился к самым опытным охотникам, чтобы сомнительные ружья довели до ума и перебрали старые боеприпасы. Потолковали, как устроить за посёлком стрельбище и всё оружие опробовать, поглядеть, кто как стрелять умеет. А директор обещал добыть и привезти нужный запас патронов. Всех удивил снайпер, он был в совхозе лучший охотник, но принёс не только своё охотничье ружьё, но и винтовку-трёхлинейку, ухоженную, как новую, в масле, а к ней десятка два патронов. Оказалось, что его покойный отец, тоже охотник, в Отечественную был заслуженным снайпером и эту винтовку с войны тайком принёс и прикопал секретно. А потом ходил с ней в степь и подрастающего сына снайперскому делу обучал.

Очень мужа эта история обрадовала. А мужики глаза выпучили, толпятся, всё норвят винтовку хоть потрогать! Затем уже начали обсуждать, как службу нести. Решили, что посевы и места с совхозной скотиной: конюшни, кошары, свинарники – необходимо караулить, особенно ночью, чтоб нельзя было тайком поджечь. Заседания штабов командирских проводить каждый день утром и вечером, всю толпу больше в клубе не собирать, просто каждый командир будет потом доводить решения и распоряжения сам до своей команды. Проголосовали, чтоб муж был главный командир, утвердили остальных командиров из штаба, я напечатала протокол, муж и командиры его подписали, а директор поставил совхозную печать.

Затем директор велел мне взять несколько листов, которые я напечатала под его диктовку. Там были фамилии всех мужиков, которые в клуб пришли, и написано, прямо как в присяге, что, мол, добровольно вступаю в охрану посёлка, предупреждён о всех опасностях, готов подчиниться и выполнять обязанности, не подводить своих товарищей. Директор это зачитал и предложил каждому лично подписать. Мужики опять посмурились, но все подписали. А директор печать поставил. Тут один «умник» встаёт и заявляет, что раз дело серьёзное, то он хотел бы, пока опасно, семью из совхоза у родственников в райцентре спрятать, да и всем другим это не мешало бы... Муж, как услышал, только голову обхватил руками и в стол устался. Но директор взвился! Мол, давай, давай, баб с детишками развезём по району, чтоб все узнали, как мы тут готовимся. А бандюки кого-нибудь из них в заложники возьмут, например, твоих, и как тогда ты службу нести собираешься?

Затихли все поначалу, а потом командиры директора поддержали, а другие мужики с ними согласились, заклевали «умника» крепко, чуть по шею не дали. На этом и разошлись...

На другое утро штаб порешил, как организовать сменное дежурство при круглосуточной охране, сколько людей в наряде пешим ходом будет возле загонов со скотом, кто и сколько человек верхом вокруг посевов и стад на выпасах. Выделили команду, инструменты, материалы, площадь поблизости в степи, где сделать стрельбище с мишенями. Вечером командиры на штабе доложили, как всё исполняется, а директор привёз вечером патроны, как обещал. Муж ему тут же сказал, что надо проверить совхозный фельдшерский пункт и сделать большой запас бинтов, ваты, всяких дезинфицирующих средств для обработки ран, обезболивающих лекарств и шприцов.

И пошла в совхозе служба... Днём все работают – лето же, пора горячая. Днём и ночью караулы с ружьями выходят. На стрельбище все ружья опробовали и посмотрели, кто как стреляет. Лучшие стрелки получили ружья, те, что похуже владели оружием, стали при них вторыми номерами, помощниками, которые примут оружие, если первый номер не сможет стрелять. Муж, директор и командиры всех тормозили, расслабляться не давали.

Мне муж велел каждый день собирать баб небольшими группами и ходить с ними к фельдшернице. Фельдшерский пункт был в правлении. Мы его вымыли, навели порядок в нём и в комнате по соседству. Фельдшерница нас учила перевязывать, кровь останавливать, раны обрабатывать, даже показывала, как уколы делать, вводить промедол для обезболивания и шины накладывать при переломах. В комнате по соседству решили укладывать пострадавших. Для этого фельдшерница велела каждой из нас сшить и набить тюфяк, к нему иметь простыню, подушку и одеяло, чтоб сразу можно всё принести в пункт, если нужно. А ещё договорились, что те, у кого швейные машинки, нашьют всем матерчатые сумки, чтоб складывать санитарный запас.

Нервы у некоторых после этих санитарных учений начали пошаливать. Командиры в штабе рассказали, что один мужик пришёл домой после караула, а жена только с занятий вернулась, увидела его да завывала, как по покойнику. Он и остолбенел, то ли смеяться, то ли дать ей по башке, чтоб не каркала, дура! Потом уладились как-то по-хорошему. Вроде и случай смешной, да что-то не засмеялся никто...

У командира-кремлёвца двое сыновей, 14 и 16 лет, здоровые оба, в отца. Их детвора слушалась. Сначала кремлёвец сделал их вестовыми при штабе, а потом они всех подростков сделали вестовыми при отцах.

Очень строго следили все за секретностью. Почтальоншу в райцентр не пускали. Вместо неё нашу почту директор забирал, ездил не один, чтобы, значит, и за ним глаз имелся, как за каждым. А все письма и открытки

из совхоза решили пока не посылать никому. Директор через день созванивался с начальником районной милиции, потом они с мужем совещались отдельно от всех.

Так прошла первая неделя...

Наступил следующий понедельник, утром собрались командиры на штаб. Доложили о несении караулов, предложили, чтоб директор через начальника милиции сразу же узнал и сообщил, когда «сельпошники» вернутся в райцентр. Но всё шло как-то угрюмо, напряжённо... Когда порешали все вопросы, кремлёвец заявил о том, что неладно дело, настроение падает, злятся мужики друг на друга и с командирами начинают пререкаться, как бы не поломалось всё.

Муж до вечера ходил мрачнее тучи, но дела не бросал и к вечеру готовился. Вечером, перед самым штабом директор на пару со своим шофёром что-то тяжёлое приволокли и в углу поставили. Собрались командиры, хотели начать отчёты свои, а директор встаёт и просит чуть подождать, затем велит мне пройти в тот угол, где стояло прикрытое тканью то, что с шофёром приташили. Я открыла – а это ящик с бутылками пива! Директор велел мне каждому командиру по бутылке поставить и открывашку из кармана достал. Радости было! А директор говорит: каждый сменившийся с караула теперь будет получать бутылку пива, а в карауле-то каждый мужик бывает в свою очередь. Бутылками пива теперь будем премировать за отличия в службе и на работах, пусть стараются. Пиво не водка, да и немного получить-то удастся, но есть чему слегка порадоваться, чем нервы успокоить.

Ох и здорово же прошёл этот штаб! Прямо загляденье! Командиры хохотали, что они теперь своих бойцов в такую дисциплину зажмут, даже армия позавидует! И правда: со следующего дня мужики радостные засуетились, что на службе, что на работах каждый хотел выслужить себе пивка премиального.

В пятницу позвонил из района директору начальник милиции: «сельпошники» вернулись! Значит, ждате в воскресенье, как они и обещали.

И вот пришло воскресенье. В 11 часов показалась на грунтовке «Волга» «сельпошников», только «Волга»... Муж вздохнул с облегчением, очень опасался, что сразу с бандюками наедут, если прознали про наши приготовления. Как «сельпошники» въехали в посёлок, всё будто вымерло, на улицах ни души. Они сначала подъехали к своему магазину, выручку забрали, с продавцом потолковали. А потом уж к нашему дому... Вошли к нам, уселись с мужем за стол и начали: «Гаврилыч, ну ты молодец! Продавец сказал, что, пока нас не было, водку, считай, не покупали! Ну ты зажал людишек! Вот что мы решили: этот год ты просто будешь платить за охрану, а если хозяйство своё наладишь, то на будущий год возьмём тебя в равные компаньоны – поднимай весь район. И пусть кто против тебя только пикнуть посмеет, мы всех воспитаем враз и навсегда! Так же и теперь, если кто выступать начнёт, ты нам только мигни! По рукам? Или какие вопросы есть?»

Муж помолчал немного, глянул на них, будто расстрелял глазами, и заявил-отрезал, что вопросов не имеет и никаких дел с ними иметь тоже не желает. «Сельпошники» враз озверели, встали – и на выход, по дороге только вякнули: «Ты сам решил, сам выбрал...» Потом опять подъехали к магазину и выгребли из него к себе в машину весь запас водки, багажник набили и заднее сиденье. А продавцу громко так сказали, что, мол, пока пусть народ за выпивкой к Гаврилычу походит, с тем и укатили. А наши сразу засуетились, сбежался внеочередной штаб. На нём муж рассказал всё, особенно напирал, как «сельпошники» предлагали ему народ запугивать.

Командиры аж зубами закрипели. Договорились вечером собраться, а пока пошли доводить до своих команд новости, с ними и директор отправился, чтоб мужики ещё лучше поняли, что к чему.

На вечернем штабе командиры и директор доложили, что наши мужики просто рвутся порвать «сельпошников» с бандюками. Теперь людей надо не воодушевлять, а сдерживать-успокаивать, чтобы глупостей не натворили. Муж сказал, что «сельпошники» ни о чём не догадались, стало быть, приедут малым числом наказывать только его одного. Тянуть не станут, ждать их в ближайшие дни или ночи. Поэтому надо возле шоссе, где наша грунтовка начинается, выставить замаскированный пост, который сообщит, как только они начнут подъезжать.

Надо сказать, что когда муж уходил из армии, то договорился и вывез из своего полка кучу всякой военной и технической рухляди. Весь чердак забили ею и полсарайки. Железки всякие в основном, их потом с мужиками в ремонтных мастерских для всяких дел приспособлявал. Много техники восстановили, тот же «газик» совхозный, например. В рухляди этой были две сломанные военные радиостанции, которые солдаты за плечами таскают. Муж их отремонтировал, приспособил, чтоб могли работать не только от батарей, но и от розетки. Одну поставил в правлении, а другую можно было на машине возить везде и с правлением разговаривать.

Так вот, перед рассветом на следующий день привезли троих бойцов к шоссе, среди них того матроса, он на флоте радистом был. К шоссе с другой стороны от грунтовки подходит с Волги вода... Ну, не вода, а очень-очень давно рыли какой-то канал и бросили. Зарос он кустами и рогозом, на лодке проехать невозможно, но развелась в нём живность всякая. Рыбы полно, утки гнездились, даже ондатры и черепахи попадались. Автотуристы там любили ставить палатки и рыбачить. Вот муж и дал бойцам военную палатку и радиостанцию, были у них и тюфяки с одеялами. Расположились они неподалёку от въезда на грунтовку, вроде как туристы, а сами день и ночь начали за дорогой наблюдать по очереди в бинокль. А директор им днём еду подвозил, что жёны наготовят... В совхозе же, в правлении, установили круглосуточное дежурство тоже у радиостанции, дежурили посменно трое бойцов и двое вестовых, сыновья кремлёвца.

Заседания штаба стали секретные, всех из правления выгоняли, и чтоб поблизости вообще никем даже не пахло. После штаба муж и командиры каждый раз ходили кругами возле нашего дома и соседских поблизости, тихо разговаривая о чём-то. Очень их беспокоило, что бандюки ночью могут заявиться...

Но нам повезло. «Сельпошники», видать, в Турции своей разнежались и не захотели себя ночного сна лишать! Короче, на второй день часов в одиннадцать пост сообщил, что едут. На шоссе «Волга» и «УАЗ».

Начали действовать, как велено было... Я с сыном и другими соседскими бабами быстро ушла на другой конец посёлка в дома, где нам быть положено. А навстречу уже мужики с ружьями поспешали и положенные им места занимали. Директор быстро по телефону позвонил в райцентр и тоже ушёл подальше.

«Гости» не торопились, двигались по грунтовке медленно, берегли свои «тачки». Как на нашу улицу въехали, где дом наш уже видно, так «уазик» вперёд поехал, а «Волга» сзади. Вокруг домов у нас огороды с заборчиками, в них калитки. «Уазик» встал возле нашей калитки почти в метре, за ним – «Волга». Калитка наша в виде воротец была сделана, резные, очень красивые дверцы, муж над ними полгода корпел. Из «уазика» вышли четыре мужика лет около сорока на вид, рослые все и жилистые такие... У двоих в руках

короткие автоматы. Так один из автомата сразу по калитке дал очередь, в оцепья раздробил, потом ногой пнул и хотел к дому пойти.

Тут из-за дома враз выскочили пятеро мужиков и дали залп из ружей поверх бандицких голов низко-низко; одновременно слева и справа выскочили мужики из-за соседских домов, тоже стреляя поверх голов. И тут как грохнуло, бандюки аж нагнулись, а «уазик» осел на переднее колесо! Это снайпер открыл стрельбу с крыши соседского дома и послал в колесо две пули из трёхлинейки прямо между ног бандитских.

А из открытого окна нашего дома из-за занавески высунулся мегафон, и муж скомандовал: «Граждане бандиты! Приказываю разоружиться и подчиниться! При резких движениях стреляем, в живых не оставим!» И тут же ему ответил тот, что калитку разбил, глотка зычная, мегафона не надо: «Начальник! Не стреляй! Всё путём! Косяк вышел! Подставили фразера барыжные!» Потом он заорал уже своим: «Бродяги! Не рыпайся! Делай как я! По очереди!» Медленно поднял руки, перехватил автомат у дула левой рукой, а правой поставил на предохранитель, чтоб было всем видно, затем отомкнул патронный рожок и пошёл к «Волге», возле которой стояли «сельпошники» ни живы ни мёртвы – они вышли из машины одновременно с бандюками.

У «Волги» главарь (это был главарь!) положил автомат и рожок на крышу, достал тряпицу из кармана и тщательно всё вытер, затем взял тряпкой и забросил в «Волгу» на заднее сиденье. Потом с поднятыми руками вернулся назад. За ним то же самое сделал другой автоматчик, а у ещё у двоих были при себе пистолеты, они их тоже обтёрли и в «Волгу» закинули. Тут уж мужики с ружьями наставленными набежали, руки всем связали и развели под караул по разным местам, чтоб между собой не могли разговаривать, а кремлёвец ещё и пригрозил, мол, кто чиркнет – зубы повышибаю!

Через полтора часа притащился старый полудохлый автобус-«пазик», из которого выскочил начальник милиции, а за ним пять милиционеров с автоматами и следователь в штатском. Всех, кого наши скрутили, начали обыскивать по одному и записывать, что нашли, а понятые свидетели расписывались в протоколах. У двоих нашли ножи самодельные с выкидными лезвиями и порцию анаши на одну раскурку. Руки им развязали и наручники надели. Следователь начал фотографировать, снимать отпечатки пальцев, опрашивать всех, муж написал ему заявление. Потом милиционеры всех пойманных посадили в «пазик».

«Пазик» уехал, а следователь и начальник милиции остались. Следователь засел в правлении бумаги дописывать, а муж, начальник милиции и директор пошли к нам, я им стол накрыла, да только не елось, не пилося им... Начальник милиции говорил, остальные слушали: «Вот что, мужики, радоваться пока нечему. Главная жуть, похоже, ещё впереди. Бандюжек этих я узнал, они по сводкам проходят. Все четверо несколько раз судимы за вооружённые грабежи. Но главное – они из самой мощной волгоградской бригады, банды то есть. Эта бригада богатая, имеет завязки в областных верхах. Уже скольких из них за задницу брали, а приходилось отпускать – вытаскивали их. На «стрелки» от них до пяти машин выходит, больше двадцати боевиков приезжает, и оружия имеют как грязи. С этими вашими пойманными буду возиться дней пять, пока что-то выяснится, эти дни вам придётся пережить... Вы теперь раскрылись, слух пойдёт, могут приехать по ваши души. Дороги перекрыть не смогу, но на эти пять дней смогу выпросить из области группу «омоновцев», десять человек на собственном транспорте. Если у вас бои начнутся, сообщите, сможем подъехать быстро, поддержим. Если бандю-

ки заявятся, то их задача будет – пугнуть вас хорошенько и взять заложников, чтобы заставить отказаться от заявлений и показаний. Заявятся наверняка ночью. Так что берегите баб, детишек, стариков, ну и от поджогов тоже берегитесь. Чтоб у этих сволочей не было лишних зацепок для адвокатов. Назначаю тебя, Гаврилыч, командиром народной дружины, директора – твоим заместителем. Вот, распишитесь в приказе. Печать тебе, Гаврилыч, вручаю и кучу удостоверений, чтоб на всех ваших хватило. Смотри на дату выдачи этих удостоверений, по ней выходит, что вы уже год как дружинники, проинструктируй народ. Пусть все вклеят свои фотки, и печать всем сам поставишь. А теперь прими на ответственное хранение и распишись за автоматы и пистолеты, что у бандюков изъяли. Они вам сгодятся, а я, если что, отбоярюсь, вон на Кавказе оружие всем подряд раздают против бандитов. А у нас сейчас что, лучше?»

Муж выслушал и только сказал: «Дайте расписание частот ваших радиостанций на случай, если нам телефон перережут». Начальник ему их написал, но велел никому не показывать, чтобы сдуру не начали прослушивать милицейские переговоры. Потом начальник и следователь уехали. Следователь сел за руль «уазика», ему мужики запаску поставили взамен расстрелянного колеса. А начальник «Волгу» повёл. Муж и директор быстро пошли в правление, а там на площади уже куча людей собралась, обсуждают, хохочут с облегчением... Директор поймал какого-то из вестовых ребят, велел быстро и по-тихому собрать всех командиров на штаб. Когда все пришли, дверь и окна закрыли, а муж передал разговор с начальником, велел через час снова собраться на штаб и – сорвался – как заревёт вдруг: «Всем – полная боевая готовность! Караулы удвоить! Никакого пива! Немедленно разогнать весь этот кабак!»

Вечерний штаб шёл долго, тревожно, вопросов обсуждали много. Муж командиру-разведчику и командиру-пограничнику вручил автоматы. Назначил кремлёвца своим боевым заместителем и дал ему пистолет, а второй пистолет себе взял. Так что ещё три ружья рядовые бойцы получили, кремлёвец своё ружьё себе оставил. Во время штаба вдруг появился «таджик» – один из хозяев придорожной харчевни. Просил-умолял его выслушать. Пустили на штаб, и он рассказал, что ему показали всех задержанных в совхозе, а потом начальник и следователь уговорили написать заявления в милицию. «Таджики» написали, а потом вспомнили, что через пару дней к ним приедут за данью, если узнают об этих заявлениях, то наверняка разгромят и покалечат! Вот «таджики» и просят прислать им ребят на охрану, а они эту охрану будут кормить-поить даром, и вообще, если совхозу чего нужно, а им это по силам, то готовы помогать.

Муж его послушал и попросил подождать за дверью. Потом сказал командирам, что пост в этой харчевне будет очень даже полезен. Бандюки в посёлок мимо него поедут, пост по рации сможет сказать, сколько машин едет, какие машины. А у нас будет точно полчаса, чтобы занять позиции. Если же через два дня приедут только к «таджикам» за данью, то их будет мало, можно будет захватить и скрутить, взять «языков», чтобы узнать о намерениях этой банды.

Порешили отправить к «таджикам» под командованием разведчика шесть самых толковых бойцов с рацией. Если приедут за данью малым числом, то испортят им машину, вызовут подмогу из совхоза и не дадут бандюкам убежать. Если же поедет мимо бандитская колонна, то предупредят по рации, сколько их, и через степь с «таджиками» будут незаметно отходить к посёлку. Потом вызвали «таджика», объявили ему решение и велели на эти дни вывесить на харчевне объявление: «Сегодня не работаем»,

а своих баб с детьми и стариками отправить в совхоз. «Таджик» обрадовался, а муж его спросил, как бы нашим мужикам срочно надеть фоток на документы, в район ведь ехать нельзя? А «таджик» и говорит, что у него сын-подросток как раз заядлый фотолюбитель, даже подрабатывает тем, что фотографирует автотуристов, у него всё есть, и этих фоток он всем враз надевает! Мужики прямо расхохотались от такой удачи, хоть настроение поднялось... После штаба муж, директор и «кремлёвец» ещё минут десять пошптались, потом муж сел в «газик» и уехал, сказав, что на всю ночь...

Под утро, в три часа ночи, на грунтовке у въезда в совхоз загрохотало. Это муж подъехал вместе с военным траншеекопателем, который он по договорённости взял вместе с экипажем и командиром-прапорщиком из своего бывшего полка. Кремлёвец с дежурными бойцами встретили эту технику и мужа. С помощью траншеекопателя вырыли четыре траншеи вдоль грунтовки прямо на въезде в посёлок – две с одной стороны, две с другой. Каждая траншея в рост среднего человека. По каждую сторону пара траншей в параллель друг другу, расстояние между ними – метр. Как закончили копать, наши выдали прапорщику с экипажем пять литров самогона, корзину помидоров и баранину на шашлык – аж пол-ягнёнка. Когда уехали копатели, наши бойцы все окопы накрыли рубероидом, землёй присыпали – вроде и нет ничего. Время утреннее – самый сон у всех, так что можно было надеяться, что секрет от посторонних сохранится.

Утреннего штаба не было, муж и «кремлёвец» отсыпались. А после вечернего штаба, как хорошо стемнело, все мужики, свободные от караула, пришли к траншеям с ружьями своими и с лопатами, кайлами да ломками. Надо было сделать окопные перемычки между параллельными траншеями, чтоб можно было из одной в другую перескакивать. Это была такая засада, наши бойцы планировали засесть в этих окопах, прикрыться тем же рубероидом, а как бандитская колонна заехала бы между траншей, так вскочить всем разом по сигналу и начать их расстреливать, бегая по окопам и перебегая из одного в другой.

На следующих штабах обсуждали в основном, как вести бой, когда бандюки заявятся. Ночной бой – самый трудный. У мужа среди рухляди оказался и целый ящик с осветительными ракетами разных цветов, они вроде хлопушек новогодних: дёрнул за шнур – ракета и вылетела из трубки. Договорились этими ракетами освещать вражеские машины, а также подавать разные сигналы к бою, во время боя и «омоновцам», если подъедут на помощь. Муж сказал, что среди бандюков могут наверняка оказаться бывшие солдаты, воевавшие в Афгане или других местах. А этих на испуг не возьмёшь, оружием они владеют. Тут командир-пограничник заметил, что у них могут оказаться и гранаты. Вот бы нам гранат, мол, я с ними хорошо умею обращаться. Муж на это ответил так: «Гранат у нас нет и не предвидится, но мыслишь толково... У меня есть запас взрывпакетов, наделаем из них гранат, они хоть и не порвут, но если рядом с башкой рванут, то глушанут крепко, и ещё кое-каких ручных снарядов наделаем...»

...Тревожные были дни и ночи. Мужики осунулись, высохли как-то, бриться перестали. Спали урывками, почти не раздеваясь, ружья всегда под рукой, некоторые даже патронташи не отстёгивали. Лица каменные, глаза тяжёлые. Бабы и дети по струнке все.

В день, когда должны были приехать к «таджикам» за данью, у нас большинство бойцов собрались в готовности в клубе и правлении, почти все сутки кемарили сидя, ждали команд по тревоге. Но никто не приехал. Тогда муж велел «таджикам» и троим бойцам из шести уйти с поста в совхоз, только запас еды оставить троим оставшимся, чтобы они, спрятавшись, вели

секретное наблюдение. Теперь, стало быть, если приедут, то только совхоз громить... Этой же ночью провели учения: как по тревоге размещаться в окопах, кому где стоять, как выпрямиться неожиданно и одновременно по сигнальной ракете. Кому куда выпустить осветительные ракеты, кому стрелять по кабинам, кому по бензобакам и колёсам, кому кидать бутылки и гранаты, как разбегаться по окопам после каждого выстрела, чтобы ответная пуля не поймала. Отдельная группа бойцов должна была выводить и прикрывать во время боя отход женщин, детей, стариков. Эту группу возглавил снайпер, чтобы надёжно валить тех бандитов, кто увяжется за эвакуированными. Ему муж отдал из своей рухляди прибор ночного видения, через него в темноте видно, но всё в каких-то потёмках зелёных.

Директор каждый день говорил по телефону с начальником милиции, докладывал нашу обстановку, потом ходил хмурый, начальник ему ничего про ход дела с «сельпошниками» и бандитами не сообщал.

Наступил пятый день... Муж пришёл с ночного дежурства и лёг спать. А в десять часов дня заявили директор с кремлёвцем в какой-то не то радости, не то тревоге, попросили разбудить мужа, и пусть даже не встаёт, так переговорить можно. Я пошла в спальню, тронула мужа за плечо, он вскочил мгновенно, даже толком не проснувшись, и кинулся к своей одежде, схватив пистолет из-под подушки.

Я успокоила да позвала посетителей нежданных. Они влетели и с порога объявили, что звонил начальник милиции, весёлый, сказал, что, мол, начинайте всеобщую «демобилизацию», закончилась тревога, что приедет к нам через час и всё подробно расскажет. Приедет на «уазике», который у бандитов отбили, так, мол, предупредите своих бойцов, чтоб случаем не взорвали-сжгли-расстреляли. Муж выслушал хмуро, потом ответил: «Что нам делать – сами порешаем, когда всё узнаем. А вот насчёт «уазика» надо позаботиться и проследить, люди сильно утомлены». Хорошо выпалась только команда снайпера, вот ими и надо заменить все посты на въезде в посёлок, хорошенько предупредить, а всех прочих оттуда отправить на отсып. Кремлёвец пошёл исполнять, а директор направился в правление встречать начальника, чтобы потом к нам с ним зайти. Муж велел мне накрыть стол, а сам прилёт ещё покемарить.

Примерно через час и пятнадцать минут пришли начальник с директором. Уселись. Директор чуть не прыгает от нетерпения, сразу к начальнику с вопросом, мол, как там сидится вражинам нашим? А начальник со смехом отвечает: «Да что им делается, уж выпустил всех давно». Директор прямо в крик, мол, как же так?! А начальник: «Да угомонись ты... Тебе что нужно, чтоб они сидели или чтобы к вам никто больше не лез? Лучше слушайте, как дело обернулось... В тот раз, когда их повязали, я сразу к «таджикам» заехал и от них заявления взял. Потом приехал, подержал этих гадов часа три под замком по отдельности и «колоть» начал. Первым вызвал старшего «сельпошника», я его с детства знаю, в одной школе учились. Он всегда был хитрый и наглый, а нутро слабое, когда прижмут, он враз растекается. Привели его, начал допрашивать. Он и затадычил, что не понимает своего задержания, к Гаврилычу приехал поговорить насчёт долга давнего, который тот не хочет отдавать, так как расписки с него взято не было, вот и пользуется, бессовестный. В общем, базарил как по-писаному. У бандюков хорошие адвокаты на зарплате, так они с ними совместно каждую свою пакость планируют и намечают, что кому говорить при задержании. Я ему заявление от «таджиков» показываю, а он мне и про них то же самое поёт.

Ладно, говорю, может, это на следствии и прокатит, да только у тебя в машине оружие нашли и пули от него у Гаврилыча в дверях, а у «таджи-

ков» – в машине. Что скажешь? А он мне заявляет, что дальше будет отвечать только в присутствии своего адвоката. Тут я его и прессанул. Твоё, говорю, дело. Можешь говорить при адвокатах, но тогда ты – подозреваемый, завтра поедешь в Волгоград в СИЗО, там будешь сидеть и на допросы ходить. Поэтому я с тобой сейчас без протокола поговорю, глаза тебе открою. Твои подельники стволы сбросили тебе в машину без своих пальчиков, да ещё орали при всех, что ты их подставил. Стало быть, вписываться за тебя не станут. Сядешь ты в СИЗО, и адвокаты, на которых ты рассчитываешь, тебе сразу же скажут: «Бери всё на себя, чтобы бродяги вышли, а мы тебе максимально срок скостим, и сидеть будешь без особых трудностей. Заартачишься, так тебе в СИЗО такую жизнь устроят, что в петлю захочешь. Если же бродяги из-за тебя сядут, то тебя тоже закроем по максимуму, и живым оттуда уже не выйдешь. Ты, конечно, можешь мне не поверить, но после тебя я бродяг допрошу.

А он мне отвечает в том смысле, что, мол, давай после этого допроса снова и поговорим. Ну уж нет, заявляю ему. Ты мне сейчас бумаги подписать должен: либо ты отказываешься говорить без адвоката – и тогда ты подозреваемый, которого завтра отправят в СИЗО без вариантов, хоть ты что мне потом напой, либо мы сейчас так поговорим, что вы с сыном уйдёте отсюда как свидетели под подписку о невыезде. А как, спрашивает, это сделать? Разъясняю ему: ты и твой сын подтверждаете мне показания других свидетелей, что это бандюки стреляли у «таджиков» и Гаврилыча, а себе в оправдание напишете, что да, хотели только насчёт долгов со всеми договориться, но сами должны этим бандюкам (вы же им точно должны, по-другому не бывает!). Вот те за вами и увязались. Подумал он малость и, чуть не рыдая, прошелестел, что бандиты, узнав про такие показания, их самих замочат. Узнают, говорю, но не скоро, да и нам тоже таких свидетелей, как вы, терять не интересно, беречь будем, не сомневайся.

В общем, уломал я его, потом сына вызвал. После чего они дали подписку о невыезде и вымелись восвояси. А я на следующее утро бродягу главаря на допрос вызвал. Он мне с порога гавкает, что под протокол будет говорить только при адвокате и желает сделать звонок по телефону, который по закону полагается. Ладно, говорю, позвонишь, только сначала давай без протокола пообщаемся. Он согласился, если дам закурить. Дал ему пачку – и разговорились. Спрашиваю, чего ж они так позорно вляпались? А он мне напевает, что барыги слёзно попросили уговорить своих должников рассчитаться по-хорошему, ну они и согласились по доброте душевной помочь бедолагам. Тогда, спрашиваю, откуда ж промеж вас стволы взялись? А он мне гонит, что про это ничего не знает, сам эти стволы только при обыске и увидел. Что ж, говорю, нормальная отмазка. Если бы ты со своими корешами мне это всё в протоколе подтвердил, то я вас сразу и отпустил бы как свидетелей под подписку о невыезде. Вы ведь мне не нужны, мне барыг ваших ущемить интересно. А он мне эдак с ухмылочкой, мол, понимаю, начальник, сам хочешь хозяйничать, а для этого барыг затоптать надо.

Ладно, говорю, расклад ясен. Если хочешь, пиши свою отмазку – и вали-те отсюда, пусть с вами в Волгограде разбираются. Они и сами это знают – сидельцы старые, но напомнить никогда не помешает. В общем, всё прошло штатно, дали подписку о невыезде, получили обратно отобранное при обыске, кроме ножей и анаши. Перед уходом я им невзначай сообщил, что «сельпошники» раньше их вышли под подписку, на них сразу надавили, видно, покруче бродяг будут... Главаря от этого сообщения аж судорога передёрнула, пулей из отдела вылетел. А через час влетели ко мне «сельпошники» в полной панике! Бродяги к ним заявили, велели послезавтра быть

в Волгограде на толковище, забрали их «Волгу», сказали, что отдадут в Волгограде после толковища, и укатили.

Я шлангом прикинулся, сказал «сельпошникам», что доложил о задержании в Волгоград, и оттуда получил указание выпустить под подписку, прокуратура потребовала, видно, у бандитов там завязки. Потом «сельпошникам» говорю, да и езжайте на это толковище, дам сопроводительную записку, там отметитесь в управлении и скажете, по какому адресу будете в Волгограде. На толковище тоже обязательно скажите, что отмечались и адрес пребывания в «ментовке» указали. Послушаете, что они вам предьявят и потребуют, заберёте «Волгу», вернётесь и напишете заявление об угрозах, с указанием всех, кто там присутствовал из братьев.

Послезавтра мне доложили, что на утренний рейс в Волгоград сельпошники почти весь автобус заняли, сели со всеми своими домашними, нагрузились чемоданами да баулами всякими. В Волгоград приехали, отметились в управлении и – пропали! На другой день выяснилось, что сели всем кагалом на украинский поезд и смылись. У них в Запорожье и Днепропетровске родни много, вот, видимо, к ним... Так что я их с чистой совестью в розыск объявил.

А сегодня ночью, под утро, их пустой домина как запылаёт! Ничего не осталось, одни головни. Разом вспыхнуло, пока пожарные приковыляли, всё, считай, закончилось. Так что расклад получается такой... «Сельпошников» теперь ищут бандиты и мы. «Сельпошным» бандитам вы сто лет не нужны, а другую банду им уже на вас не натравить. Так что можете отдыхать и радоваться, но совсем успокаиваться не советую, мало ли кому ещё когда-нибудь на вас захочется глаз положить... Такие уж нынче времена.

Как закончил начальник свою речь, муж откинулся на спинку стула и глаза ненадолго закрыл, будто гора невысказанная у него с плеч свалилась, а директор сунул руки в свою сумку, вытащил оттуда красивую бутылку, на стол поставил и заорал: «Вот! Сколько лет ждала заветная своего часа! Настоящий французский коньяк «Курвуазье», любимый коньяк Михаила Шолохова. В год, когда по его книге снимался фильм «Они сражались за Родину», этот коньяк по его просьбе завозили ящиками в волгоградский обкомовский распределитель, оттуда его люди забирали, отвозили в станицу, где шли съёмки, каждый в съёмочной группе, кто хотел, мог получить стакан этого коньяка к обеду и ужину. А я тогда подсуелился и урвал себе эту бутылочку!» Разлили мужики по рюмке, выпили, а потом как накинудись на еду, будто сто лет не едали.

Как поели, директор и окосел. Пошли они втроём в правление. На улице, на жаре директора совсем развезло, пришлось под руки поддерживать. Подошли к правлению, а там народ шофёра милицейского окружил, едой его угощают, компотом холодным из погреба и выпытывают, чего начальник заявился? А тот сам ничего толком не знает, только догадки свои излагает, но люди и это жадно слушают. Как подошла к правлению троица, так директор песню завопил: «Нас ждёт огонь смертельный, и всё ж бессилён он...» Все ахнули, никогда его таким не видели, а муж с улыбкой распорядился: «Через полчаса штаб, все объявления после заседания. Директору помочь прийти домой. После чего – всем отдыхать». Бойцы директора окружили и себе на плечи уложили. Понесли, а он не унимается, руками машет и грочет: «Ребята! Орлы! Волкодавы! Ордена всем, да где ж их взять!»

Начальник забрал автоматы с пистолетами и укатил.

На заседании штаба порешили, что пару суток пусть все отдохнут-отоспятся, в порядок себя приведут, а потом устроить праздник-гульбу всем совхозом, как было в 1946 году, когда местные мужики, которые в Отечественную на фронтах уцелели, домой вернулись! Это директор предложил,

ему про это гульбище в детстве много рассказывали его покойный отец-фронтовик и его боевые друзья.

И пришёл на нашу улицу праздник! Через два дня, как порешили на штабе, после полудня, когда жара начала спадать, перед правлением поставили в четыре ряда столы и стулья, накрыли их всем самым лучшим, что в погребках запасли да наготовили. Выставили весь запас самогона. «Таджики» три ящика пива подарили, а директор остатки своих запасов выставил – десять бутылок «Пшеничной». Для детворы наставили квасу домашнего, соку, компот. Фрукты-ягоды всякие разложили красиво по вазам да блюдам. Муж и директор сели за главный стол посерединке. За главный стол посадили ещё двух дедов: однорукого и одноногого – они такими с Отечественной пришли, последние наши живые ветераны. Когда они подходили к правлению со своими наградами на груди, мужики их подхватили себе на плечи и так до стола донесли. Рядом с главным столом на стуле возле директора положили мужнин мегафон, чтобы всем было слышно своего «замполита». А ещё позвали парнишку-фотографа от «таджиков», заплатили ему, чтобы фотографий наделал.

Такое пошло веселье – отродясь не видала! Поначалу звучали тосты, которые директор в мегафон говорил. За особо отличившихся бойцов и командиров, за солдатскую смекалку, за доблестных тружениц тыла, за баб то есть, за юных орлят-вестовых, за мужское товарищество... Коекого директор отметил отдельно, при этом велел вставать, чтобы все видели. А про меня-то, про меня что ляпнул: «Когда-то Францию захватили враги, и все их боялись, жили похабно, лишь бы день прошёл, никому ничего не надо. Но появилась во Франции молодая крестьянка Жанна д'Арк. Всех растормошила, подняла на борьбу – и вышибли люди врагов со своей земли. А у нас кто первый всех тормошить начал, кто сподвигнул так, что мы стали интересны тем же бандюкам, но не по ихним зубам оказались? Всё она – наша Жанна д'Арк!» И на меня показывает!

После тостов начали петь хором, плясать! «Умник» баян притащил, да такой гармонист оказался – любую мелодию враз на слух подбирал. А матрос как начал плясать, так у всех глаза на лоб полезли, такие кренделя выделывал, что в любой ансамбль солистом ставь или хоть в цирк акробатом! Когда утомился, мужики его схватили и качать стали, да так высоко кидали, что его жена даже напугалась. Веселились до поздней ночи, особенно нравилось мужикам вспоминать и хвастаться: кто как в лихие дни себя вёл, что думал и делать собирался.

Перед тем как разойтись, директор последний раз высказался: «Друзья! Земляки! Соотечественники! Мы не посрамились в боевой обстановке. Так давайте этот фасон держать и дальше во всех делах. На нас теперь весь район смотреть будет, теперь мы – его гордость и надежда. Запомните эти мои слова!»

И ведь точно, так и вышло, как директор сказал. По району пошли о нас всякие слухи и рассказы, выдумки разные. Наши-то начали выбираться в райцентр и в другие посёлки, на базар, к родственникам, по делам каким... И такого про себя наслушались, а ещё больше – порассказали, ведь куда ни приедешь, везде спрашивают, а мужикам ещё и бутылки ставят, чтоб рассказывали. А потом кто в совхоз возвращается, так первым делом сообщает, что про нас в отъезде услышал, да о чём его выспрашивали.

Ну, разговоры разговорами, а надо дальше жить да работать...

«Сельпошники» пропали, поэтому аренду всех магазинов по совхозам им прекратили – они же не платят. И взял эту аренду сын начальника милиции на паях с женой. А вот у нас в совхозе магазин директор с «таджиками»

выкупили. Назвали его «Фактория» и много нового внесли. Там можно было не только на деньги покупать, но и сдавать вместо денег за товары продукты с огородов, мясо с подворья, сырые шкуры, овчины или с бычков, которых на мясо забили. Шкурки хорьков и даже сусликов тоже брали, если качество хорошее, даже мясо сусличье можно было сдавать. В общем, не зря такое название магазину дали – фактория и есть, как на Чукотке или Аляске какой.

«Таджики» оборотистые оказались. Часть продуктов в своей харчевне использовали, а другую часть продавали с лотков – такой придорожный базарчик устроили. Дальнобойщики и автотуристы брали очень охотно. А шкуры собирали, а потом сдавали на разные меховые фабрики, оттуда к ним машина приезжала зимой. Так появился у наших совхозных интерес, чтобы свои огороды да подворья лучше обихаживать, но это в основном бабья работа... Мужикам подавай тракторы, комбайны, стройки или работу в ремонтных мастерских.

«Таджики» начали разворачиваться вообще по-крупному... Я уже говорила, что они – это две семьи русских беженцев из Таджикистана. Но отец одного семейства – русский немец. А в Германии тогда реализовывалась программа помощи немцам бывшего СССР, чтобы не ехали все в Германию. Вот под эту программу «таджики» взяли через немецкое посольство германское оборудование для маленькой пивоварни и маленького колбасного цеха, а ещё беспроцентную ссуду для их обустройства. Создали свою фирму, опять взяли компаньоном директора и мужа моего тоже уговорили стать компаньоном, чтобы он всё построил, наладил и держал в исправности. Так и вышло, муж созвал бригаду, построил и наладил с ними пивоварню и колбасную. Мужики на стройке неплохо заработали, а шесть человек стали постоянно работать пивоварами да колбасниками. Пиво варили в основном пшеничное из совхозного зерна, а потом стали привозить откуда-то и ячмень.

Это пиво так полюбили в райцентре, что его иной раз даже для «таджикской» харчевни не всегда оставалось. А колбасы делали из нашей же баранины, ну и из свинины с говядиной, если удалось заготовить – такого мяса в совхозе мало выращивали, только по подворьям. Опять же понадобилось много перца, чеснока, кинзы и тархуна. Начали выращивать это по подворьям. А колбасы эти дальнобойщикам и автотуристам так полюбились, что с ходу улетали, в городе-то такие много дороже стоят. Для колбас в совхозе коптильню сделали, в ней стали и просто мясо да сало коптить для себя и на продажу.

Или вот ещё... В совхозе с давних пор, ещё с советских, выращивали в теплицах помидоры. А для себя делали вот что. В степи на делянках неполивных весной, пока земля сырая, высаживали помидорную рассаду и оставляли на лето. К осени часть кустов пропадала, а часть давала урожай: маленькие, очень красные помидоры. В жизни вкуснее этих помидоров не пробовала. Называются «степные». И вот один раз по телевизору один знаменитый артист сказал, что на летних или осенних гастролях в Волгограде всегда заказывает себе в гостиничном ресторане салат из степных помидоров, жаль, что не всегда он бывает в наличии.

Муж с директором покумекали, потом это дело на штабе обговорили и на следующую весну здоровенный клин в степи непаханой возле посёлка взрыли плоскорезом, подрезали сорняки культиватором, а народ туда высыпал, поделил на делянки, кто сколько сможет обработать семьёй, наделали грядки и всю помидорную рассаду из своих теплиц там и воткнули. С августа по октябрь пошёл урожай. Так помидоры созревать еле успевали, их тут же в волгоградские рестораны увозили – это уж директор подсуетился, да так хорошо платили!

В общем, стало у наших людей всё больше появляться «живых» денег, а то ведь были времена – да в других совхозах они и остались, – когда люди уж забывать стали, как деньги в руках держать. Теперь у нас по весне две посевные, зерновая и степная помидорная!

Потом директор договорился с одной фабрикой – она сукно делает для солдатских шинелей. Так после этого мы не только сырые овчины с зарезанных на мясо баранов начали сдавать, а ещё и с живых овец летом шерсть стричь. Трое мужиков заправскими стригалями заделались, всё лето напролёт им овец водят, они обстригают, прилично зарабатывают на этом. Овцы у нас местной мясошерстной породы. Если их стричь регулярно, то едят лучше, ведь не жарко, от этого мясо больше нагуливают, да и новая шерсть быстро отрастает.

В огородах наших мы картошку и баклажаны выращиваем. А на них жук колорадский. Вот уж напасть, ничем не выведешь. И вот однажды к нам подбежал «таджик» один с клеткой, а в ней пара курочек красивых, вроде куропадок. Он их выпустил у нас на огороде, они забежали, да как принялись клевать эту колорадскую нечисть! Сроду не знала, что этих жуков какие-то птицы клевать могут. Это американские курочки-цесарки. Их «таджику» муж заказал. В Таджикистане их многие держат, эти курочки очень тепло любят, холод не выносят. За два дня эти цесарки нам весь огород вычистили, и с обычными курами начали гулять да зёрнышки с червячками собирать. Тогда я их в соседский огород запустила, потом дальше и дальше, весь совхоз на них поглядел да завалил «таджиков» заказами, чтоб и им привезли. А «таджики» рады, всем достали и продали по парочке: курочку с петушком. Зимой этих цесарок держали прямо в доме, чтоб в курятнике от холода не пропали. А весной у них цыплята пошли. Потом «таджики» сказали, что мясо цесарок готовы покупать неограниченно и дорого, оказалось, что его будут брать московские рестораны.

На штабе порешили строить для этих цесарок отдельный тёплый птичник, чтобы опять же каждая семья держала в нём своих цесарок и ухаживала за ними. Вот только возник вопрос с отоплением. У нас ведь степь, на печное отопление уголь покупаем, отходы лесоперерабатывающего комбината из соседнего района, а то и кизяком, сушёным навозом, топить приходится.

И тут муж нашёл решение! Поездил по заводам разным да поменял там на наше продовольствие для их столовок движков и генераторов электрических, сломанных в основном. У нас эти генераторы в мастерских восстановили, движки тоже в генераторы переделали – для ветряков. Ветер крутит, а генератор от этого электричество вырабатывает, такой ток ни на что не годен, кроме нагревания. Этим и начали обогревать цесарочный птичник. Дальше – больше, свинарник обогревать приспособили, конюшню, кошару, где овцы ягнились, падёж уменьшился заметно. Потом кое-кто и для дома себе ветряк приспособил. А дальше слух пошёл по району, потянулись к нам с заказами из райцентра и от фермеров, даже волгоградские дачники приезжают. Целый бизнес налажился. Двадцать пять мужиков постоянно заняты, а то и ещё брать в помощь приходится.

Начальник милиции выбил новый автобус для райотдела, а раздолбанный «пазик» списали и пригнали к нам, директор договорился. Муж с мужиками в мастерских это барахло так переделали, что хоть ещё сто лет пробегаёт, как молодой.

Приезжал к нам глава районной администрации, хотел директора себе в заместители сманить, а он ни в какую! Тогда тот выругался, мол, что за времена: карьеру предлагаешь – и нос воротят! Потом сказал, что пусть наш совхоз будет для района маяком, раньше все ресурсы по этим бестолко-

вым программам помощи из области распределяли всем поровну – их либо воровали, либо так использовали, что уж лучше б разворовали! И никакой налоговой отдачи! А от нашего совхоза налоги пошли неплохие, вот и получайте себе всё, что из области на район выбить удастся, а другие пусть глядят и учатся. И вправду: то семена подкинут, то горючее, стройматериалы для ремонта школы и клуба, даже пару компьютеров! Поначалу не знали и зачем, а потом муж разобрался по инструкции, поставили их в клубе, и дети начали играть, и так им это полюбилось, чуть время есть, бегут в клуб, если сами не играют, так за другими следят. И все наши мужики теперь мужу в рот смотрят – чего ещё выдумает? А командиры за ним вообще, как выводок за уткой, ходят.

Многое произошло с тех пор, как у нас жизнь поменялась, но вот уж больше двух лет с той нашей «войнушки» минуло, а я не могу надивиться, как сами люди изменились, гляжу – и глазам не верю!

Однажды не вытерпела и мужа спросила: «Как получилось-то? Ведь совсем недавно были забуддыги пропащие, матерщинники подзаборные да бездельные. Всё думала, как среди таких и сына-то растить? А теперь что?! Ведь не народ, а чистое золото!» Муж на это улыбнулся эдак раздумчиво... и ответил: «Они теперь друг другу боевые товарищи, которые плечом к плечу, в одном строю с честью одолели врага. А это братство покрепче кровного. Теперь каждый себя ценит, других уважает, вот и стараются своё новое достоинство не ронять.

Да уж... Мужу виднее, он в Афганистане год воевал, ранение получил. И вообще, кто что ни говори, а мужицкие мозги – это не бабьи головы... Кабы наши мужики себя не пропивали, то была бы Россия первой державой на свете...»

Всё наше купе слушало попутчицу как зачарованное до глубокой ночи, а потом и с утра до самой Москвы. Много о чём переспрашивали, уточняли. Я, конечно, рассказал здесь далеко не всё услышанное, а что сам запомнил, да ещё своими словами, стараясь максимально сохранить её манеру изложения.

Под конец она сообщила: «На будущий год думаем всю землю пахотную, что за посёлком числится, пшеницей засеять. Нам с мужем один хлебокомбинат в городе поверил и договор заключил, чтоб мы на их элеватор пшеницу сдавали. Так что дело пошло. Месяц назад мы с мужем под этот договор купили да пригнали трактор «Кировец», К-700».

Я слушал нашу простодушную собеседницу, бесконечно проникаясь восхищённым удивлением. «Кировец», К-700 – ведь это же ревуший дизельный монстр с огромными колёсами, самый мощный трактор советских времён... Да уж, есть женщины в русских селеньях... Всё ещё есть!



**Александр
ДИВЕЕВ**

МОЛЧАЛИВЫЙ АНГЕЛ

ЛЕБЕДИ

И чем светлей раздумий вязь,
Тем меньше на душе покоя.
Кто подарил в мой поздний час
Зимою лето голубое?

Деревню. В яблоках сады.
Клуб, где на хромке лихо шпарю
Девчонкам. Серые пруды.
И лебедей прекрасных. Пару.

Другие бросили мой край –
Милей им реки и озёра...
А я опять о них не знай
Который год грущу, который...

Влюблённых кормит ночь
– Смотри! –
Щепоткой зёрен звездопада...
И ты Его благодари!
Зачем?
Наверное, так надо.

-
- Александр Алексеевич Дивеев родился в 1951 году в деревне Ундольщино Кистендейского (ныне Ртищевского) района Саратовской области. Окончил Саратовский экономический институт. Составитель и редактор сборников стихов ртищевских авторов «Цветы и пепел» и «Эхо Души» (Саратов). Публиковался в журналах «Волга–XXI век», «Природа и человек. XXI век» (Москва), «Странник» (Саранск), «Новая Немига литературная» (Беларусь), «ДОН новый», «Наш современник» (Москва), в альманахах «Стрежень» (Тольятти), «Литературный Саратов», «Земляки» (Нижний Новгород), на сайте «Российский писатель». Автор поэтических книг «Звезда Антарес», «Плащаница Души», «На кресте любви». Лауреат национальной литературной премии «Золотое перо Руси-2014». Член Союза писателей России. Живёт в г. Ртищево.

РАДИСТ*Памяти Александра Савельева*

Золотые ты руки имел
И характером был золотист.
Делать людям добро – твой удел.
Звали ж все тебя просто – Радист.

Меж Москвой и глубинкой связной –
Ты принёс людям песни о том,
Как на вешней заре молодой
Выходил на поля агроном,

На побывку приехал моряк,
Бился в тесной печурке огонь,
Как гулял всё по Дону казак,
Одиноко бродила гармонь...

Но судьбы равнодушная тень
Твой уже обивала порог:
Голос Бахуса звал каждый день,
Ты ему прекословить не мог.

Ну зачем имя Бога в сердцах
Беспричинно ядрёно хулил?!
С детства с бадиком*, с солнцем в глазах,
По земле ты недолго ходил.

Как часы твой стучал драндулет.
Месяц август свечой догорал.
Вдруг навстречу машина... кювет...
«Вот и всё», – только ты и сказал.

Взгляд на карточке тёпл и лучист,
Скромен памятник с красной звездой...
Для меня и теперь ты – Радист
Между Жизнью Небесной и мной.

Отбредили душу соловьи,
Спокойнее теперь забьётся сердце.
Похолодало в чувствах и в крови,
И никуда от этого не деться.

А что хранилось в радужных мечтах –
Поблёкло ныне, а порой – постыло...
Людская жизнь распята на словах –
Рождение, венчанье и могила.

* Бадик – палка, посох.

Не вздрогнет бренная обитель,
Не потускнеют блики звёзд,
Когда уйдёт последний житель
Деревни старой на погост.

И молодой могильщик пьяный,
Не хмуря включенных бровей,
Поставит новый деревянный
Крест светлой родине моей.

ОСЕННИЕ СТРОКИ

Похолодало.
Воздух волглый.
Потемнели небо, воды.
А синоптики надолго
Обещают непогоду.

Серебрит всё чаще, чаще
Утром иней провода,
И скорей, чем прежде, с пастбищ
Возвращаются стада.

Горизонт за мгливой далью
Тонет в смутных силуэтах,
Снова я богат печалью,
Словно солнцем бабье лето.

ОДИНОКИЕ РЕЛЬСЫ

Их манит вечно даль.
На них искрится солнце.
Сквозь ливни, вьюги, марь –
Несутся к горизонту.

Что в нашем мире жизнь?
Мираж тоски да счастья...
Несутся, чтоб сплестись
В объятьях бренной страсти,

Сквозь ветер, тьму, огни,
Туманы сладкой муки...
И рядом хоть они –
Да толку-то: в разлуке!

И если всё же вдруг
Совьют их в страсти черти,
То в светлый час вокруг
Взметнутся тени смерти...

МОЛЧАЛИВЫЙ АНГЕЛ

Злая кондукторша, роясь в монетах,
Цедит сквозь зубы ехидно:
«Что ж ты, мала~~я~~, опять без билета?
Как тебе только не стыдно!»

Ей бы на месте сейчас провалиться –
Смотрит, потупясь, под ноги.
У пассажиров усталые лица,
Реплик беспечны потоки:

«Внучка из города к бабушке в гости,
Видно, опять приезжала».
«Незачем: старая спит на погосте».
«Что ты! А я и не знала».

«Хваткие деточки вывезли тряпки,
Не погрузив, не поплавав».
«Добрая память осталась от бабки –
Старенький дом и собака».

«Ирочка с Жучкой, поверьте на слово,
Хлеб и конфеты делила,
Да и сегодня, наверное, снова
Что-то поесть привозила»...

В небе звезда чья-то слабо светилась.
Даль пеленали потёмки.
А за окошком беспечно клубилась
Снежным туманом позёмка.

Девочка молча у двери стояла.
Хныкали тихо двойняшки.
А за автобусом долго бежала
С лаем счастливым дворняжка...



Наталья
ТЯПУГИНА

ГОЛОС НУЛЕВЫХ

О поэзии Валерия Кремера

Стихи Валерия Кремера мудры и органичны, как сама жизнь. Хоть современная жизнь и не проста, и не естественна. Его стихи проникнуты глубоким душевным чувством и болью. Они рожают тот бередающий наплыв чувств, что и есть доказательство подлинности дара. Это дар, который даёт право поэту говорить, о чём ему надобно: о любви, её могучей силе и беззащитности; о времени, бесконечно текущем и так быстро иссякающем; о своём поколении, доверчивом и одураченном.

Чем же так трогает слово Валерия Кремера? Каким душевным движением? Пронзительным ощущением места и времени – вечным и прекрасным, несмотря на бесконечные изменения, происходящие стремительно, прямо на глазах. Ты только вышел покурить – а в это время сменилась эпоха, в которой тебе, как и целому поколению твоих современников, не оказалось места.

В душе зародилось ещё неясное самому ощущение – а это уже влечёт реальный слом всей твоей жизни. Ты только начал что-то понимать в мироустройстве и его законах, как тут же колоссальность постигаемого масштаба насмешливо отодвинута неотменяемой конечностью существования, причём лично твоего.

*Мы только выучились жить
И от судьбы не ждать подвоха.
Пока мы вышли покурить –
Сменились ветер и эпоха.
Мы дверь толкнули в темноту
И думали, нам чёрт не страшен,
Входя в страну уже не ту,
Совсем не ту. Совсем не нашу.*

-
- Наталья Юрьевна Тяпугина (Леванина) – прозаик, литературовед, литературный критик. Доктор филологических наук, профессор. Автор более ста семидесяти научных, литературно-критических и художественных работ. Публиковалась в журналах «Москва», «Октябрь», «Дон», «Волга», «Волга–XXI век», «Наш современник», «Литература в школе», «Женский мир» (США); «Крещатик» (Германия–Украина), альманахах «Саратов литературный», «Краснодар литературный», «Другой берег», «Мирвори» (Израиль), «Эдита» (Германия) и др. Лауреат литературного конкурса им. М.Н. Алексеева. Лауреат Международного конкурса литературоведческих, культурологических и киноведческих работ, посвященного А.П. Чехову. Член Союза писателей России.

*И долго привыкали к ней
 Душой озябшей и ослепшей,
 Не узнавая и теней
 Вчерашней жизни, нами певшей.
 Всё стёрлось, всё сошло на нет
 В игре летящей вихрем пыли.
 И нас окликнул только Свет.
 Свет, о котором мы забыли.
 Лишь он не признаёт игры,
 Не предаёт, не убывает
 И нежно льётся изнутри
 Во мрак, что лжёт и убивает...*

«Времена не выбирают, в них живут и умирают...» Сказано это было Александром Кушнером в тишайшие 70-е. Да, идеальных времён у нас, похоже, не было, зато, видимо, поэтому у нас рождаются хорошие поэты. Ведь для настоящей поэзии нужны подлинная Драма жизни, личная и всеобщая, а также Почва и Судьба, тоже одна на всех.

Бессмысленно гадать, что было бы с поэтом и со всеми нами, не сменись эпоха. Она сменилась и зазвучала в горькой интонации В. Кремера:

*Поколение ноль
 Приближается к смерти,
 Возлюбив свою боль,
 Слобно деньги в конверте.
 Выпив столько вины
 Под раздачу Отчизны,
 Что уже не нужны
 Плачи и укоризны.
 Нас сломали два раза,
 Мы – дважды нули,
 Наши мёртвые фразы
 Надгробьем легли.
 На губах – пыль и соль.
 Ветер носит враньё.
 Поколение ноль
 Отыграло своё.*

Слово найдено. Мы – «поколение ноль». Горечь, обман, несбывшиеся ожидания, упущенные возможности. А жизнь не ждёт, она идёт и уходит. Признаться в этом – нужна сила, но её одной мало. Нужны ответы: как жить? зачем писать? за что держаться, чтобы не сдул тебя и всех, кто тебе дорог, с поверхности земли этот налетевший исторический смерч, перемешавший и перепутавший всё на свете?

Поэт продолжает упрямо верить в нематериальное. В Слово, например. И Слово откликается на эту любовь и веру.

Так о чём Слово Валерия Кремера? О мужестве и правоте творчества, о смертельно опасных объятиях со Словом, которые порой случаются на пограничной с реальностью черте, о том, что автор почему-то совсем не боится эту черту миновать. В его стихах отвага посвящённых, на которую можно лишь намекнуть. Кому дано понять – этого намёка достаточно. Остальным лучше про это не знать.

*Идёшь никому не подвластный,
Июнь раздвигая плечом,
И жить так легко и опасно,
Как неть, понимая, о чём.
Пройдёшь по смертельному краю
И даже зайдёшь за черту,
Зачем эта дерзость, не зная,
Но чувствуя в ней правоту.*

Творчество – главная тайна Валерия Кремера. Оно давно и полностью подчинило себе его жизнь, мотивировав её главные этапы. Оно – его напасть и награда. Вериги и откровения.

Приходящие к нему стихи повлияли на всё, включая выбор профессии, с которой по молодости была связана наивная надежда: филология объяснит, что с ним происходит, научит, как управиться с этой филологической напастью, и поможет ввести сочинение стихов в управляемое русло.

Но у всех свой путь и своё спасение. Поэт это понял позже. А вначале, ещё не до конца осознавая последствий существования над бездонной пропастью смыслов, Валерий Кремер учился пробираться над ней отважно, на ощупь, не опуская глаз.

*Ночь вдруг коснётся откровенья,
И ты поймёшь, что мир незряч.
И недостаточно горенья,
Чтоб разбудить полёт и плач.
И будет утро. Просто утро.
И день раскроется цветком.
Что было глупо или мудро,
Узнаешь только лишь потом,
Когда мы станем бестелесны
И в свет иль мрак взлетим без виз.
А жизнь всё та же – мост над бездной.
И мы идём, не глядя вниз.*

И награда от такого преодоления была по-настоящему царской – он обрел способность слышать голос звёзд и ощущать родство с ними, осознавать, прозревая, глубинную связь с миром. Открывать в себе человека.

*Играл мелодию, а думал о другом:
О светлом, праздничном, о самом дорогом.
О том, что вечно не даётся в руки,
О суете, о бренности, о скуке.
И думал: Господи, спасись бы от тоски,
От вечной непонятности значенья.
И понял вдруг, смущаясь от прозренья:
Мы сами музыка и вечности фотки.*

Такие поэтические прозренья дорогого стоят. Однако с возрастом приходит понимание:

*Что ни напиши,
Я всё равно
Больше.*

Это несомненно. А иначе почему исповедальность его стиха совпадает с самыми потаёнными твоими мыслями и ощущениями, так трогает и волнует?

Слово его не подвело. Не зря он на него надеялся. Поэту удалось не просто выразить себя в слове. Валерий Кремер откликнулся на своё время талантом, опытом, жизнью, страданием и выраженной в слове любовью. А это совсем не просто.

*Сад подрублен, садовник подкуплен,
И земная колеблется ось.
Голос друга чуть тлеет, обуглен:
«Мы не стали. Нам не удалось».
Не спеши. Не погаснет лампада,
Если веришь в добро, как дитя.
Неспроста эти пальцы, коль надо,
Разгибают подкову шутя.
Хоть измена у нас в обороне
И стаканами хлещем враньё,
Те, за морем, нас рано хоронят,
Да и местное лжёт вороньё.
Всё ходили путями глухими,
Но, пока на плечах голова,
Мы – упрямы с корнями живыми,
Что вцепились в родные слова.
Всё сильнее земное вращенье,
Ближе края смертельный оскал.
Мы настанем. И будет Прощенье
Всем, кто верил, любил и искал.*

**Редакция журнала «Волга–XXI век»
поздравляет замечательного поэта Валерия Кремера
с юбилеем!**



**Лидия
ЗЛАТОГОРСКАЯ**

«ЧЕСТНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО»

ВСТРЕЧА С КАЗАХСКИМ ПИСАТЕЛЕМ В МУЗЕЕ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Писатель, журналист, государственный и общественный деятель – Гадильбек Минажевич Шалахметов, с которым мы встречались в музее Н. Г. Чернышевского, – широко образованный человек. Коллеги называют его посланником Мира и народным дипломатом. И это точное попадание!

В Казахстане его корни, любимая работа – журналистика, преподавание. В Саратов его привёл интерес писательский: на суд общественности Г. М. Шалахметов вынес свой завершённый труд «Пятый сон».

Рада, что книгу довелось прочитать до встречи с писателем, поэтому сопоставляла свои ощущения от прочитанного с тем, что говорил собравшимся Гадильбек Минажевич. Книга охватывает события трёх веков, начиная с XIX столетия. И какая развёрнута картина – эпохальных событий, народных традиций! И какие знаковые для казахской культуры имена: Абай, Чокан Валиханов, Ибрай Алтынсарин! Изображая особенности характера своих героев, автор наполняет повествование живыми деталями – убедительно, с уважением к исторической правде.

Центральный герой – правитель Букеевской орды Макаш Бекмохаммедов – человек масштабно мыслящий, сын своего народа, просветитель и философ. Он отлично знает кроме тюркских русский язык и несколько европейских, читает международную периодику и имеет богатейшую библиотеку.

-
- Лидия Николаевна Златогорская родилась в селе Старые Бурасы Базарно-Карабулакского района Саратовской области. Окончила филологический факультет Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского. С 1974 года работает в средствах массовой информации. С 2003 года – председатель Саратовского регионального отделения Союза журналистов России. Имеет диплом победителя профессионального конкурса журналистов на лучшую работу о Швеции, неоднократный победитель конкурса журналистов «Экология России». За серию очерков о людях труда стала лауреатом конкурса «Золотое перо».

И только позже, в следующей главе, становится понятен авторский замысел. Такая масштабная личность, как Макаш, не мог не встретиться с другим выдающимся человеком – с Николаем Гавриловичем Чернышевским. Интрига в том, что один из них – правитель нарождающегося государства, а другой – государственный преступник, сосланный теперь в Астрахань, в менее суровые условия – как по надзору, так и по климату.

И они встречаются, и вдут беседы. И оба стоят друг друга: по степени гражданской зрелости, по кругозору и жизненной мудрости. Им было о чём поговорить, когда Макаш пригласил Чернышевского погостить к себе домой. Обогрел, растопил его грусть – вниманием, народными песнями, красотами приморской природы.

И вот «Пятый сон» – это диалоги, беседы, приметы времени и быта, переданные через диалоги Макаша и Николая Гавриловича. Читается книга на одном дыхании. Только позже начинаешь сомневаться: а было ли так? Протоколов беседы никто не вёл, документов не осталось... Вот и музейные работники выражают осторожное сомнение: гипотеза требует научного подтверждения. Хотя так хочется верить в полувывысел (сон? фантазии?) автора, который красиво и логично подвёл читателя к мысли о неразрывности эпох и традиций двух наций, родственных культур, о неизбежности встречи двух людей – Повелителя и Властителя дум на стыке эпох.

Наш гость искренно радовался тому, что ему посчастливилось побывать в музее Чернышевского, глубоко уважаемого и любимого им публициста. Гадильбек Минажевич благодарил за наше понимание и доброе отношение к его труду. Несколько часов раньше писатель встречался с будущими журналистами в Институте филологии и журналистики. И так же подкупающе искренне ответил на вопрос о сути профессии журналиста: «Честность превыше всего».

Честность книги Шалахметова «Пятый сон» – в знании эпохи, взглядов передовых людей, народных традиций. Автор заставляет поверить в реальность событий, проникнуться уважением к героям. Ну а если кого смущает вымысел – назовите произведение романом. Там есть сюжет, эпоха, кульминация, развязка. Удивительно захватывающее чтение!

И ещё о чтении. Приступая к книге, Гадильбек Минажевич досконально изучил архивы, однако свой труд писатель не называет документальным. Он живым языком, глядя на собеседника, пересказывает увиденное в своём воображении. Это очень хорошо воспринимается, особенно сейчас, когда угасает интерес к писательскому труду.

С большим теплом отношусь к моим друзьям Умуткан Джунельбаевой, Михаилу Якубову, Эмили Шария, Александру Зуеву, Арайку Касяну. Они тоже посланцы мира и многое делают для укрепления дружбы народов. И хотелось бы больше таких встреч, направленных на восстановление культурных связей и нравственных ориентиров, встреч, рассказывающих о великих людях.

А нашему гостю, с которым долго не могли расстаться в музее, – новых книг и встреч на саратовской земле, пророческих «сновидений»! Кстати, писателю и его жене Вере Александровне наш город очень понравился.



Елизавета
МАРТЫНОВА

Зеркала истории

Гадильбек Шалахметов.
Пятый сон (Правда и фантазия) —
М.: «Художественная литература». 2017. — 272 с.

Книга напоминает сложную систему зеркал, зеркальных отражений — путешествие во времени и пространстве. Отражения эти и неожиданные, и закономерные. В литературе не бывает отъединённых друг от друга фигур, не вписанных в историю литературных произведений. Культуры разных народов, их история, литература, музыка и живопись — только единая энергия, объединяющая людей. Связь — ключевое слово для этой книги.

Автор поставил для себя цель написать о людях культуры, самоотверженно создающих её, не думая о себе, но размышляя о будущем.

«Именно так и происходит в жизни. Автор, подобно пчеле, собирающей мёд с сотен цветков, приступая к созданию романа, скульптуры, картины, архитектурного произведения, симфонии, практически в тигле вдохновения не вспоминает о запасе впечатлений, но они есть, они работают. Пусть скрытно, но созидательно. Работают тем сильнее, когда люди собираются с чётко обозначенным сверхзаданием, покрупнее школьного размера, с замыслом нечто изменить в современном, столь несовершенном мире».

Центральными его героями становятся Макаш Бекмохаммедов (или Бекмухамбетов), выдающийся казахский просветитель и политик, и учёный, литературный критик, публицист и писатель Николай Гаврилович Чернышевский. Правитель Междуречья Макаш Бекмохаммедов привозит Н.Г. Чернышевского в свои владения, и в течение пяти дней между ними происходят содержательные беседы: о литературе, социализме, о современном им государственном устройстве и, конечно, о будущем. События, описанные в книге, имеют под собой фактическую основу. Вымышлены только диалоги и описания, но, собственно, никакой исторический роман (или роман-

эссе, так, по-моему, точнее будет назвать «Пятый сон») без вымысла не обходится.

«Пятый сон» (понятно, почему пятый: в романе «Что делать?» у Веры Павловны было четыре сна) Николая Чернышевского (конечно, «фантазия» автора, но без фантазии не бывает художественного произведения) — это сон его о далёком потомке, возможно, даже о двух потомках: Велимире Хлебникове (родившемся в 1885 году в Астраханской губернии) и Николае Гумилёве (1912–1992 гг.). *«Мне снился мой дальний потомок, появившийся на свет спустя годы и годы, через столетие после меня».* И с этим сном перекликается высказывание Льва Гумилёва, найденное в его письмах: *«Вот уже несколько дней я во сне общаюсь с Николаем Чернышевским как с живущим ныне человеком, а между тем сон слишком похож на явь. Мы часами разговариваем на исторические темы, и он, родившийся в 1828 году и умерший в 1889-м (100 лет назад!), предсказал моё появление, т.е. мою теорию пассионарности о происхождении этносов, хотя называет это «происхождением рас».*

И в «правде и фантазии» «Пятого сна» это отражение переворачивается, общение оказывается возможным как диалог двоих вне времени и пространства и в то же время с учётом времён и пространств: они разговаривают «на исторические темы», и потомок оказывается старше и в чём-то мудрее (потому что опытнее) своего предка (не по крови, а по духовному родству).

Вот слова Чернышевского: *«Я с детских лет интересовался историей, причём моё раннее увлечение началось с хрестоматийной пушкинской строки «Как ныне собираются вещи Олег отмстить неразумным хазарам...» И вот судьба — очевидно, ничего случайного в природе не бывает — привела меня в местность, в которой*

и располагались эти самые мифические хазары...»

И вновь – переключка из сна: «Я, – говорит Гумилёв, – проповедую изучение исторических событий с проекцией на современность. ...В тюрьмах и лагерях я восстанавливал усилиями памяти ранее прочитанные книги по истории гуннов и древних тюрков. Лагерно-тюремные штудии впоследствии помогли подготовиться к небольшой книжке «Открытие Хазарии».

Вспоминается стихотворение Леонида Мартынова:

Вы, Лермонтов, Есенин, Шелли
И Сирано де Бержерак,
Я спрашиваю:
«Неужели
Я старше вас?»
Да, это так!
И каждый, кто своей рукою
Коснулся острого пера,
Чтоб больше не иметь покоя,
Тот должен знать: она стара,
Та истина, что в самом деле,
Будь моложав ты или сед,
Ты старше Байрона и Шелли,
Вергилия и Руставели,
Ты старше, если ты – поэт!

Удивительное совпадение: «собеседники» жили в соседних домах в Петербурге (разумеется, в разное время).

«В неоднократном мистическом сновидении пророческого толка Чернышевский нашёл бывшего каторжника, такого же страдальца государственного режима, как и он сам. Автор социально-утопического романа потрясён. Как же так? Он предвидел свободное и счастливое время, он заранее радовался грянувшей революционной буре, тому, что пало самодержавие и свобода радостно встречает недавних узников у входа в тюремные затворы. А первый встречный – как раз недавний государственный преступник, отбывший лагерные сроки на азиатском Крайнем Севере, на кромке Полярного круга, даже севернее проклятого Виллойска».

Гумилёв (разумеется, слова его «нафантазированы» автором) говорит следующее: «В сновидениях Веры Павловны будущее рисовалось в наивно-праздничном свете. Декларативные мечтания оказались страшными далеки от действительности. Люди будущего представлены в романе «Что делать?» равными по развитию – интеллектуальному, социальному. Однако в жизни так не происходит. И чем ярче, оригинальнее человек, тем печальнее его участь...»

«Потомки, наверное, для того и появляются на свет, чтобы прибавить нам ума и прозорливости», – добавляет он в другом месте.

Впрочем, это диалог, который мог бы состояться между 19 веком и 20-м – между культурой, уповающей на светлое будущее, и культурой, это «будущее» уже пережившей. Но в целом герои разговора едины в своём созидательном отношении к миру. И их диалог, по сути, завершает разговор Макаша Бекмохаммедова и Николая Чернышевского, составляющий сердцевину книги: диалог русской и казахской культур, ведущих её деятелей, с разными судьбами и возможностями, болеющих за свою родину, за её людей.

Чернышевский «попал под ласковый, ненавязчивый кров неожиданно доброго знакомого, сразу и без лишних слов ставшего его близким другом». Образ Макаша Бекмохаммедова – привлекательный, характер его дан в развитии. В развитии великого человека, просветителя нации. Не зря автор сравнивает его с Ломоносовым. Ему удалось на практике (а не только посредством книжной мудрости) принести пользу своему народу, сохранить веру и обычаи, спасти его в неблагоприятные, голодные годы. И здесь стоит отметить, что русскому читателю интересны именно страницы казахской истории, развивавшейся в контексте истории русской, связанной и переплетённой с ней. Нелинейное повествование – намёк на мовизм Валентина Катаева, который писал, вспоминая важное ассоциативно – придаёт особенную индивидуальность стилю книги. Ещё мне нравится, что многое в романе (если можно его так называть) передаётся посредством диалогов, речи героев, которая не утомляет своей книжностью, но точна и эмоциональна. Это напоминает яркий и интересный фильм. Мне запомнились такие кадры – и с изображением астраханской набережной, и степи, и казахской свадьбы.

Яркость и кинематографичность сочетаются со множеством литературных переключек, естественно входящих в ткань текста: цитаты из классиков, отсылки к ним. И очень важно, что это не модель литературной игры, как в постмодернистском произведении, а знак того, что для автора первичны классические ценности.

И ещё внушает уважение и доверие то, что посвящено это повествование памяти друзей, писателей, художников. Этот знак признательности памяти, пожалуй, и является объединяющим началом книги «Пятый сон».

Елизавета
МАРТЫНОВА

«Саратовская легенда в основном подтвердилась...»

Б.Н. Донецкий. По саратовским следам «Золотого телёнка»: литературно-краеведческое расследование. — Саратов, 2017.

Книга Бориса Николаевича Донецкого адресована широкому кругу читателей – прежде всего, потому, что написана она легко, интересно, с юмором, с соблюдением интересной интриги и – главное – доказательно, с опорой на архивные документы. Оригинальное оформление обложки «под музейный стенд» сразу бросается в глаза: оно подчёркивает исследовательскую тщательность, свойственную автору.

Б.Н. Донецкий доказывает, что прообразом города Арбатова, изображённого Ильфом и Петровым в их романе «Золотой телёнок», является наш родной город. «Саратовская легенда в основном подтвердилась», – утверждает автор.

Зная, как любят исследователи «пришивать» жизнь классиков к своей малой родине, я сначала отнеслась к самой идее книги скептически.

«...Арбатов – это Саратов! Координаты указаны точно. Республика немцев Поволжья, став самостоятельным образованием, находилась в окружении саратовских земель...» – пишет Б.Н. Донецкий, ссылаясь на издание «Золотого телёнка» 1933 года и цитируя эпизод, в котором изображена картина дележа страны «детьми лейтенанта Шмидта»: «Никому не нужны были выдавшие виды Москва, Ленинград и Харьков. Все единодушно отказывались от Республики немцев Поволжья... Видимо, не один из собравшихся сидел у недоверчивых немцев-колонистов в тюремном плену...»

Злая звезда Паниковского оказала своё влияние на исход дела. Ему досталась бесплодная и мстительная Республика немцев Поволжья (здесь и далее выделено мной. – Б.Д.). Он присоединился к конвенции вне себя от злости.

– Я поеду, – кричал он, – но предупреждаю, если немцы плохо ко мне отнесутся, я конвенцию нарушу, я перейду границу...

Балаганов, которому достался золотой Арбатовский участок, примыкавший к Республике немцев, встревожился и тогда же заявил, что нарушения эксплуатационных норм не потерпит».

По мнению Б.Н. Донецкого, за образами героев знаменитого сатирического произведения стоят реальные лица – жители Саратова, биографии которых автор излагает детально и подробно, с иллюстрациями-фотографиями, изображениями саратовских улиц и зданий. Много пишет о саратовской архитектуре того времени – и чувствуется, что именно это для автора «гвоздь программы», интереснее гораздо «литературной части».

Краеведческие рассказы об истории зданий (бывший гараж Иванова) перетекают в литературоведческие очерки (например, глава «Надежда Хлестова и Владимир Маяковский», в которой представлено очень интересное соотношение футуристического творчества Маяковского и барельефа, созданного скульптором Хлестовой, – один из самых ярких моментов в книге). Всё это изложено увлекательно, поэтому я не сомневаюсь, что кого-то из читателей заинтересует именно «расследование» как таковое, а кого-то – именно «краеведческий комментарий», описание Саратова в 20-е годы двадцатого века.

Мне интереснее второе: «комментарий». Любопытно увидеть город таким, каким он был тогда, в 20-е годы прошлого века. Одни фотографии чего стоят!

Автор пишет так, чтобы его идея, сопряжённая с определёнными саратовскими

реалиями, стала понятна не только саратовцам («Консерватория – визитная карточка Саратова»). И это очень хорошо, что он может увлечь описанием города человека, который здесь не был. Это говорит о художественных достоинствах книги.

Автор прослеживает маршрут Остапа Бендера по Арбатову-Саратову (с фотографиями того времени). Маршрут увлекает тонкими наблюдениями, сопоставлениями текста и реальности. Как раз наличие тех или иных архитектурных памятников – церквей, театра, консерватории, парка «Липки», сада с нарисованными деревьями (сад Очкина) – говорит в пользу того, что Арбатов списан с Саратова. Даже мелочи: наличие в Саратове трёх музыкальных магазинов на одной улице, например, автор использует для своей концепции.

Ильф действительно был в Саратове. Автор книги детально прослеживает его путь. В книге дано тщательное сопоставление его записных книжек с саратовской прессой.

Дотошное исследование тем и мотивов, даже отдельных фраз происходит в трёх плоскостях: роман-записные книжки Ильфа – статьи в саратовской прессе. Так, фраза «Пиво только членам профсоюза» получает свой отклик в статьях «Саратовских вестей» и записных книжках сатирика.

Б. Н. Донецкий находит своё объяснение тому, почему О. Бендер называет себя сыном лейтенанта Шмидта. *«Династия Шмидтов среди саратовских мукомолов считалась самой могущественной, слава о ней гремела далеко за пределами Поволжья».* Очень интересно краеведческое лирическое отступление об особняках Шмидтов. *«В Саратове имена Бендеров и Шмидтов часто встречались рядом...»*

Но в какой-то момент у читателя возникает вопрос: не слишком ли много совпадений? Особенно для художественного произведения, которое, понятно, не списывается абсолютно с натуры, да ещё в таких подробностях, и чем дальше идёт читатель по тексту, тем больше кажется ему, что многое «притянута за уши».

Если бы смысл написания «Братьев Карамазовых» был в том, что Скотопригоньевск списан со Старой Руссы, это была совершенно другая книга. Если писатель даёт вымышленное название городу, значит, город этот вымышлен на самом деле. И, может быть, нет смысла объяснять, что действительно «хотел сказать автор». Если у Булгакова в «Мастере и Маргарите» изображена Москва – это действительно Москва, а не собирательный образ. Много ещё примеров можно приводить. Да ведь и образ провинциального города, для того, чтобы быть типичным (для своей эпохи),

и должен быть собирательным, иначе это будет краеведческая зарисовка, а не художественный образ. Прозаики это понимают. Но трудно объяснить это тем людям, которые художественный текст считают калькой с жизни. Вот что написано в «Википедии» о проблеме, поднятой в книге:

«Вопрос о том, какой именно город имели в виду Ильф и Петров, создавая образ Арбатова, вызвал определённую полемику в краеведческом сообществе. Среди претендентов – Саратов, имеющий созвучное с Арбатовом название и территориально совпадающий с эксплуатационным участком, доставшимся при жеребьёвке Шуре Балаганову; Серпухов, в котором есть упоминаемые в романе «белые башенные ворота провинциального кремля»; Ярославль – город, где Ильф и Петров познакомились с «Адамом Козлевичем».

Да и падкая на скандалы газета «Литературная Россия» счла аналогию «Саратов-Арбатов» «довольно убедительной», как пишет Б. Н. Донецкий. Трудно, конечно, спорить с таким авторитетным изданием, но, думается, что всё-таки не очень важно, насколько процентов списан Арбатов с Саратова и действительно ли списан – интересен сам Саратов, правдивый рассказ о нём, который приятнее всякой выдумки. Поразила меня 18-я глава «Немного о Саратове». И 19-я глава – «Что было». Вот это действительно интересный краеведческий материал, захватывающий рассказ!

Конечно, какие-то типичные черты Саратова, несомненно, прослеживаются в изображении Арбатова в сатирическом романе Ильфа и Петрова, но ведь важно, не насколько точно совпадает то, каким был Саратов в 20-е годы прошлого века с изображённым в романе, а насколько художественному образу Арбатова послужили жизненные и бытовые подробности, почерпнутые из наблюдений за саратовской жизнью. Книга – это всё равно фантазия, выдумка, особенный художественный мир, и со временем/пространством он связан опосредованно. *«Конечно, Арбатов, как Васюки и Старгород, – город в какой-то степени собирательный»,* – пишет Б. Н. Донецкий. Но всё же оговорки о собирательности не мешают ему бесконечно искать «саратовские следы» в романе и упираться в идею прямого срисовывания с натуры.

Разумеется, любопытны приводимая автором игра слов, переделки наименований, имён, и т. п. Она требовала тонкого расследования и тщательной работы с документами, поэтому любители того, чтобы в литературе было ну «почти как в жизни», окажутся просто в восторге.

Кроме того, проделана огромная работа: хватит на сборник научных исследований. Для Б. Н. Донецкого эта книга – главное дело его жизни, его основное увлечение.

В конце книги вдруг выясняется, что автор верит версиям о том, что «Золотого телёнка» написал Булгаков. Таким образом он уничтожает все предыдущие доказательства об авторстве Ильфа и Петрова – и, соответственно, смысл написания книги. Выясняется, что важна не книга, не её автор, а то, насколько они привязаны к Саратову. Булгаков жил в Саратове – значит, и он сгодится.

О чём это говорит? О том, что для Б. Н. Донецкого важен не Ильф и Петров, или Булгаков, или ещё кто-то – как писатель, важен не сам роман «Золотой телёнок» и его литературные достоинства. Главное для автора книги – его родной

город, интерес к нему, который он и передаёт читателю. «Следы» «Золотого телёнка» – не более чем повод для краеведческого рассказа о Саратове. Так что мухи отдельно, а котлеты – отдельно. И, право, краеведческое исследование выиграло, если бы не было в нём любительских литературоведческих потуг и излишних подробностей. Ведь цель-то Б. Н. Донецкого – привлечь интерес к городу, и «Золотой телёнок» – такая «подпорка»: возможность использовать материал книги в качестве привлечения туристов к нашему городу, для создания туристических маршрутов по следам Остапа Бендера, этого замечательного героя. Короче говоря, в утилитарных целях. Хотя и благородных. Вроде как людям важна не литература, канувшая в историю, а чтобы всё было как в жизни. Или почти как в жизни.



**Вячеслав
Дьяконов**

ТЕАТРАЛЬНО-МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО САРАТОВА В ЭПОХУ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Первые театральные представления в Саратове были устроены благодаря В. Гладкову, который ещё не был в те времена губернатором. Проходили эти театральные представления в его доме или на даче. Однако первый публичный театр в городе выстроил и открыл на Дворянской (ныне – улица Сакко и Ванцетти) 23 октября 1803 года его родственник Г. В. Гладков. Позже, в 1810 году, губернатор А. Д. Панчулидзев распорядился соорудить на Хлебной (ныне Театральной) площади Саратова новый театр, просуществовавший более полсотни лет.

В этом деревянном театре саратовцы восхищались знаменитыми фонвизинскими «Недорослем» и «Бригадиром», узнавали реальных чиновников в образах «Ябеды» В. Капниста, негодовали и смеялись над персонажами комедий И. Соколова, А. Шаховского, П. Плавильщикова, В. Левшина, Н. Х. Мельницкого.

Саратовские зрители знакомились и с творчеством известных драматургов Запада – Шекспира, Мольера, Шиллера, Расина. В эти годы на подмостках провинциальной сцены были поставлены переводные мелодрамы и водевили. И по-прежнему любимы были саратовцами комические оперы «Русалка», «Мельник, колдун, обманщик и сват», «Анюта», «Бочар», «Санкт-Петербургский гостинный двор».

Начиная с 20-х годов позапрошлого столетия на саратовской сцене выступают театральные труппы различных антрепренёров. В 1829 году газета «Северная пчела» сообщала, что «в Саратове играют один раз или дважды в неделю оперы и комедии под дирекцию Алексея Колесникова». Репертуар театра составлялся в расчёте на хорошие кассовые сборы и был преимущественно развлекательным.

-
- Вячеслав Алексеевич Дьяконов – кандидат исторических наук, доцент Саратовского института социального образования (филиала) РГСУ. Родился в 1940 году в г. Саратове, окончил филологический факультет государственного университета имени Н. Г. Чернышевского и аспирантуру. Более 30 лет работал в областных органах и учреждениях культуры и искусства. За свою творческую и педагогическую деятельность награждён знаком Министерства культуры СССР «За отличную работу», знаком Министерства культуры РФ «За достижения в культуре», почётной грамотой губернатора Саратовской области и др.

В Саратовском театре идут самые современные произведения. Из Москвы и Нижнего Новгорода доставляются сюда партитуры только что созданных опер, оперетт, водевилей, тексты драм и комедий, которые немедля ставятся театром. Среди последних постановок назовём следующие: «Станислав» – водевиль Э. Скриба, «Карета, или По платью встречаются, по уму провозжают» – комедия Л.-Б. Пикара и Э. Мазера, в переводе Ф. Кони; «Хороша и дурна, глупа и умна» – водевиль Д. Ленского; «Студент, артист, хорист и аферист» – шуточная оперетта на текст Л. Шнейдера, «Жених нарахват» – комическая опера Ш.-С. Фавара в переложке Д. Ленского.

Все они были поставлены довольно удачно и доставляли удовольствие публике. Опытный содержатель театра убеждён, что афиша должна быть разнообразной – только тогда она обеспечит успех. Поэтому наряду с водевилями «Лев Гурыч Синичкин» и «Простушка и воспитанная» Д. Ленского, пьесой «Наталка-Полтавка» И. Котляревского в начале 40-х годов на саратовской сцене ставятся трагедия «Граф Эссекс» В. Полевого и романтическая драма «Разбойники» Ф. Шиллера, делаются попытки к постановке трагедии В. Шекспира «Гамлет, принц Датский».

Вслед за столичными сценами Саратовский театр одним из первых в провинции осуществил постановку непревзойдённого гоголевского «Ревизора». Этот спектакль, поставленный в октябре 1840 года, вызвал бурную и разноречивую реакцию в различных кругах провинциального общества. Изображённые Н. В. Гоголем характеры и коллизии были так близки обитателям здешних мест, что среди российской интеллигенции бытовала версия, предложенная Н. Г. Чернышевским, будто действие «Ревизора» происходило не иначе как в уездном городке Петровске Саратовской губернии.

Постановка «Ревизора» на саратовской сцене, несомненно, явилась примечательным событием в общественной жизни губернии. Она вызвала одобрение демократической публики и недовольство со стороны власти имущих. Местная пресса замалчивала эту постановку, и лишь незначительные сведения просочились о ней в «Репертуар русского театра».

Отмечая заслуги Стрелкова в руководстве театром, в следующие сезоны один из местных театралов упоминал, что «в его время поставлено на сцене много пьес довольно значительных, в том числе оперы «Водовоз», «Цампа», «Аскольдова могила» и «Роберт», ставшие заметным явлением в культурной жизни губернии». Высоко оценивая игру и пение многих актёров, костюмы и декорации оперных спектаклей, рецензент отмечал исполнение оркестра под руководством капельмейстера Новикова. Лестно отозвался критик и о здешнем зрителе, который не довольствуется площадным трюкачеством, а находит «удовольствие в искусстве изящном, искусстве, способствующем народному образованию». Именно таким облагораживающим, просвещающим искусством привлекал своих посетителей, по мнению очевидца, здешний театр. «Зато и саратовская публика, – подмечал он, – умеет быть признательною, театр почти всегда полон, и наша саратовская аристократия, и промышленники, и должностные лица – все спешат в театр, иные для того, чтобы посмотреть действительно на довольно интересную игру некоторых актёров, другие находят здесь удовольствие от встречи со знакомыми; одним словом, театр соединяя в себе эти выгоды, сделался для многих почти необходимым».

В дальнейшем антрепренёр Н. И. Залесский взял курс на театр развлекательный, рассчитанный на беззаботную, обеспеченную публику и, естественно, на её финансовую поддержку. Этим целям отвечал и репертуар, состоявший в основном из водевилей, «плаксивых драм» и «облегчённых комедий». В театре ставятся пьесы «Купленное дитя, или Мать-преступница», перелож-

ка (калька) с французского С. Соловьёва; «Велизарий» Э. Шенка, «Эсмеральда, или Четыре рода любви» по роману В. Гюго «Собор Парижской богородицы» и «Параша-Сибирячка» Н. Полевого.

Переводные и отечественные драмы с захватывающими сюжетами, страстями и заведомо счастливым концом сразу привлекли немалую часть досужей публики. Однако однообразные постановки вскоре приелись и, как признаётся искушённый саратовский театрал, «набили всем оскомину». Публика просвещённая, считавшая театр «школой народной образованности», не хотела мириться с таким репертуаром. Она требовала постановки современных «значительных» произведений, рассчитанных на широкую народную аудиторию, а не на коммерческий успех.

Подобные замечания и призывы не могли оставаться без ответа, и Залесский старался как-то устранить пробелы в репертуаре. Уже к середине 40-х годов он возобновляет постановку опер «Морской разбойник Цампа» на музыку Ф. Герольда и «Аскольдова могила» А. Верстовского. В то же время в конце 40-х годов на саратовской сцене ставят оперу «Илья-богатырь» К. Кавоса – волшебное представление с хорами, пением, балетом и сражением, и волшебное-комическую оперу «Русалка» на музыку Ф. Кауэра, С. Давыдова и К. Кавоса.

Оперная музыка звучала в то время и в концертном исполнении. Скрипач А. А. Мальков, сын капельмейстера панчулидзевского оркестра, после обучения в Петербургской придворной певческой капелле дал свой первый концерт в Саратове в 1847 году и после этого возглавил местный оркестр профессионалов и любителей. На одном из его концертов 8 января 1853 года в зале Дворянского собрания присутствовали Н. Г. Чернышевский и Н. И. Костомаров. «В собрании был назначен концерт любителей. Играли увертюру из «Фрейшица» и «Вильгельма Телля», – записал на следующий день в дневнике Николай Гаврилович. – Для последней решился я быть там... «Вильгельм Телль» приводит меня в восторженное состояние, и когда мы после поехали к Николаю Ивановичу и говорили за шахматами о нём, у меня выступали слёзы от волнения. И я чувствовал и во время музыки, и после, что в случае и я оставлю свою вялость, нерешительность».

Из этого откровения Н. Г. Чернышевского явствует, какое огромное влияние оказывали на него музыка, искусство. А случаи, которые он имел в виду, вскоре представились. Н. Г. Чернышевский становится сотрудником журнала «Современник» и защищает магистерскую диссертацию «Эстетическое отношение искусства к действительности».

Саратовское театральное движение второй половины XIX столетия как в маленьком зеркале отразило историю русского театра, динамично развивающегося под воздействием бурных событий общественно-политической и культурной жизни России. В нём нашла своё выражение борьба передовых сил с реакцией, горечь поражений в Крымской войне и крестьянских восстаниях, становление и развитие национальной драматургии, новых средств сценической выразительности.

Решающее воздействие на художественную культуру второй половины XIX века оказали В. Г. Белинский, Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добролюбов. Развивая материалистическую эстетику, борясь за народность и реализм русского искусства, они старались подчинить его задачам преобразования действительности. Борясь за подлинно народное искусство, Н. Г. Чернышевский и Н. А. Добролюбов решительно выступали против бездарных драматических «поделок», против консерватизма и рутины, царивших на сценах, указывали на причины упадка театрального искусства. Вместе с тем они блестя-

ще анализировали лучшие произведения русской драматургии. Лишь те виды искусства достигают совершенства в своём развитии, указывал Н. Г. Чернышевский, которые находятся «под влиянием идей сильных и живых, которые удовлетворяют настоятельным потребностям эпохи».

Необходимая потребность сближения сценического искусства с жизнью, освоение народного языка и безыскусной формы способствовали созданию в 50–60-х годах новой драматургии. Она появилась вместе с именами таких прогрессивных писателей России, как Салтыков-Щедрин, Сухово-Кобылин, Писемский, Тургенев, Островский, и сразу завоевала большую популярность в широких слоях населения. Новый репертуар выдвинул на авансцену и новых актёров. Ведущее положение на подмостках провинциальных театров занимают Л. Никулина-Косицкая, А. Колосова, А. Максимов, В. Самойлов, Н. Рыбаков, Н. Милославский, П. Медведев, А. Стрелкова, Е. Пиунова-Шмитгоф и другие артисты, совсем недавно значившиеся в «молодых» и на вторых ролях. Так, к середине 60-х годов, по меткому замечанию А. И. Герцена, «декорации, актёры и сама пьеса ещё раз переменялись».

Значительные перемены происходят и в саратовском театральном движении. Население города увеличилось до 190 тысяч человек. И единственный театр уже не мог удовлетворять интересы всех страждущих зрелищ. Театральные представления и концерты устраиваются в летнем саду, в зале Дворянского собрания, в гостинице, с привлечением профессиональных и любительских сил. На них звучит много оперной музыки: увертюра Моцарта к опере «Свадьба Фигаро», вступление к опере «Травиата» Верди, сцены и арии из опер Доницетти, Россини и других композиторов.

В 1875 году известный провинциальный артист, антрепренёр и театральный деятель П. М. Медведев соберёт и привезёт в Саратов первую русскую оперную труппу и покажет полноценные оперные спектакли отечественной и зарубежной классики в исполнении профессионалов.

Воспитанный на лучших образцах национального творчества, Н. Чернышевский писал позже в своём дневнике: «Первую зиму, когда я начал бывать в театрах, я очень часто бывал в опере – пристрастился к ней; но всё случилось – кроме немногих соло и хоров, всё остальное во всякой опере казалось мне пустым набором звуков, и я с тоскою выносив эти долгие интервалы бессмыслицы между немногими отрывками, которые вознаграждали за скуку ожидания их. И вот однажды прихожу – «Гугеноты» (опера Дж. Мейербергера. – В. Д.); это было всё или почти всё по мне, что ж это – я понял через несколько времени: это те же мотивы, которые я слышал в «Волною морскою», «Светися, светися», «Помощник и покровитель» – это те же простые мотивы, которые я слышал в детстве».

Артисты и режиссёры провинциального театра А. О. Бантышев, Е. И. Климовский, П. М. Медведев, глубоко убеждённые в его воспитательно-просветительском предназначении, постоянно боролись за репертуар, отвечающий запросам передового демократического зрителя. Уже в конце 50-х годов, как отмечал П. М. Медведев, на саратовской сцене «пошли новые современные пьесы наших и иностранных драматургов, старый репертуар – нелепые мелодрамы – был забыт». Несмотря на запреты драматической цензуры, здесь, в провинции, неоднократно ставятся «Разбойники» и «Вильгельм Телль» Шиллера, «Гамлет» и «Король Лир» Шекспира, «Тартюф» Мольера, «Эсмеральда» по роману Гюго.

Важное место в репертуаре отводилось русской исторической драматургии, пьесам, поднимавшим острые социальные проблемы борьбы против произвола и насилия, бедности, угнетения, карьеризма и взяточничества, нерав-

ноправного положения женщин. Большой интерес зрителя вызывали спектакли, поставленные по пьесам «Смерть или честь» Н. Полевого, «Горькая судьбина» А. Писемского, «Отец семейства» и «Не в деньгах счастье» И. Чернышёва, «Житейская школа» П. Григорьева. Вновь возвращаются на саратовскую сцену «Станционный смотритель» А. С. Пушкина, «Женитьба» Н. В. Гоголя и «Свадьба Кречинского» А. Сухово-Кобылина. Предпринимаются попытки поставить и запрещённую цензурой комедию А. Грибоедова «Горе от ума». В межсезонье, летом 1858 года, актёр П. Медведев и режиссёр А. Бантышев репетируют сцену Чацкого с Молчалиным из третьего действия комедии. Однако ни в этот, ни в следующий сезон саратовцам не суждено было увидеть «Горе от ума» на своей сцене, ибо просьба администрации театра на постановку её осталась безответной. Лишь спустя два сезона, после 30-летнего запрета, благодаря настоятельным требованиям передовой театральной общественности, комедия Грибоедова «Горе от ума» была разрешена к публичному исполнению, а 23 августа 1864 года спектакль, устроенный в честь П. М. Медведева, был поставлен в Саратовском театре.

Театральная жизнь в городе процветала: выступали даровитые провинциальные артисты и знаменитые столичные гастролёры, ставились разнообразные спектакли из отечественного и зарубежного репертуара. Наблюдался значительный приток в театр демократического зрителя. Театр, завоевавший симпатии широких слоёв населения, становится центром культурной жизни провинции, действенным средством просвещения и эстетического преобразования действительности.

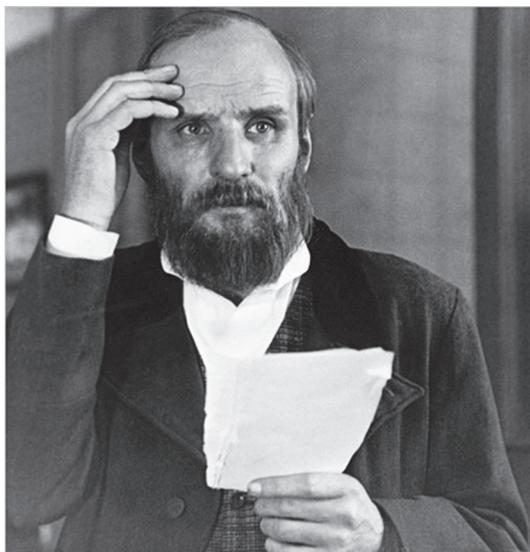
В Саратове, признанном культурном центре Поволжья, в 70-е годы действуют четыре театра: два зимних и два летних, рассчитанных на различные вкусы публики. В зимнем городском, сменяя друг друга, показывали спектакли многочисленные драматические труппы провинциальных антрепренёров. В небольшом деревянном театре загородного сада Шехтеля гастролировали летом именитые артисты и заезжие товарищества из культурных центров России.

В 1872 году в городе открывается другой летний театр – Барыкинский, устроенный при гостинице владельца Барыкина на самом берегу Волги. Здесь выступали два хора: цыганский и русский народный хор И. Молчанова. Многие русские народные мелодии и песни, исполняемые хористами, потом долго были популярны и любимы в народе.

В 1874 году в Саратове был основан театр, располагавшийся в доме купца М. Корнеева на Немецкой улице (ныне проспект имени Кирова). Это был театр-буфф, состоявший из трёх различных трупп: французской – опереточной и буффонадной, русской – опереточной и водевильной, и балетной, а также симфонический оркестр, состоящий из 19 человек.

В 1888 году в центре города, близ сада «Липки», в районе теперешней областной филармонии, помещиком Очкиным был выстроен театр, получивший наименование по фамилии владельца. Театр был небольшой и не очень удобный, тесный, но привлекавший своей новизной и хорошим расположением. Открыт он был 14 января спектаклем Н. В. Гоголя «Ревизор» в исполнении драматической труппы Г. Коврова. Ставились в основном комедии, водевили и дивертисменты с лилипутами и фокусами. Народные гулянья, концерты и представления малочисленных гастрольных коллективов проводились в 80-е годы в городском саду «Липки», в парке Вакурова, Приволжском вокзале и коммерческом клубе.

Так под воздействием прогрессивных демократических идей развивалось театральное и музыкальное искусство Саратова в XIX веке.



*Анатолий Солоницын
в роли Ф. М. Достоевского*

Журнал «Волга–XXI век» зарегистрирован МПТР РФ,
свидетельство ПИ № 77-16080 от 6 августа 2003 года.

Учредители: Министерство информации и печати Саратовской области, Саратовское региональное
отделение Общероссийской общественной организации «Союз писателей России».

Издатель: ГАУ СМИ СО «Регион 64».

Директор – Владислав Степанов.

Редакция:

Главный редактор – Елизавета Данилова.

Дизайн и вёрстка – Лилия Баранова.

Корректор – Елена Березина.

Подписано в печать 28 августа 2019 года.

Дата выхода в свет 30 августа 2019 года.

Журнал отпечатан в ООО «Амирит».

Адрес типографии: г. Саратов, ул. Чернышевского, 88.

Заказ № 41/2808/9

Цена свободная.

Почтовый адрес: 410005, г. Саратов, а/я 3535.

Адрес редакции: г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, 41.

Тел. (факс): (845-2) 69-54-41.

E-mail: lizamart@yandex.ru

Сайт: www.g-64.ru/volga

Подписной индекс 14320

При перепечатке ссылка на издание обязательна.

Редакция не рецензирует рукописи, а только сообщает о своём решении.

Формат 70x100 1/16. Усл. печ. л. 15,60.

Бумага типографская. Печать цифровая.

Тираж свободный.



© ГАУ СМИ СО «Регион 64», 2019.

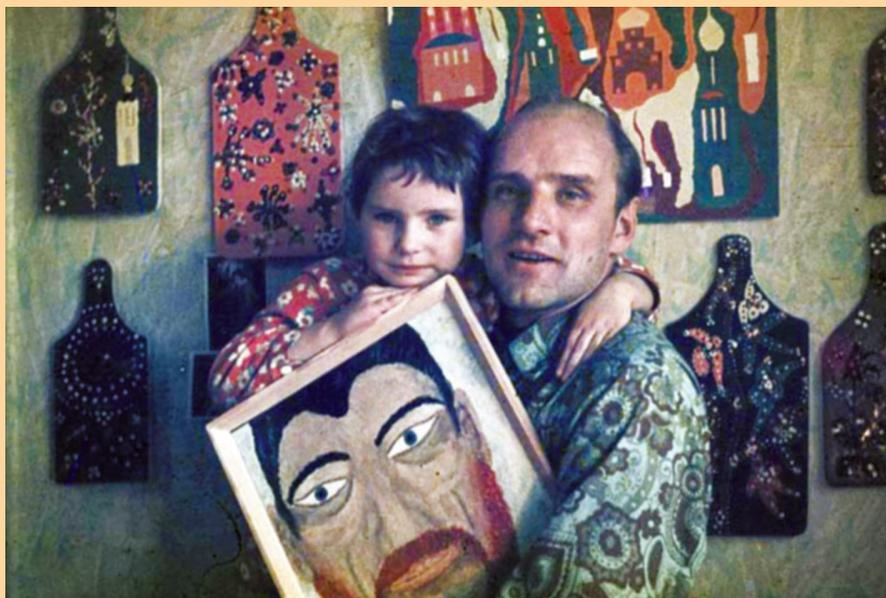
© «Волга–XXI век», 2019.



Анатолий Солоницын в роли Гамлета



Анатолий Солоницын



Анатолий Солоницын с дочкой Ларисой на фоне своих работ



Памятник на месте съёмок фильма «Андрей Рублёв»
(г. Суздаль)

